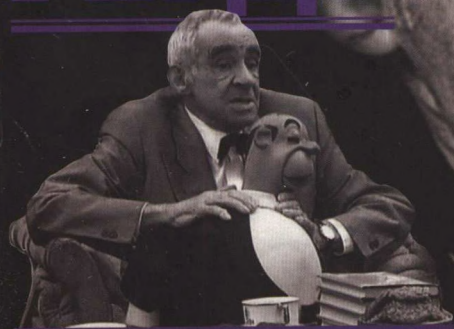


АКТЕРСКАЯ КНИГА
ЗВЕЗДЫ РУССКОГО КИНО

ЗИНОВИЙ ГЕРДТ



РЫЦАРЬ СОВЕСТИ

МУКИ СОВЕСТИ НЕ БУДУТ ДАВАТЬ МНЕ ПОКОЯ ДО КОНЦА ДНЕЙ, КАК И ПОНИМАНИЕ СВОЕГО НЕСОВЕРШЕНСТВА, ХОТЯ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЭТО ЗАЛОГ ТОГО, ЧТО Я ЧТО-ТО ЕЩЕ В СЕБЕ ПРЕОДОЛЕВАЮ. И В ЭТОМ МНЕ ПОМОГАЮТ МОЯ СЕМЬЯ И МОИ ДРУЗЬЯ.





**АКТЕРСКАЯ КНИГА
ЗВЕЗДЫ РУССКОГО КИНО**

**ЗИНОВИЙ
ГЕРДТ**

РЫЦАРЬ СОВЕСТИ



act
ИЗДАТЕЛЬСТВО

УДК 792.2.071(092)

ББК 85.334.3(2)6-8

Г37

Составитель
Маша Гаврилова

Художественное оформление:
Александр Щукин

Подписано в печать 24.05.2010. Формат 84x108 ¹/₃₂.

Усл. печ. л. 23,52. Тираж 3000 экз. Заказ № 1630

Гердт, Зиновий

Г37 Рыцарь совести / Зиновий Гердт. — М.: АСТ: Зебра Е, 2010. — 448 с. — (Актерская книга. Звезды русского кино).

ISBN 978-5-17-067858-7 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-94663-752-7 (ООО «Изд-во Зебра Е»)

Если человек родился, нужно хотя бы прожить жизнь так, чтобы поменьше было совестно. О том, чтобы вовсе не было стыдно, не может быть и речи. Обязательно есть, за что стыдиться: потакал страстям... Ну нет в тебе Отца Сергия — не ночевал он никаким образом — палец же себе не отсечешь за то, что возжелал. Потом начинаешь мучиться: зачем мне это было нужно? У Канта есть дивная запись: мочеиспускание — единственное наслаждение, не оставляющее укоров совести. Все остальные... Нажрался. Зачем? Напился. Зачем? Любовные связи. Зачем мне это было нужно? Муки совести не будут давать мне покоя до конца дней, как и понимание своего несовершенства, хотя, с другой стороны, это залог того, что я что-то еще в себе преодолеваю. И в этом мне помогают моя семья и мои друзья.

С возрастом оказывается, что нет ничего выше издревле известных заповедей. Но опыт этих прописных истин передать невозможно, к нему должен прийти ты сам, и никто тебе в этом не поможет. Оказывается, жить надо достойно — не перед Богом, Бога, как мы знаем, нет — перед самим собой, перед совестью своей. Не подличать, не предаваться честолюбию... Маленькие подлости, какие-то совсем незначительные, о которых, казалось бы, никто никогда в жизни не узнает,... Но есть реле, которое срабатывает: не надо! Ничего хитрого и мудреного в этом механизме нет, просто щелчок: не надо. И только.

Часть 1
ГЕРДТ О СЕБЕ

Рыцарь совести

Как-то я выступал в Одессе перед очень красивой аудиторией. Была прекрасная публика, серьезная, вдумчивая и безусловно расположенная ко мне. Передали записку: «Счастливы ли вы?» Вопрос совсем не праздный и отнюдь не банальный, возникший, видимо, от общей ноты в моем рассказе — в тот вечер она была не самой веселой. Я задумался. Прошло довольно много времени, пока я ответил, что, по всей видимости, несчастлив. Несчастлив потому, что очень редко соглашаюсь с общепринятым суждением о себе. Но, с другой стороны, возможно, все же и счастлив, так как не попал в большую армию коллег, наивно верящих во все комплименты, что им говорят.

В тот вечер была и другая записка: «Что вас раздражает в людях и какие свойства вы в них це-

ните?» Я опять задумался и сказал, что свойство, которое меня привлекает в любом человеке, — осознание своего несовершенства.

Как-то мы были с кукольным театром в Омске, на спектакль надо было проходить мимо городского сквера. Ко мне подошел какой-то артист: «Вы читали «Вечерний Омск»?» — и побежал покупать газету. А там целый подвал о театре. Причем одна колонка — про театр, а шесть — про меня. Разве только про «вождя и учителя» не написали, остальное все было.

Я еле доиграл спектакль. В сквере зашел за один из щитов и зарыдал. Потом была ночь в гостинице. Я не мог никому показаться на глаза. Тогда ко мне прилетела жена и увезла в Одессу, мне давали лекарства, которые прописывают психам. Сначала я восхищался людьми, довольными своим творчеством, а теперь только завидую: как же прекрасно они устроены и как хорошо им живется на Земле! Но одновременно я понимаю, что чувство собственного несовершенства вселяет надежду на то, что ты еще можешь стать лучше.

Я считаю своей задачей в искусстве научить кого-нибудь состраданию. Ради такого эпизода откажусь от большой роли. Есть идиотская фраза о том, что жалость может унижить. Это не так — «мирами правит жалость...»

Людей я люблю неприспособленных, не умеющих заводить нужные знакомства, немного чудакова-

тых, искренних, наделенных даром быть самими собой. Черты таких людей мне хочется передать в создаваемых образах, своими ролями защитить их, даже пожалеть. Такие люди есть вокруг нас. Они раскрываются не сразу, к ним надо присмотреться: ведь не в броской внешности дело — важно, что у тебя внутри. Такие люди почти всегда недовольны собой, достигнутыми результатами. А «комплекс полноценности» делает человека мертвым. Как только сочтешь какую-то свою работу достижением — остановишься, застынешь в неподвижности.

Мне удастся видеть в каждом человеке предмет исследования. Вот женщина — она нагло застегнута на свою элегантность, изысканность в обращении, утонченность манер или на деловитость, подчеркнутую сухость — бывает ли она естественной в каких-то тайных своих проявлениях? Или мужчина — на посту, при регалиях, любезен, корректен — а когда никто его не видит, каков он? Это чрезвычайно интересно.

Актерская работа, конечно, добавляет муки. Очень мало людей из нашего цеха страдает от своего несовершенства — в основном это самодовольные люди, которые не стесняются говорить: «Ты видел, как я замечательно сыграл эту роль?» Я знаю одного знаменитого режиссера, который любит прихвастнуть: «Я создал гениальную вещь». — «Милый, — отвечаю ему, —

оставь что-нибудь для Александра Сергеевича Пушкина».

Я знаю, что не занимаю чужого места, и бываю счастлив, когда кто-нибудь из моих коллег достигает каких-то высот. Я им не завидую, а радуюсь... Вот однажды мы куда-то летели с женой, и в этом же самолете был Лева Дуров. Он подходит ко мне и говорит: «Вы знаете, у меня хранится ваше восторженное письмо, написанное после премьеры «Женитьбы» Гоголя». И я вспомнил, что так был восхищен Левушкой, что когда пришел домой, то сразу же написал письмо — на театр. Так что, видите, чужого места я не занимаю.

У меня имелась даже такая концепция. Если человек млеет от того, что кому-то что-то удастся, значит, в человеке есть талант. А если при виде таланта ты испытываешь только зависть, то в тебе этого нет — стало быть, ты бездарен и уйди из этой области жизни человеческой. Но они почему-то не могут уйти, они ждут званий и полагают, что звания и есть критерий художественной зрелости.

Когда мне говорят: «Вы мой кумир. Я вас обожаю», я отвечаю: «У вас очень хороший вкус. А те, у кого вкус похуже, те просто в восторге!»

Раздражает какая-то эпидемия комплекса собственной полноценности в искусстве. Шкалу

оценок надо составлять с умом и тактом и — прежде всего! — трезво оценивать себя. Достигнуть высоты, которая называется Искусством, — удел редкий, дар Божий. Достигал ли я сам этой высоты — не знаю. Искусство не имеет качеств, оно не бывает лучше или хуже, оно или есть, или его нет. Бывает очень незаурядное ремесло, иногда встрепенешься — ах, как сыграно! — и тут же понимаешь, что до высоты далеко. «Хвалу и клевету приемли равнодушно...» Быть самим собой, жить как живешь — это само по себе уникально.

Всегда я не доволен своей работой, всегда хочется исправить уже сыгранную роль. Поэтому стараюсь не смотреть фильмы со своим участием, чтобы не расстраиваться. И не люблю, чтобы мои домашние — жена, дочь — видели меня на экране. Пока моя дочь Катя не окончила школу, у нас даже не было телевизора.

Если мне говорят в лицо дерзости — про величие или там какое-то особенное мастерство, — я думаю: валяй-валяй, но я-то знаю, чего стою. Дело в том, что смотря с кем сравнивать. Конечно, на фоне барахла я выгляжу вполне пристойно. Но если брать мировые величины — а сравнивать стоит только с ними — тогда у меня есть шанс совершенствоваться. Только тогда. Вот я только что закончил маленький очерк о своем покойном дру-

ге, замечательном художнике Оресте Георгиевиче Верейском, и в процессе написания сообразил, что ни разу не видел в его доме хоть одной его картины на стене. Не мог он Себя вывесить, для него это было невозможно. Даже знаменитый его портрет жены, замечательный, много раз выставлявшийся. А дома висел портрет жены, написанный его папой, замечательным графиком Георгием Семеновичем Верейским. Это потрясающе. И я, в свою очередь, не могу себе представить, чтобы я назвал собственное выступление «творческим вечером».

Физически не в состоянии выговорить фразу «мое творчество». Это же получится, что я — Творец! А актерство — ремесло. И дай Бог его править пристойно. Больше мне ничего не надо. А величие — пусть когда-нибудь потомки с чем-нибудь сравнивают. С коллегами моего возраста, моего времени. Может быть, в чем-нибудь я и выиграю. А в чем-то, безусловно, проиграю.

Я уважительно отношусь к любому обращению ко мне, но когда в письме дают невыносимо завышенные оценки, а в конце: «Пришлите автограф», — на это даже не отвечаю. Может быть и надо собирать автографы, но когда это делают миллионы людей, то для последующей истории данное занятие не имеет особой ценности.

Бывает, конечно, и так, что люди высказывают в письмах свои чувства столь небанально, что оторопь берет от совершенной нестандартности

восприятия и оценки. Эти люди необязательно образованные, да и не в образованности дело. Они образно мыслящие. Да просто прекрасные люди. Редкие люди.

Недавно пришло, скажем, одно замечательно изложенное послание, в котором был, правда, маленький сбой. На протяжении двух страниц моя корреспондентка четырежды вспоминала о тембре моего голоса. Потом написала, что когда слышит этот тембр, бежит из кухни и там у нее все пригорает. Ну а в самом конце сделала такую приписочку: «Честно говоря, я хотела бы иметь ребенка от этого тембра...»

К счастью, популярность меня не одолевает. Для молодых я, кажется, стар и в силу этого обстоятельства малоинтересен. Более зрелой публике, видимо, кажусь чересчур углубленным, эрудированным, образованным. Публика робеет и ко мне особенно не пристаёт. Что ж, если я не обманываюсь, то надо этот «имидж» поддерживать, потому что известному «благодаря» его профессии человеку в нашей стране жить невозможно. Да и я не могу в чужом городе вечером войти в гостиничный ресторан. Незнакомые молодые люди чуть ли не целоваться лезут. И все хотят со мной выпить, и все на «ты», и все: «Батя, я тебя обожаю!» Ну, что это такое? Это же мука мученическая!

Впрочем, бывает и по-другому. На Черемушкинском рынке мы с внуком прошлым летом покупали

овоци. Корейская семья продавала там арбузы. У молодых корейцев такие очаровательные лица! И вот девушка лет пятнадцати подозвала нас к себе, что-то шепнула мальчику постарше, и он выбрал и подарил нам самый красивый арбуз. Я говорю: «Зачем? Я могу купить!» А она: «Это я понимаю, что вы можете купить. Но я могу себе сделать маленькое удовольствие?»

Говорят, что у искусства нет степеней качества. То или иное произведение может быть произведением искусства или ничего общего с ним не иметь. Я не отрицаю определенных способностей многих актеров, но мастерство ценю только у некоторых.

Нас питает одна почва, благодатная почва земли нашей. И мы обратно отдаем ей все, что можем. Свое единение с этой почвой, с теми, кто вырос на ней, я ощущаю не только в области театрального и киноискусства. Я ощущаю его в стихах Александра Твардовского и Ярослава Смелякова, Сергея Наровчатова и Давида Самойлова, Булата Окуджавы и Беллы Ахмадулиной — поэтов, с которыми мне выпало счастье дружить. В нашем же киноцехе мне близко творчество режиссеров Василия Шукшина, Михаила Швейцера и Петра Тодоровского, актеров Инны Чуриковой, Марины Нееловой, Станислава Любшина.

Я согласен, что в каждом человеке можно пробудить и развить не только понимание пре-

красного, но и умение создавать его. Как-то в Магнитогорске ко мне после выступления подошла семидесятипятилетняя женщина — в затрапезе, в ботах, с авоськой. Автограф ей был не нужен. Дождавшись, когда все зрители уйдут и получат свои автографы, она, покрывшись пятнами от неловкости ситуации, приблизилась к моему уху и влила в него шесть фраз. Я оторопел, ибо это говорил поэт со своим восприятием мира, людей, искусства. Там не было не то что шаблонных, затасканных выражений — не было ни одного словосочетания, которое можно встретить в культурной газете у культурного репортера. Это была неслыханно завышенная оценка, но само изложение в русской речи! Мы познакомились и подружились. Оказалось, она всю жизнь преподавала литературу в школе, пишет прекрасные стихи. Через моих знакомых поэтов я старался помочь ей опубликоваться... Вот такие почти случайные встречи вдруг останавливают в нашем злосчастном жизненном беге. Словно спотыкаешься об образную речь. И это делает человека человеком.

Бывает даже, что человек не обременен образованием и все, что он чувствует, неподвластно литературным ассоциациям, нигде не вычитано — только из себя. Я долго работал на эстраде, и у меня был аккомпаниатор — цыганский гитарист Мартын Кириллович Хазизов. Вдумчивый, не-

многословный. Через много лет после того как мы бросили эстраду, он вдруг сказал: «Знаешь, почему я обожал выступать с тобой? Потому что можно было медленно уходить со сцены». Какой образ для артиста: можно медленно уходить — аплодисментов хватит! Вот необыкновенная рецензия — в трех словах.

Или в Лондоне среди множества рецензий, подробных разборов спектаклей в театральном разделе «Таймс» я прочитал: «Вчера в театре таком-то датский артист такой-то играл Гамлета. (Точка, абзац.) Играл его до часу ночи». И это рецензия!

Трагичность я ощущал всегда. Ложусь с этой мыслью и просыпаюсь с ней же: не состоялся! У Маяковского есть строки, что-то вроде: Любовь — это значит в глубь двора срываться... ревнуя к Копернику... Его, а не мужа Марии Ивановны, считая своим соперником... Ревновать надо к Копернику. То, что я живу лучше, чем мой сосед-обыватель, — это не достижение. Я не могу быть благодарен судьбе за достижения моей практической жизни — спокойно сидеть в концертном зале и слушать игру хорошего пианиста — я ужасно завистлив. Художник в течение пяти минут может набросать на бумаге что-то божественное, а мне это совершенно не дано. Как ему это удастся? Почему я не знаю, скажем, грузинский язык, чтобы читать стихи грузинских поэтов в

подлиннике? Я уже никогда этого не узнаю. Зря думают, что жизнь человека, который на виду, безоблачна и прекрасна. Если б кто-нибудь знал мои страдания!

Я сравнительно недавно догадался, что счастье — вещь мгновенная, моментальная. Быть постоянно в счастливом положении невозможно, мне кажется. Каждую секунду происходят какие-то огорчения. Жизнь, по-моему, вообще несчастливая вещь. Человек чем дольше живет, тем больше понимает, как он несовершенен и что не преодолеть ему самому каких-то внутренних барьеров. Есть наработанный имидж, улыбка. И не только у актеров.

Но раз родился, нужно хотя бы прожить жизнь так, чтобы поменьше было совестно. О том, чтобы вовсе не было стыдно, не может быть и речи. Обязательно есть за что стыдиться: потакал страстям... Ну нет в тебе отца Сергия — не ночевал он никаким образом — палец же себе не отсечешь за то, что возжелал. Потом начинаешь мучиться: зачем мне это было нужно? У Канта есть дивная запись: мочеиспускание — единственное наслаждение, не оставляющее укоров совести. Все остальные... Нажрался. Зачем? Напился. Зачем? Любовные связи. Зачем мне это было нужно? Муки совести не будут давать мне покоя до конца дней, как и понимание своего несовершенства, хотя, с

другой стороны, это залог того, что я что-то еще в себе преодолеваю. И в этом мне помогают моя семья и мои друзья.

Я недавно был в обществе моего любимого друга, прекрасного поэта Бориса Чичибабина. Мы сидели за столом, выпивали, говорили. И вдруг он сказал: «Я ненавижу эту власть, но если коммунистов станут убивать — я буду на их стороне». Чичибабин говорил о *жалости*. Быть на их стороне, когда их преследуют, — значит жалеть. У настоящего поэта есть такая мера жизни — прощение всех. Я иначе устроен. Но, наверное, есть чувства, которые надо в себе лелеять. Жалость... Или — вина... Перед всеми. И то, что есть люди, которые за всю жизнь ни перед кем не извинились, ни перед кем не покаялись, — это чудовищно. Помните, когда требовали покаяния от тех, кто орал в свое время на Пастернака, они говорили: нам не в чем каяться. Все, все, все... Только Боря Слуцкий переживал после того позора в ЦДЛ, когда исключили Бориса Леонидовича. Хотя у Слуцкого были человеческие обстоятельства — ему пригрозили, и можно было оправдаться хотя бы перед собой. Но Слуцкий всю последующую жизнь мучился чувством вины. Он сломался на этой вине. А другим, видите ли, не в чем каяться.

С возрастом оказывается, что нет ничего выше издревле известных заповедей. Но опыт этих прописных истин передать невозможно, к нему

Рыцарь совести

должен прийти ты сам, и никто тебе в этом не поможет. Оказывается, жить надо достойно — не перед Богом, Бога, как мы знаем, нет — перед самим собой, перед совестью своей. Не подличать, не предаваться честолюбию... Маленькие подлости, какие-то совсем незначительные, о которых, казалось бы, никто никогда в жизни не узнает... Но есть реле, которое срабатывает: не надо! Ничего хитрого и мудреного в этом механизме нет, просто щелчок: не надо. И только.

Детство. Себеж

Мама была просто мамой. Папа – советский служащий. Ортодоксально, глубоко верующий. Во всяком случае, обряды соблюдал свято. У него была какая-то природная русская грамотность и каллиграфический почерк. Ему бы писать на банкнотах. Еще он хорошо знал еврейский – идиш. Умел переложить, объяснить молитвенники, которые все на иврите. Мы жили в маленьком городке на границе Латвии и России – Себеже. Это невыразимо красивый городок.

В Себеже жило 5000 человек, которые разделялись примерно на три равные части и три конфессии. Православные, иудеи и поляки-католики. Дети были смешанные не по крови, а по менталитету. В Себеже был замечательный православный

храм, на горке. Его потом взорвали. Не немцы. Была синагога, такая деревянная, обшарпанная, но синагога. Ее фашисты сожгли, вместе со всем еврейским населением, которое не успело убежать. И еще были костел и польская община. Мы, мальчишки, знали все три языка. Я мог написать письмо на идише. Даже стихи какие-то опубликовал в местной газете по поводу коллективизации. Мне было лет тринадцать. Стихи восторженные, конечно...

Отец работал то здесь, то там, какое-то было «Заготзерно». Он ездил по деревням, заготовливал какие-то вещи. Был НЭП. Он брал подряды, брал у местных лавочников деньги и ездил в Москву за товаром. В одну из таких поездок он взял меня. И на Сухаревском рынке разрезали ему пиджак и выкрали все деньги, которые ему выдали. И он был в долгах. Никто не подвергал сомнению, что его обчистили, но долг ему так и не простили. И он всю жизнь был в долгах.

У нас в семье было четверо детей, и я — последний. Мама, родив двух сыновей и двух дочерей, никаким образом не воспрепятствовала тому, что оба сына и обе дочери женились и вышли замуж за православных. Папы уже не было, он, вероятно, страдал бы. У старшего брата была жена, мы жили в одной комнате, и это было очень тяжело — жили мы тогда уже в Москве, в бараке Тимирязевской

академии. Там было ужасно. Невестка постоянно ссорилась с моей сестрой. А мама при всех обстоятельствах была на стороне невестки — потому что она жила в чужом доме...

Недавно я вспомнил себя трехлетнего, как мама взяла меня, что называется, на ручки и прочитала строчки из какого-то хрестоматийного русского стихотворения, которое я помню только частично:

Бедный мальчик весь в огне,
Всё ему неловко.
Ляг на плечико ко мне,
Прислонись головкой...

Я так плакал, как в детстве, а это было, ну, дней десять назад...

Мама знала много русских стихов и романсов. У нас дома был прямострунный рояль, очень дешевый, и мама умела подбирать ноты и пела. Я помню ее романсы. Они сейчас не исполняются, хотя имеют великую силу обаяния. «Дитя, не тянися весною за розой...» Сейчас их уже никто не знает.

Вероятно, я был рядовым ребенком. Но в выпускном аттестате прозорливый директор школы написал: обнаруживается склонность к драмати-

ческой игре. Фразу директора память выдала мне лет пять-семь назад. Я задумался и стал глубинно что-то вспоминать, в том числе и этого учителя. Его фамилия была Ган, он учил нас рисовать, я даже помню его задания. Ну, неважно. Важно, что на склоне лет начинаешь вспоминать... Многое, о чем думаю, не обязательно знать читающей публике. Нет, я говорю не о мальчишеских эротических мечтаниях. Я говорю о людях. Своих учителей я помню в лицо, хотя не всегда помню имя-отчество. Был такой Гансгори, учитель геометрии и алгебры, у него была недоразвитая нога — то есть нога была, но плохая. Он говорил: допустим, это круг. После чего рисовал геометрически чистый, как у Леонардо да Винчи, круг на всю доску. Меня это поражало, и я часто пытался повторить. Жажда повторять несбыточное — это, наверное, и есть склонность к драматической игре.

Псковщина чрезвычайно значима в моей жизни. В Себеже, что в тринадцати километрах от границы с Латвией, я родился и жил до восьми лет. А потом уехал и долгие-долгие годы не возвращался. Но образ в душе жил. И однажды я вместе с театром оказался на гастролях в Таллине. Был на колесах и вдруг загорелся идеей — вернуться в Москву через Псков, чтобы по дороге заехать в город детства. Когда у очередного поворота увидел знак — до Себежа столько-то километров, — у меня

прямо сердце зашло. «Зов родины» — затертое выражение, романтическое и пошловатое одновременно, но это был именно он. Я точно знаю, зов крови мне не доводилось испытывать, здесь у меня, видимо, что-то атрофировано, а вот зов родных мест ощутил в тот момент с необычайной силой. Обычно, находясь один в машине, я размышляю или читаю стихи, но тогда уже только вспоминал, воскрешал в памяти эпизоды давнего прошлого.

Раннее детство. Город на двух озерах, полных рыбы. Зимой мы гоняли по льду на коньках. Были такие «снегурочки», цеплявшиеся к валенкам. Дни короткие, уже темно, мы устали, намокли, и мой приятель, сын жестянщика, зазывает меня к себе — его дом стоял на главной улице Себежа, фактически перешейке между озерами. Дома была его старшая сестра. Она отковыривала веревочки от каких-то пломб, брала их из одного ведра и готовые перебрасывала в другое. Знаете, как очищают ягоды от косточек. От нечего делать я тоже сел и немного поковырял. Потом, когда товарищ пошел меня провожать, я поинтересовался, зачем это делается. Не моргнув глазом, он объяснил мне, что в ведрах — заготовки для чеканки двадцатикопеечных монет. Меня это ничуть не удивило. Я полагал, что деньги чеканятся именно так — дома, кустарным способом. Помню, я даже никому не рассказал — не из осторожности, а просто казалось, что в этом нет ничего интересного.

Мои воспоминания прервали два человека, голосовавшие на обочине. По иронии судьбы один из них оказался главным архитектором Себежа, возвращавшимся с какой-то конференции. Я, конечно, тут же в него вцепился, засыпал вопросами, но он мало что мог ответить. Можно быть классным специалистом, профессионалом, и все-таки, если тебя не связывают с каким-то местом давние чувства, ты всего лишь временщик.

Дома нашего я уже не нашел, вместо него высилось черт знает что. Поразительно изменились масштабы. Расстояния, впечатлявшие в детстве, свелись буквально к десяткам, максимум сотням метров. Выяснилось, что жили мы совсем недалеко от вокзала, а ведь каждая поездка туда казалась целым приключением. Такие путешествия выпадали мне два-три раза за лето. Я встретил в Себеже пожилого парикмахера, одного из детских своих приятелей. Но прошлое не возвращается, даже как иллюзия, как мимолетный мираж. Псковщина стала иной. Ракеты, военные части, подземные аэродромы — это уже не чистая земля. Да и осталась ли наша земля чистой хоть где-нибудь?

Самой сладкой для меня в детстве казалась участь перевозчика на лодке. Потому что в Себеже — озера, волны, дети сидят, и тебя переполняет чувство исполняемого долга, ответственности. И отвага, и романтика, и должность очень человеческая. Мне казалось, вот это и есть самое на-

Гердт о себе

стоящее, жизненное. Я даже родителям говорил о своей мечте. А они убеждали, что надо очень стараться, это не так просто, не каждого в перевозчики возьмут — надо хорошо есть, вести себя хорошо... Потом все определилось иначе — захотел стать слесарем, что и исполнил. Я и сейчас никакую железку не могу выбросить — инструментальный шкаф полон каких-то совершенно ненужных вещей.

Война

Поразительно, но до сих пор каждый мирный день воспринимается мною как чудесный подарок судьбы, хотя я об этом специально и не думаю, но обязательно временами мелькнет мысль: ты живой. У всех, кто прошел войну и терял своих лучших товарищей, есть острое ощущение того, что жить надо достойно.

Я ненавижу войну, как может ненавидеть ее человек, любящий все живое на земле. Недавно утром к моей кровати подбежал внук, я подхватил его на руки и подумал: нет, войны не может быть, не верю, что человечество может себя уничтожить. Я бывал во многих странах, и в каждой без исключения находил не только товарищей, единомышленников, но и друга. Я доброволец, призванный сороковыми-роковыми. Солдат. Я счастлив, что

разделил судьбу своего поколения, своего Отечества. И память о войне заставляет всех нас направлять разум человеческий, силы на то, чтобы отстоять мир.

Вряд ли сегодняшний молодой человек серьезно думает, что попадет в этот ад. При всех угрозах. Все-таки психология его устроена по-другому. Это все равно как человек думает о смерти. Он знает, что когда-нибудь умрет, но через секунду мысли эти от него отлетают. Люди ориентируются на жизнь, на мирную жизнь. Единственное, что действительно приходит в голову взрослым: не дай бог, чтобы с сыном, с дочкой, с внуком случилось что-то подобное. Мы тогда все пришли из огромной мирной жизни, а стали солдатами и стали равными перед лицом войны и смерти.

Для меня война была мукой, хотя пошел я на нее добровольно. Мог не идти — я был актером фронтового театра, но много моих друзей погибло в финскую войну, и я считал своим долгом стать солдатом. Правда, пробыл им недолго, очень скоро меня направили в военно-инженерное училище в Болшево, и через полгода я уже командовал ротой. Специальность у меня была сапер-подрывник.

И когда меня ранило, я почувствовал огромное облегчение, чувство, что отныне я не должен никем распоряжаться. Даже дома, где вместе со мной живут внук, дочь, жена и собака, я никем не командую.

Не могу забыть день, когда меня ранило. Стоял солнечный февраль 1943-го, белоснежные поля под Белгородом... И я вижу, как из жерла пушки танка вырывается огонь. Ранило меня осколком снаряда, во время атаки. Я даже сначала не понял, в чем дело, было ощущение, что кто-то оглоблей ударил по ноге. Ощущение боли, невероятного страдания физического пришло не сразу, а первым чувством было отчаянье. Я упал. И вижу, как моя левая нога сама собой ходит, как хвост дракона какого-то. И тут я понял, что ее у меня нету. И в это мгновение я увидел себя на костылях, на Страстной площади, у Страстного монастыря, входящего через переднюю площадку в трамвай. Пустоватый дневной трамвай, и две старушки смотрят на меня и говорят: «Какой молодой!» И мне было жалко себя, и гордость была, что я вхожу с передней площадки.

В госпиталь я попал через три месяца после ранения — Белгород был совершенно отрезан от континента, от Большой земли. Меня несли из деревни в деревню, на станцию Ржаво. Сто километров несли целый месяц восемь баб. По четыре человека на носилки. Это была чудовищная эпопея.

У молодых людей сейчас естественное отторжение воспоминаний о войне. Если оно не изложено художественно. То есть в стихах или в повести. Я сам не всё выношу из военных воспоминаний,

если это не написано Василем Быковым, или Виктором Астафьевым, или Борисом Васильевым. Ну, представьте себе, лежал я в Белгороде в госпитале, была крошечная комнатка, метра два с половиной. Помещались только моя кровать и табуретка. Я должен был бы лежать в гипсе, но в Белгороде не было гипса. Никаких лекарств, кроме красного стрептоцида. И никаких перевязочных средств. Была шина. Шина металлическая, проволочная, и она выгибалась по форме сломанной ноги. А там выбито восемь сантиметров живой кости, над коленом. Вздохнуть или там чихнуть, не дай бог, и я терял сознание от боли. Я не спал, потому что знал, что умру, если усну. Днем я иногда засыпал. Затем меня перевезли в Курск, там сделали первую операцию. И я был счастлив: ничего не болит, лежу весь в гипсе почти до шеи, кроме пальцев левой ноги. И жуткий голод. Меняю сахар на хлеб, чтобы как-то насытиться. Потом меня привезли в Новосибирск. Там я перенес три операции. В Новосибирске был такой жестокий военный хирург, который говорил, что чем больше раненый кричит на столе, тем меньше он страдает в койке. Без наркоза, под местной анестезией долбил он мне эту кость. Три раза! Негодяй, жуткий негодяй! Как я боялся! Боль жуткая. Но действительно, через час было уже не так больно, как после наркоза. Потом меня привезли в Москву. И вот здесь состоялись главные операции — шесть штук. Всего было одиннадцать

операций. В общей сложности я пролежал в госпитале четыре года. Выпускали несколько раз, на костылях, а потом я возвращался, потому что только-только начинающее срастаться опять обламывалось. Окончательно я вышел в 1947-м. На костылях я был просто виртуоз, танцевать мог что угодно — шимми, буги-вуги.

Очень часто к нам в Новосибирск приезжали артисты. И меня как лежачего больного укладывали на носилках в первый ряд, эдак побарски. Знаете, после этого я и теперь не могу смотреть по телевизору что-то серьезное лежа или развалившись в кресле. Высокое требует соответствующего антуража. Мне рассказывала жена Твардовского, Мария Илларионовна, как из редакционного потока он получил рукопись Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Александр Трифонович начал читать ее поздно вечером на даче, в пижаме. Но прочитав первые три страницы, переделся в костюм, сел за письменный стол и так читал до утра. В то время такое произведение нельзя было воспринимать иначе.

Не могу не вспомнить о человеке, которому я обязан тем, что не остался вовсе без ноги. Однажды в госпитале появилось совершенно волшебное существо — высокая стройная женщина, совершенно седая, с васильковыми глазами. Я сразу влюбился в нее. Она тоже

отнеслась ко мне с симпатией. И сделала мне шесть операций. Моего хирурга звали Ксения Максимильяновна Винцентини, у нее была маленькая дочь Наташа. Однажды Ксения пришла ко мне в палату поздно вечером и на ухо поведала страшную, жгучую тайну: она была женой зэка — крупного ученого, которого ныне знает весь мир, Сергея Павловича Королева. До сих пор нет у меня ближе людей, чем Ксения и ее дочь. Наташа выросла, ныне она хирург-кардиолог, доктор наук.

Я был пехотинцем, и так же, как все, шел в атаку, и так же, как все, кричал... Удивительная вещь — атака. Бегущий с разверстым ртом человек, обязательно орущий... Говорят, такое же чувство и у тех, кто первый раз прыгает с парашютом. Когда купол парашюта раскрывается, человек начинает петь, кричать. Но я еще был командиром саперного взвода, и у нас была двойная нагрузка: заминировать, разминировать, а мне еще надо было и отметить все поставленные мины на специальных листочках, чтобы потом, когда эта земля вновь станет нашей, можно было бы разминировать. Мучительная это была работа — найти ориентир, отсчитать шаги, ничего не забыть.

Что такое сапер, объяснять не надо — слишком много об этом сказано и написано. Был у нас сапер Мотовичев. Он перед войной получил

водительские права и очень этим гордился, словно это было самое главное в его жизни. Я его за это прозвал Автомотовичевым, и это имя так и осталось за ним. Мы разминировали участок — из тяжелого сырого ящика весом в пять килограмм надо было осторожно вынуть взрыватель. И вдруг там, где был наш Автомотовичев, полыхнул сноп огня... Только на дереве мы нашли потом маленький кусочек шинели. Совсем скоро после этого случая мы с моим другом Женей Вакориным разминировали нами же поставленные мины, которые были теперь у нас в тылу. И когда вся работа была сделана, я вдруг вспомнил, что в овражке еще две мины остались... Начал разминировать. Чека выскользнула из моих рук, упала в глину, и шток десятикилограммовым усилием пружины заскользил между пальцами. В какую-то долю секунды я ногтем большого пальца попал в крошечную щербинку — это предотвратило взрыв. Я удерживал десять килограмм ногтем пальца и готов был делать это вечно. Я уже представил, как буду здесь сидеть и держать этот треклятый шток, чтобы мина не взорвалась, как мне будут носить еду, а над головой натянут брезент... Но надо было что-то предпринимать. Я поднял чеку из глины — вставлялась она в крошечное отверстие в полтора миллиметра. Я оттянул штоки, вставил чеку на место с первого же раза. И вот тут-то, когда смерть выпустила меня, я почувствовал дикий страх, побелел и лег на мокрую

траву. Что-то странное случилось со мной. Волна теплой крови медленно поднялась снизу вверх по всему телу, увлажнила глаза, пошевелила волосы на голове, а во рту я почувствовал железистый вкус крови. На следующий день я ехал по лесу на лошади, хрустнула ветка — и снова эта волна теплой крови... Это странное физическое состояние надолго оставалось у меня — своеобразная реакция организма на любое неожиданное сообщение, событие — хорошее ли, плохое ли. Такая вот память войны.

Прошло уже много лет, я работал в театре. Однажды вечером мне позвонили домой, поздравили с присвоением звания народного артиста, и я ничего не почувствовал, исчезла эта теплая волна крови — знак потрясения, память о войне. «Все,— решил я.— Реле сломалось». Но на следующий день я сидел на даче, пил кофе на веранде — открылась калитка, вошел Александр Трифонович Твардовский. Поздравил, поговорили, и он пошел, оставив на столе какой-то пакет. Мы окликнули Александра Трифоновича, а он ответил, что это нам, и ушел. Это была его пластинка с дарственной надписью — «дорогим друзьям». И снова та теплая волна поднялась во мне...

Помню, я лежал в госпитале, в отдельной комнатке. Я был «стеклянный больной». Положение было очень трудное — не было гипса, почти никаких лекарств, не хватало даже бинтов. Я просто лежал

и боялся дышать. И вдруг я слышу: там, в большой солдатской палате, начинается концерт. Приехала театральная бригада. Поют песню какую-то. Что-то вроде «То ли в Омске, то ли в Томске, то ли в Туле — все равно...» Входит женщина-доктор и говорит: «Вам открыть дверь? Вы хотите послушать?» Я говорю: «Откройте». Концерт закончился. У меня был колокольчик, и я позвонил. Входит опять она же. Я спросил, откуда эти артисты. «Из Москвы». — «Пусть зайдут», — говорю. Они вошли. Я их всех знаю. Ну, почти всех. Александр Граве, теперь актер Театра Вахтангова, Лариса Пашкова, еще кто-то, и с ними — парень с баяном. Стоят, смотрят на меня. И я понимаю, что они меня не узнают. Я спрашиваю: «Откуда вы?» — «Из Москвы». — «Давно ли вы из Москвы?» — «Две недели». — «Как там, в Москве?» Они говорят: «Хотите, мы вам одному что-нибудь споем? Почитать что-нибудь можем...» Я отвечаю: «Не надо мне ничего читать. Хотя, может быть, вот это: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» Из Гомера. Было у нас в студии такое упражнение по технике речи. Тренировка дыхания. Кто-то из них продолжает: «Грозный, который ахеенам тысячу бедствий содеял...» И тут Пашкова понимает, что это я. И с криком «Зямка!» бросается ко мне. И я — потерял сознание. Ну, их сразу выгнали. Мне — инъекции какие-то... Потом они мне принесли целый котелок вареной картошки в мундире. Я тогда ничего не ел. А тут — отковырнул кусочек.

В госпиталях я пробыл до 1947 года — было это время тяжелое, требовавшее и физической выносливости, и мужества. И был особый госпитальный быт и свои шуточки, подчас жестокие и беспощадные, но это тоже была форма выживания, налаживания контакта с жизнью.

Война несла и боль утрат, и радость обретения подлинных друзей. Настоящим другом стал мне Иван Абрамович Огарков, до войны проректор Харьковского университета. Образованнейший, интеллигентнейший человек. Он один знал о моем актерском прошлом, нас многое сближало, и главным образом — стихи. И были у нас две подруги — Вера Веденина и Нина Рощина.

Мы с Огарковым мало разговаривали «про искусство». Но очень часто в блиндаже, в землянке читали друг другу стихи. Но не про войну. А вообще стихи. Я тогда увлекался французскими романтиками и сюрреалистами — потрясающая была книжка переводов Лившица. Он мне тоже читал что-то из того, чего я не знал, и это меня восхищало. И тогда к нам снова приехала какая-то театральная бригада. Снова «То ли в Омске, то ли в Томске...» Я почему-то именно это запомнил. Милые были молодые люди... А потом они разошлись по землянкам «пообщаться с вояками». И к нам пришли две девочки и парень. Было какое-то

застолье. И они говорят: давайте мы вам прочитаем что-нибудь. Ну, тогда самым популярным стихотворением было «Жди меня, и я вернусь». Одна из них прочла... Тут Иван Абрамович, ничтоже сумняшеся, тоже начинает читать. Баратынского, между прочим. Я тоже вспомнил про своих французов. Девочки совершенно опешили. Короче, провели они вечер с большой пользой для себя. Вместо того чтобы самим развлекаться, мы их развлекали. Был, конечно, определенный момент пижонства, хотелось показать, кто здесь воюет...

Как были важны тогда эти встречи! Они были не просто отдушиной. Они были, мне кажется, напоминанием о том, что жизнь, само время не остановлены войной. Они были свидетельством человеческой стойкости, свидетельством веры в Победу.

Однажды приехал к нам корреспондент газеты из штаба дивизии. Это был поэт Яков Шведов. У него было три «шпалы», а у меня — два «кубика», лейтенант. Мы виделись с ним буквально одну минуту. Нас познакомил Огарков, сказал, что есть тут актер из арбузовской студии. А теперь, через столько лет, где ни встречаемся, бросаемся друг к другу: «А ты помнишь!» И чувствуем, что нас связывает что-то грандиозное, что-то необыкновенно событийное, потому что мы встретились впервые именно тогда.

Годы войны — не только наша молодость. То, что мы причастны к этому событию, очень много значит, скажем, для нынешних взаимоотношений тех, кто был там. Когда ты узнаешь, что человек был на фронте, — все, у тебя уже совершенно иное к нему отношение. Я знаю нескольких артистов, которые там были. Они и просто замечательные артисты. Но от того, что они еще и воевавшие... конечно, для меня это важно. Например, я обожаю Папанова не только как мастера, но и за то, что он воевал. Я ужасно люблю Михаила Погоржельского за то, что он воевал. Я отношусь необыкновенно тепло к Евгению Веснику, потому что он воевал.

Я очень быстро привык к хромоте и совсем не замечаю этого своего недостатка. Только иногда, когда вижу себя во фронтальном зеркале, вдруг ударяет: «Боже, какой я хромой!» А так нет, и зрители, думаю, привыкли. Человек ведь ко всему привыкает...

А что касается старости... В последнее время в кругу своей семьи я сам о ней напоминаю: «Я старый. Что вы на меня кричите, что себе позволяете!» В других обстоятельствах я об этом не говорю. Незачем. Я человек не совсем здоровый, завишу от медицины. Но об этом никому особенно знать не нужно. У меня была подруга, покойная Рина Зеленая. Она перенесла столько телесных мук и никогда в жизни не говорила о своем самочувствии. Это неприлично.

По-настоящему талантливый человек, я убежден, может не только правильно говорить о войне, но и повернуть тему по-новому, что-то свое в нее внести, как-то по-особому ее ощутить.

Я знаю молодых людей, которые родились после войны, но трепетно относятся ко всему, что с ней связано, много работают в этом направлении. Делают спектакли, фильмы, и делают с каким-то особым проникновением. Как будто они сами все это пережили, и как будто срабатывает их собственная память. Да так и должно быть, ведь уходят люди, которые все это видели. Литература, проза наша доказала, что это великая тема. Не случайно очень много фильмов, спектаклей поставлено именно по прозаическим произведениям.

Кроме того, существует, вероятно, у какой-то части молодой творческой интеллигенции такое чувство, что «мы не застали! Вот если бы мы были там, насколько богаче был бы у нас арсенал, было бы нам что рассказать!..» И такое чувство, по-моему, — чувство очень хорошее, свидетельствующее об общности наших поколений.

Молодые поэты тоже пишут с большой долей этой зависти. Мне это напоминает то чувство к погибшим, которое так сильно проявлялось у Твардовского. У него есть строки, где он просто кричит об этом. Где он говорит своим товарищам, что не виноват, что он уцелел, а они погибли.

Гердт о себе

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.
В конце пути, в далекой стороне
Под гром пальбы прощались
мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.
До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно,
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.
И только здесь в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них,
Нас эти залпы с ними разлучали.
Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег...

Потрясающие стихи. Там все стихотворение об этом, но вот эта строка — «нам уже не числиться в потерях»! — вот это чувство необыкновенно, но оно есть. И меня это очень трогает.

Или, например, Высоцкий — у него война романтизирована, но с полным знанием дела. Человек, который никогда не воевал... Но у него был дар необыкновенно остро чувствовать чужую боль. Он смог чужую память сделать своей.

Война

Возможно, этим объясняется и то, как Лариса Шепитько смогла сделать «Восхождение». Видимо, нужно просто знать, чувствовать людей. Потому что человек остается собой в любой ситуации. Хороший — остается хорошим. Плохой — делается еще хуже. В этом и есть суть человеческих взаимоотношений на войне.

Театр. Начало

Я пришел в театр без отроческой «упертости», что непременно буду актером. Просто однажды в нашей школе появился учитель словесности Павел Афанасьевич — странный, очень чудной человек, таких людей тогда называли «не от мира сего». Он не понимал, как выглядит со стороны, во что одет, что ест. Абсолютный бессребреник. Знаете частушку: «Полюбила педагога, денег нет — тетрадей много»? Он был духовен весь, без остатка. Ничто не пристегивало его к практической жизни. Им владела одна идея — вложить чувство художественности в души своих учеников. Ему казалось, что все сидящие перед ним дети — гении. У всех учеников он предполагал необыкновенные таланты. Много лет спустя я прочел такие строки — совсем про другого учителя, в другое время и в другой стране жившего: «Этот сумасшедший

учитель считал меня умнее, чем я был на самом деле, так что мне и приходилось быть умнее. Он не заставлял меня чувствовать себя болваном. Если мне не давался предмет, он видел во мне человеческую личность, а не судил по отметкам. Когда кто-нибудь опаздывал, он исходил из того, что опоздание вызвано уважительными причинами, о которых незачем спрашивать». Прочитал и подумал: а ведь это про него, про нашего Павла Афанасьевича, написано. Я узнаю его с его упорной оптимистической гипотезой, которую, наверное, можно считать признаком большого учительского таланта.

Он заразил меня вечной страстью к русским стихам, которых в моей памяти роится видимо-невидимо. Ни дня, ни минуты не живу, чтобы во мне не крутились строчки.

После семилетней школы я пошел учиться в ФЗУ на слесаря, и это было совершенно естественно. Сестра два института закончила, папы уже не было, мама была домохозяйкой и ничего в новой жизни не понимала. Пришлось разбираться самому. В фабрично-заводское училище поступить тогда считалось престижным — тем более в училище при заводе им. Куйбышева, который первым выполнил первую пятилетку за два с половиной года. Я даже метрику подделал, чтобы наверняка приняли.

Мы верили в лозунги. Сказал Сталин: «Индустриализация всей страны» — значит, так надо.

Вперед — и никаких сомнений. Три года учился и с дипломом слесаря-электрика пришел на Метрострой. Копать и бурить не довелось, но электроподстанции монтировал классно. Садился в трамвай перемазанным, специально не мылся после смены. Гордился — рабочий мальчик. И в театр-студию приходил таким — руки в мозолях и мазуте, под ногтями черно. Я ничуть не жалел о своем выборе. Это была романтика: вставать в шесть утра, спускаться в тоннель. А потом, на Метрострое мне чрезвычайно нравилось потому, что давали спецкарточки на питание. Совершенно необычная это была карточка — красная полоса по диагонали, и над ней черным по белому: «Ударная круглосуточная сквозная». Звучит!

Работали в три смены. По такой карточке меня обслуживали в любое время суток на любом участке. И меню было особое, в нем даже мясо иногда присутствовало. Тогда ведь все вкалывали за жидкую похлебку, пустые щи, перловую кашу с вареной воблой. Для нас это было вполне хорошим обедом. Сейчас у меня щи уже более основательные, перловка — только в грибной суп, а вареную воблу я уже давно не ел. Еще работал осветителем — делал фонари из больших жестяных полуметровых банок из-под монпансье. Вырезал днище, вставлял лампочку — и фонарь готов.

В те годы при всех больших предприятиях, в том числе и при электрозаводе им. Куйбышева, суще-

ствовали не драмкружки, не студии, а театры рабочей молодежи. На заводе я увидел объявление: «Приходи к нам в ТРАМ» и последовал призыву исключительно из детского любопытства — мне было пятнадцать лет, и я вовсе не стремился стать актером. Меня спросили, не знаю ли я какого-нибудь стихотворения, а я знал, и меня приняли. В ту же пору в этот ТРАМ электриков пришли два совершенно взрослых, на наш взгляд — отживающих почти, тридцатилетних человека: Валентин Николаевич Плучек и Алексей Николаевич Арбузов. Вот с этого все и началось.

Валя был брюнет необыкновенного темперамента. Голову всегда держал гордо. Он был учеником великого Мейерхольтца, а Мейерхольтц всегда держал голову именно так и всех своих учеников приучил. Валя поразительно двигался, плясал чечетку не хуже американского негра. Страстно читал Маяковского. Потом, став народным артистом Советского Союза Валентином Николаевичем Плучеком, чечетку он уже не плясал, но голову всегда держал с тем же достоинством.

Валя привел с собой Алешу Арбузова, своего друга из Ленинграда. Алеша пробовал себя в драматургии, сочинил свою первую лирическую комедию «Мечтания». Алеша совершенно не походил на Валу. Валя — пружинистый, энергичный. Алеша — мягкий, как... Представьте себе шашлык, из которого вынули шампур. Алеша носил бороду. Тогда это было редкостью. Потом Алеша сочинил еще две лирические комедии, и обе мы сыграли —

и Островского, и Бомарше. Но за это время я успел выучиться слесарному делу и пошел работать. Было уже не до игр, однако мы больше никогда не теряли друг друга из виду.

В 1938-м вновь сошлись с Плучеком и Арбузовым. Нас объединила дерзкая идея коллективно написать пьесу на самую актуальную тему. И мы сочинили пьесу «Город на заре» — о строительстве Комсомольска-на-Амуре. Каждый день после работы мы собирались в физкультурном зале старинной московской школы (она до сих пор стоит напротив консерватории) и до глубокой ночи сначала сочиняли, потом репетировали. Девятиклассник Сева Багрицкий, будущий поэт, который погиб в самом начале войны, Исай Кузнецов, известный драматург и критик, Аня Богачева, Петя Дроздов, впоследствии заслуженный артист республики... Словом, собралась большая компания молодых, веселых, талантливых людей, и нам было интересно работать вместе.

В конце 1940-го спектакль был готов. И это была сенсация! Нас признали, студия получила статус государственной. Мы бросили слесарное дело и стали профессиональными актерами. Нам дали клуб в Каретном переулке.

Прекрасно помню премьеру. Лютая предвоенная зима. Я видел много шумных театральных событий, у нас и не у нас. Но ничто не может сравниться по энтузиазму публики с той нашей премьерой! В первый вечер людской напор вы-

шиб входные двери. Их приладили, но назавтра их вышибли еще основательнее — вместе с дверной коробкой. Никакие гардеробы не могли справиться. Люди швыряли пальто и шубы прямо на пол, в кучу. Дубленок не было, и жизнь была очень интересной.

Наш театр стал самой горячей театральной точкой в Москве. Мы были счастливы, у нас были дивные планы... И все это рухнуло 22 июня 1941 года. Очень скоро студию сделали фронтовым театром, она должна была обслуживать фронтовиков. Ребятам освободили от службы в армии, однако 10 человек — 9 мужчин и одна женщина — пошли солдатами на фронт. Из них вернулись трое, в том числе и я.

От нашего спектакля «Город на заре» остались противоречивые воспоминания. Мне сегодня кажется, что пьеса была по-юношески прямолинейна. С другой стороны, эти три студийных года плюс война — вот две главные школы моей жизни.

Что же обеспечило успех нашего спектакля? Прежде всего — опыт его коллективного создания. Каждый из нас придумал для себя роль, сочинил характер, линию поведения. Потом была организована литературная бригада во главе с Алексеем Николаевичем Арбузовым, и в маленькой комнатке драматурга Александра Гладкова мы собирались и пытались из всего этого материала сделать нечто цельное.

Тема пьесы — строительство Комсомольска, подвиг, будни и праздники героев пятилетки — была близка молодым студийцам. Название ее символично: молод был не только город, но и его строители были на заре жизни, как, впрочем, и сами актеры. В лирико-романтическом, внебытовом по тональности спектакле молодежь 30-х годов восставала как против обыденной приземленности, так и против выпренности, нарочитой возвышенности, ходульности.

В доме, где я тогда жил, поселился и поэт Михаил Львовский, с которым мы дружны до сих пор. Он привлек в студию своих товарищей, студентов Литературного института Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова, Давида Самойлова, Бориса Слуцкого. Все они стали нашими, как мы их в шутку называли, «опричника́ми». Приносили к нам новые стихи, еще даже не читанные в институте.

В нашу студию приходили многие известные мастера культуры — например, Константин Паустовский. А однажды мы поехали в гости к Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду. Сейчас, вспоминая, я твердо могу сказать, что за всю жизнь я не получил столько, сколько за те три первых студийных года. Там не было умыслов, только помыслы. Мы жили единым братством. Все, кто присутствовал при зарождении нашей студии, все-таки и сегодня остались несколько иными людьми. Они хранят в душе что-то особенное — это как гены, как нечто врожденное.

После ранения я был нехорошо разбит, лежал в госпитале в Новосибирске и понимал, что с театром покончено. Одиннадцать операций. И хромота на всю жизнь. Сначала для меня это было страшной трагедией. Мне казалось, что актер не может быть хромым, а я не мог жить без театра. Но как-то я увидел выступление перед ранеными кукольной труппы Образцова. Причем обратил внимание не столько на кукол, сколько на ширму, за которой не видно, как ходит актер. Вскоре, еще на костылях, я пришел к Сергею Владимировичу, состоялся просмотр, я долго, очень долго читал стихи, не понимая зачем, а меня все просили: читай, читай... И вот с 1945 года я служил там. Куклы долго разговаривали моим голосом — у Образцова я проработал 36 лет. Это были очень непростые, интересные годы. Со многим я был не согласен, многое не принимал в этом человеке. Но и сейчас я не могу не восхищаться его талантом, его человеческой сущностью.

В театре было все — интриги, несправедливости, любимчики. Все как везде. Но что особенно отличало Образцова — аллергия на любые проявления национализма. Сколько прекрасных поступков совершил этот человек в те жуткие годы... Как-то (в период борьбы с космополитами) в театр пришел приказ из министерства — сократить четырех человек в оркестре. Образцов собрал худсовет, обрисовал ситуацию и говорит: предлагаю сократить Иванова, Петрова, Сидорова и Новикова (фамилии я точно не помню).

А это лучшие музыканты! Я вскричал: «Сергей Владимирович, в своем ли вы уме?! Давайте сократим Гомберга, Файнберга, Цыперовича... Это слабые музыканты, оркестр с их уходом ничего не потеряет!» Образцов побелел и сухо произнес: «Товарищи, совсем забыл, мне надо срочно переговорить наедине с Зиновием Ефимовичем». А затем набросился на меня, как барс: «Вы что, идиот? Вы не понимаете, что творится в стране?! Где Гомберг, Файнберг найдут работу, их семьи умрут с голода! А Иванова, Петрова с радостью возьмут в любой оркестр!» Вот так поступил истинный русский интеллигент.

В послевоенные годы был очень популярен жанр пародии. И появившийся в то время «Необыкновенный концерт» был тоже пародией, ставшей большим представлением. В нем я переиграл все мужские роли и одну женскую — солистки «цыганского хора Заполярной филармонии» Венеры Пуговкиной с ее оглушительным «контральто».

Но главной куклой, за которую все так полюбили «Необыкновенный концерт», был конференсье Эдуард Апломбов. Он выходил на сцену со словами «Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте!» Что рассказать об Апломбове? Прежде всего то, что эта уникальная кукла была создана прекрасным художником Валентином Андриевичем. Суть персонажа точно отражена на физиономии Апломбова. Главное место занимает огромный рот, который, кажется, и сделан для того, чтобы

непрерывно извергать плоские остроты, пошлые фразочки, полные «железобетонного» юмора. Персонаж своими повадками очень походил на развязных конферансье-всезнаек, наводнявших эстраду тех лет.

Я всегда старался разнообразить свой текст, импровизировал по ходу спектакля. Помню, я нашел удачную форму подачи слов Апломбова, вещающего об артистах, которые «внесли вклад в сокровищницу мирового музыкального искусства», и приглашающего на сцену... чечеточников братьев Баклушиных. Прекрасный случай посмеяться над демагогами, любителями патетических фраз.

Но в чем Апломбов действительно разбирался, так это в иностранных языках. С «Необыкновенным концертом» мы выступали более чем в 30 странах, и в каждой стране он говорил на языке зрителей.

Актерам приходится «справляться» с иностранными языками довольно часто. Какие-то лингвистические способности у меня, наверное, есть, но не в них дело. Просто обычно я на несколько дней раньше театра приезжал в страну будущих гастролей и на местном материале писал репризы для своего героя. Три дня и три ночи я зубрил фразы. Мне кажется, что за 5 дней я бы мог выучить язык по-настоящему, а за 3 — только свой текст. Представьте себе 19 страниц японского текста, написанного русскими буквами. И все надо вызубрить наизусть. Произношение меня не особенно

тревожило, оно прощается. После выступления японцы приходили ко мне за кулисы, чтобы за просто поболтать со мной: они думали, что я свободно владею японским. Они подходили по одному, улыбались, и кланялись, и все время что-то мне говорили. У меня не было другого выхода, как считать все комплиментами в мой адрес и отвечать «аригато» — по-японски «спасибо». Но потом я узнал, что японцы всегда улыбаются, что бы они ни говорили. Так что может и зря я твердил свое «аригато».

Кукла-конферансье — это большая вещь весом шесть килограммов. У нее крупная голова, туловище, руки. Я держал ее остов на специальном стержне, управлял ртом, поворотами, разговаривал ею. Мне попросту не хватало рук, чтобы конферансье еще и жестикулировал. Руками куклы «заведовала» артистка Нина Табакова.

Кукольник надо родиться, надо суметь сохранить в душе те искры, которые оживят кусок дерева, заставят зрителей поверить в чудо жизни куклы, сопереживать ей. Понимаете, можно научиться великолепно манипулировать нитками, прекрасно владеть голосом, а кукольник не быть. Здесь есть какая-то тайна, волшебство... Иногда мне удавалось достичь того, что меня самого не оставалось! Все, что было во мне, — не знаю, где это помещается, — каким-то образом перетекало в кусочек поролона, и он обретал некую душу.

И не смешил — смешить в кукольном театре очень просто, — а трогал. Да, он был способен тронуть сердце взрослого человека.

Мне очень нравится мой Адам в спектакле нашего театра Образцова «Божественная комедия». Он — мыслящий человек, которому еще ничего не известно об отношениях людей, он словно ребенок, который начинает знакомство с миром с нуля. И мне предстояло передать в этом первом человеке чувство полной первозданности. Никакой в нем приспособленности, хитрости. И ведь есть же такие простодушные, чудесные люди! Они, как сказал поэт, «до конца дней сырая прелесть мира».

Но как ни интересно мне было работать в кукольном театре, я всегда мечтал о драматической сцене, хотел сыграть трагическую роль. Меня угнетало, что во мне видели комика, а я по натуре совсем другой человек. Моя самая любимая роль — король Лир, которого я сыграл за кадром в фильме Козинцева. А потом Валерий Фокин пригласил меня в Театр им. Ермоловой. И это был новый виток судьбы, которая всегда ко мне благоволила.

Как и мне, Валерию было неприятно, что все воспринимают меня как комика. Он тогда ставил пьесу «Монумент» эстонского драматурга Яна Ветемаа и мне предложил вполне драматическую

роль сильного, мощного человека, при всем моем щедешии. Мне это было крайне интересно и увлекательно. Потом была роль в «Костюмере», где Валерий был главным режиссером. Он привез пьесу, ее перевела Померанцева, и мы убрали одну линию: костюмер любит актера чувственно. Мне это было неинтересно. Мне было интересно другое — как человек любит талант, служит таланту. Партнером моим был Всеволод Якут, замечательный актер. Мы были дружны лет сорок до этого. Но только по линии выпивки.

Мои учителя в искусстве? Прежде всего — русская и советская поэзия, затем — Плучек и Арбузов, в более позднее время — Твардовский. Хотя на всех хранящихся у меня его книгах имеются дарственные надписи и присутствуют слова «дорогому другу», я никогда не укорачивал существующую между нами дистанцию. Я смотрел на него как на нечто недостижимое. Он очень сильно повлиял и на мою гражданско-нравственную позицию в жизни, на восприятие и оценку многих явлений в искусстве.

Лет с семнадцати моей душой владеет Борис Пастернак. И вот сколько уже прошло — считайте, полвека, а я все копаюсь, копаюсь и докапываюсь до хорошо известных мне ассоциаций, хочу найти сейчас когда-то бывшие во мне ощущения, случившиеся в юности, — о, какой это сладостный труд души! Я возлюбил заново Давида Самойлова — заново, потому что мы дружим с 1938 года,

и я помню его самое начало, он уже тогда очень резко отличался от той прекрасной довоенной плеяды молодых московских поэтов. Что касается моей «второй волны» приятия его поэзии... Там все про меня. Пусть простит меня поэт, но я могу подписаться под каждой его строкой — это все про меня. Может быть, потому, что мы принадлежим к одному поколению, может быть, потому, что самым главным в жизни и у него, и у меня была Великая Отечественная. Самойлов выражает мою душевную жизнь в стихах. Это не означает, что я не люблю других поэтов, но без этих двоих не могу прожить практически ни дня.

Если говорить о потрясении театром, то первое и самое сильное потрясение я пережил на представлении «Пиковой дамы», поставленной Мейерхольдом в ленинградском Малом оперном театре. Было это, кажется, в 1935 году. Ленинградцы привезли «Пиковую даму» в Москву. Когда занавес опустился, зал разразился овацией. Тогда скандировать еще не умели, просто зрители хлопали и кричали: «Браво, Мейерхольд! Мейерхольд — гений!» И сам Мейерхольд тихо повторял про себя: «Браво, Мейерхольд! Браво, Мейерхольд!» Вероятно, не так часто Мейерхольд был настолько доволен своей работой, но в тот вечер он имел полное право говорить так.

Если речь идет о реформах в области театрального искусства, то Мейерхольд успел сделать ВСЕ. Все, что делают сегодняшние новаторы. Поверьте,

я отношусь к ним безо всякого предубеждения, но все их открытия уже встречались у Мейерхольда. Структура сегодняшнего режиссерского театра сложилась тоже у него. В театре Мейерхольда было немного выдающихся актеров: Ильинский, Свердлин, Гарин, Мартинсон, Тяпкина... Зинаида Райх выдающейся актрисой не была, но Мастер делал с ней чудеса. Остальные — послушный воск в руках режиссера. Воск, из которого он лепил все, что хотел.

Сегодня режиссеры стремятся драматизировать оперу. Мейерхольд сделал это пятьдесят лет назад в «Пиковой даме». Это были великие драматические открытия. Не зря же люди говорят: «Новое — это хорошо забытое старое».

Актерство

Есть такое амплуа — благородный старик.

Только сейчас начинаю понимать суть актерского ремесла. Самое сложное — быть простым. Искренно простым, чтобы окружающие поверили в реальность образа. Простота дана ребенку от природы, а взрослому надо пройти жизненный круг, призвав на помощь опыт и талант, чтобы приблизиться к ней. Искусство может быть искренним, или его нет вовсе.

Из актеров образцом для меня всегда был Чарли Чаплин. Возьмите его героев — так сыграть можно только искренне сострадавая и любя. Черты персонажа надо найти в себе, их нельзя взять откуда-то со стороны. Только тогда получится истинное. Ему удавалось смешить, смешить, сме-

шить — и вдруг в одном кадре заставить заплакать. Ради этого стоит заниматься нашим ремеслом и класть на него жизнь.

Грустного интеллигента нужно играть обязательно с фаном внутри (*fun* (англ.) — веселье, развлечение, радость). В нем много смешного — оттого, что он наивен. Оттого, что бесхитростен. Не приспосабливается. Дитя. Это может быть безумно смешно.

Да, есть работы, в которых я в какой-то степени приближаюсь к высокой отметке, называемой «искусство». Нет, я неточно выразился, не приближаюсь, а хотя бы двигаюсь в этом направлении. Памятен спектакль «Бабель. По страницам произведений», поставленный на телевидении Никитой Тягуновым. Я люблю прозу Бабеля с юношества, очень чувствую его атмосферу, его манеру письма, меня в ней очень многое восхищает. Я вообще обожаю эту южную ветвь советской литературы — Багрицкий, Олеша, Бабель, никогда с ними не расставался, и вдруг мне представился случай сыграть в двух «Одесских рассказах» от лица Арье Лейба. Спектакль почти никто не видел, он шел в понедельник днем, но в этих постановках «Короля» и «Как это делалось в Одессе» было несколько мгновений, когда я с чистой совестью мог сказать себе: вот так это надо играть.

В этих двух телеспектаклях я не испытал горечи, в некоторых местах мог бы даже воскликнуть, прекрасно понимая, конечно, полную несопо-

ставимость с гением: «Ай да Гердт, ай да сукин сын!» В общем, я себе понравился. Понравился и в спектакле «Костюмер» в Ермоловском. Обычно я сам себе не нравлюсь.

Очень важной была для меня роль Мефистофеля в телеспектакле, поставленном Михаилом Козаковым. Я стремился очеловечить Мефистофеля, ибо даже всесильному дьяволу нужен человек, чтобы полнее сознавать свое всесилие. Мое глубочайшее убеждение: плохих людей в чистом виде не бывает. Как и абсолютно хороших. Идеал без человеческих слабостей мне неинтересен. Да и никому, уверен, он не может быть интересен. Мефистофель — соблазнитель, совратитель, безжалостный злой дух, злой гений. И мне нужно было увидеть его страдающим. Очеловечить его. Мучительно я искал момент его сострадания. Но повторяю: достижений нет. Есть только устремления. Ведь как только я сочту какую-то свою работу достижением, я застыну в неподвижности, кончусь как профессионал. Помните слова Фауста:

Тогда вступает в силу наша
делка.

Тогда ты волен — я
закабален.

Тогда пусть станет часовая
стрелка.

По мне раздастся
похоронный звон.

До этого я пытался сделать «Фауста» в кукольном театре. Могло бы здорово получиться. Именно в кукольном театре. Увы, не состоялось. Считалось, что кукла должна только смешить. И хотя я уверен в обратном — куклы могут все воплотить ничуть не ниже, чем живые люди, даже выше — обобщеннее, отстраненнее.

Вы, наверное, удивлены, что я называю роли, с вашей точки зрения, нетипичные для меня? Но дело в том, что каждый комик в глубине души уверен, что он трагик, и стремится сыграть серьезную роль. Думаю, что с Мефистофелем в какой-то мере мне это удалось.

Мне кажется, даже у самого замечательного комического артиста должна быть минута, когда уже погашен свет и всем сказано «спокойной ночи», а он думает: «Боже мой, что же они все считают меня шутком?» Скажем, Юра Никулин — очень хороший человек и замечательный артист, рожденный, казалось бы, комиком — а сколько драматических, грустных, печальных ролей сыграл. И как сыграл! Или покойный Евгений Павлович Леонов — вот уж первейший комик, а как играл трогательно!

Комедийная маска ко мне не приросла, она мне не по лицу, она мне трет или тесна. Я совсем не веселый артист, не развлекающий артист, хотя и занимаюсь смешным всю жизнь. Так получилось. Судьба. Не будь войны, не попади я в кукольный

театр... А сейчас уже сложилась инерция — и у режиссеров тоже. Тодоровский был первым человеком, предложившим мне сыграть не смешное, а печальное, хотя сначала он тоже хотел дать мне маленькую сатирическую роль в своем «Фокуснике».

А на роль Паниковского я попал случайно, с этим идиотом из «Золотого теленка» я ничего общего вообще не имею. Знаете, как бывает в классической драматургии: примадонна заболела и срочно нужна замена. Заболел тогда на самом деле Ролан Быков. Мой старинный друг Миша Швейцер пробовался на «Мосфильме» на роль Шуры Балаганова, которого потом сыграл Леонид Куравлев, и позвал меня ему подыграть — Быкова не было. Надели на меня канотье, дали тросточку. Я чувствую себя совершенно свободно: пробуют-то не меня, треплюсь перед камерой минут десять, делаю что хочу.

Назавтра прибегает ко мне Швейцер: «Все! Играть Паниковского будешь ты!» Даю слово: сопротивлялся, но не помогло. Перепугавшись, я схватил роман. С семнадцати лет не перечитывал «Золотого теленка».

Кстати, роль в «Фокуснике» тоже должен был Ролан Быков играть, так уж случилось. Но как человек широкодушный, талантливый и щедрый, зла он на меня не держит и в своей картине «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» даже поручил мне три роли. Правда, я в итоге себе отхватил че-

тыре. Понимаете, истинный художник не может заниматься возней, не может копошиться — это не его занятие, это не в природе таланта.

Что же касается неудовлетворенности... Обидно, когда какое-то устремление, намек на что-то уже принимают за достижение. Я несчастен тем, что всю жизнь был не в драматическом театре. Но даже с куклами, в ролях, которые играл годами, я стремился найти что-то новое. Нельзя сыграть пять тысяч раз конференсье в «Необыкновенном концерте» одинаково. Но если в театре сегодня не высклось, то может высечься завтра, а в кино такой возможности нет: стоп! кадр снят! — и точка. Иногда выпрашиваешь еще один дубль, но ведь хочется еще и еще... Я почти не смотрю фильмов, в которых снимаюсь, просто из чувства самосохранения. Отчаиваюсь каждый раз, что здесь не так и вот здесь не получилось, — это мой счет к себе, суждение о своей работе, но единственное, чего нет, так это позы и хоть на йоту кокетства. А удачи... Видимо, были приближения к ним.

Прежде всего, актер должен быть высокообразованным, культурным человеком, интеллигентом. Только от такой основы можно оттолкнуться, возможно воспарение, возможно искусство. Я знаю некоторых актеров, которые и трех книжек за всю жизнь не прочитали, однако они играют — и великолепно! — и академиков, и дворников.

И им веришь. Но это не искусство — это просто талантливый слепок с жизни, не больше.

Примером же культуры и таланта для меня служит Алла Демидова. Могу еще назвать Алису Фрейндлих, Олега Борисова.

Современный артист должен уметь передать «правду чувств в предложенных обстоятельствах». Люди моего ремесла знают, что такое современная манера игры, и нередко подделываются под это. А вот, скажем, Алексей Петренко, Олег Борисов, Александр Калягин — действительно современные артисты. Техника у них удивительная и правда чувств бывает поистине пронзительной. У Инны Чуриковой так происходит всегда. У Марины Нееловой (она просто эталон для меня) — потрясающая правда при такой... натренированности души!

Самое дорогое, чего я жду от театра, — то, что воздействует на мои «спинные мурашки». Если мурашки пробегают по спине, если я потрясен, тронут, если мне хочется плакать или возмущаться, значит, я соприкоснулся с искусством. Все остальное не имеет значения. Значима только судьба людей в современном мире, только работа души человека.

Кино и театр — два совершенно разных ремесла. Я сорок семь лет не был на сцене. И вот Валерий Фокин позвал меня на «Костюмера» в Ермолов-

ский театр. Я жутко робел. В кино ведь как? Получаешь две страницы роли — и гуляй, учи когда хочешь, обедай когда хочешь, снимайся когда хочешь. Особенно теперь я это ощущаю, при моем статусе «старика», «мэтра», когда теперь я могу намного свободнее попросить еще один дубль.

В театре же ты должен распределить себя на целую судьбу — за несколько часов сразу. Душу взбурлить, а не технику настроить. После целого дня ерничанья вечером выходить на полный раззор души. В «Костюмере» это было огромным наслаждением для меня.

Слава меня не интересует, но иногда здорово облегчает жизнь. Я, например, знаю, что в любой точке СНГ, в любом кругу, будь то светский раут или очередь за водкой, четверо из десяти меня узнают. Вот я сегодня ходил по разным инстанциям с вдовой моего покойного друга. Она передвинула стенки в своей маленькой квартире, и председатель кооператива ей пригрозил штрафом и прочими неприятностями. Я с ней пошел к районному архитектору, и вопрос был решен за пять минут. А если бы я не пошел? Она бы так и стояла в очереди, и в итоге ей бы отказали.

Во всяком случае, начальники узнают меня однозначно и всегда идут навстречу. Может быть, еще и потому, что я никогда и ничего не просил для себя лично.

Вообще-то я не очень актер. Я всю жизнь занимался не своим делом. И мне страшно мешает это понимание моей актерской неврожденности. А надо быть таким естественным перед камерой — как Чурикова в «Военно-полевом романе».

Все вышло случайно, и удержало меня в профессии только мое безволие. Вкусил — и не смог бросить плод, сил не хватило. Моя единственная страсть — русская словесность. В домашней библиотеке — поэзия и словари. Ничего не читал с таким наслаждением, как Даля! Я могу провести за этим остаток жизни. Прислушайтесь, как мы косноязычны. Как уродлив язык наших лидеров. Полное отсутствие синонимов! Вроде бы речь льется гладко, но вся она — сплошь штампы и банальности. Недавно я сделал лингвистическое открытие — докопался до происхождения слова «говядина». Откуда оно взялось, какой в нем корень? Смотрите: мясо в Петербург поставляли из Латвии, а по-латышски корова — «гов». Очень может быть, что я ошибаюсь или это и без меня давно известно, но я в восторге, что дотумкал до этого собственной головой.

Моя подлинная «профессия» — читатель стихов. Не путать с чтецом. Увижу где-нибудь строчки столбиком — не успокоюсь, пока не прочту. Уже будучи актером, я не пропускал ни одного поэтического вечера. По-моему, авторское исполнение стихов — самое верное. Евтушенко все-таки чересчур актерствует. А с какой великолепной невнят-

ностью, неразборчивостью проговаривает свои стихи Бродский! Как читал Пастернак!

У меня в крови потребность обезьянничать, я запоминал манеру декламировать, подвывания, придыхания, писал пародии и немножко изображал. Конечно, это были «влюбленные» шаржи. Шаржи на возлюбленных поэтов. Тогда как раз появились первые громоздкие магнитофоны, кто-то записал меня на пленку, она разошлась, и однажды тогдашний главный редактор радиовещания Лапин пустил несколько моих пародий в эфир. Вскоре, пятого мая, в День печати, меня выволокли на сцену Колонного зала. Так я очутился на эстраде и не слезал оттуда 15 лет. Я был обречен на успех, поскольку пародистов тогда пересчитывали по пальцам.

Мой первый концерт в Одессе был назначен на 12 часов дня, а состояться он должен был на канатном заводе, в цехе. Канатному заводу исполнялось 130 лет, и это было самое грязное производство на всем Черноморском побережье. Рабочие там работают в смоле и гадости, бог знает в каких чудовищных условиях. А я им должен был читать Пастернака.

С такой тревогой я тогда спросил: «Зачем вы устроили мне это выступление?» Но переменить ничего было нельзя, концерт организовали в обеденный перерыв. И я пришел. Я очень робел. Народу было полно. Женщин больше, чем мужчин. И люди, одетые в просмоленные, продегтяренные робы.

Актерство

И уже выйдя на самодельную сцену, я понял, что ни одного слова из своей лексики, из манеры говорить не переменю. Я буду с ними вести беседу, как разговариваю с академиками в московском Доме ученых. И о Пастернаке, и о Твардовском, которых они, конечно, никогда не читали. И о Феллини, о котором они первый раз слышат. Концерт должен был идти 45 минут, но он шел час пятнадцать — продлили время. И это был самый лучший мой концерт в жизни. Самый величественный, что ли. Он тронул меня до глубины души. Люди были счастливы тем, что я обращался к ним как к равным. А мы равны, вот в чем дело. Мы с вами все равны.

Кино

Собственно, с кино как с видом деятельности меня свел кукольный театр. Еще до пражских событий у нас в театре Образцова был спектакль «Чертова мельница» по пьесе чеха Дрды. Я играл Люциуса — черта первого разряда, такого легкого, быстрого, саркастического. Тогда спектакли становились событием в жизни города. И реплики Люциуса можно было слышать в московском трамвае.

И однажды мне позвонил режиссер Васильчиков, который занимался дублированием заграничных фильмов: «Зиновий Ефимович, у нас есть французская картина, где за кадром — некий голос историка, который комментирует шутя все, что происходит на экране. Попробуйте прочитать этот рассказ в манере вашего черта?»

У меня была манера черта, представляете? Я создал манеру.

На следующий день после выхода фильма на экраны я стал знаменитым. Как-то подошел к стоянке такси. Говорю шоферу: мне туда-то и туда-то. «Вас, — отвечает, — хоть на край света». И цитирует: «Это было во Франции, когда женщины занимались любовью, а мужчины — войной». С тех пор меня стали приглашать читать уже «в стиле Гердта». Из всех республик! Еще за это ужасно много платили, как тогда казалось. Просили: «О болтах с левой резьбой, только в вашей манере!» — с таким диссидентским подтекстом. И я в результате завязал. Два месяца отказывался от всех предложений, на третий перестали приглашать. Стал занимать деньги...

Но спустя несколько лет случилось у меня в жизни огромное событие. Один провинциальный режиссер прислал мне сценарий — роль у него для меня там. Ну, понятно, почему мне ее предложили: эстрадный автор, который сочиняет какие-то репризы, комедийная, в общем-то, роль. Я прочел сценарий. Написан он был восхитительно. Великолепный просто сценарий, и совершенно необыкновенно написано главное действующее лицо. Но... я понимаю, что мне никогда в жизни никто такой роли не даст, а вот эстрадника этого... Я читал сценарий ночью, потом не мог заснуть, все думал, когда же, когда мне что-нибудь не смешное, а грустное, что-нибудь серьезное

предложат... Режиссер этого фильма был тогда начинающий, молодой, но я про него знал, потому что он уже к тому времени успел сделать одну замечательную картину. И этот режиссер поступил со мной очень вежливо, потому что не прислал ассистентку, а приехал договариваться сам. Может быть, он сделал так потому, что был провинциальным режиссером... Ну так вот, он приехал, посмотрел на меня и спрашивает: «А что у вас с ногой?» Я говорю: вот, такое-то и такое-то дело. А он мне вдруг: «А зачем вам играть этого эстрадника? Вам надо играть главного! И судьбы у вас сходятся. И он лежал в госпитале, и вы...» Это был Петр Тодоровский с «Фокусником». Вот тогда, в шестьдесят шестом году, мы и познакомились. С тех пор не расстаемся. Я говорю Тодоровскому часто: «В твоём фильме я сыграю что угодно. Скажешь сыграть лошадь – сыграю. Только учти, она будет хромать на левую заднюю».

«Фокусник» – одно из сильнейших потрясений в моей жизни. То была не просто прекрасная роль. Судьба подарила тогда мне двух замечательных друзей – Петю Тодоровского и Шуру Володина. Когда Петя дал мне роль фокусника, я зашелся от счастья, но понимал, что никто мне этого не позволит. И конечно, начальство студии было против. А потом, уже через много лет, Петя мне передал слова одного из заместителей тогдашнего председателя Госкино: «Что же, нацмены

у нас будут поучать русский народ?» Это было так глупо, что я даже не обиделся. Фильм мы сделали — и его начали кромсать. По репликам, по словам... Помните, там было такое место: Кукушкин обходит стороной своего начальника, того бесит такая независимость, и между ними следующий разговор происходит: «Зашел бы ко мне, Кукушкин, мы же однокашники, мы бы обо всем договорились. Попросил бы меня, что бы я для тебя не сделал? И ставку сделал бы, и сольный концерт сделал бы!» Кукушкин отвечает: «Я к тебе никогда не приду». — «Но ведь человек зависит от общества». — «От общества — да. Общество платит мне за мою работу. И поручило тебе выплачивать мне деньги. А ты хочешь, чтобы я был благодарен за это лично тебе. Вот этого — не будет». И этого действительно не было — эпизода не было. Вырезали по слову, по три, мы переозвучивали... Этого они никак не могли вытерпеть — что общество главнее и важнее, чем они. Потом выпустили 25 копий. Как-то в провинции мне показывали прокатчики телеграмму, которую присылали вдогонку к копии: «Фильм не рекомендован для проката».

Когда я уходил из театра, мне казалось, что теперь у меня будет пропасть свободного времени. Оказалось совсем наоборот: его стало вчетверо меньше. Раньше, когда меня звали сниматься в какой-нибудь плохой картине, у меня всегда

была веская причина отказаться — репетиции в театре, премьера готовится и так далее. Теперь этот аргумент исчез. Предложений много, и я часто отказываюсь, но иногда бывает просто неудобно.

Вот, например, просто анекдотическая ситуация. Еду я как-то на машине в Москве по Пушкинской, и вдруг посреди площади машина останавливается. В чем дело? Ничего не могу понять. Оказалось, просто бензин кончился. Милиционер помог откатить машину к бровке, стою «загораю». Вдруг подкатывает автомобиль, в нем знакомый режиссер, с которым у меня не было и не могло быть приятельских отношений. Что случилось, спрашивает. Да вот, говорю, бензина нет. А канистра есть? Нет... В общем, он достал где-то канистру, съездил на заправку и привез мне бензин. Ну, говорю, Даня, теперь я твой раб. Не проходит и двух лет, как он звонит мне. Помнишь, что ты мой раб? Как же, как же, отвечаю. Так я тебе сейчас сценарий высылаю, ты у меня должен сняться. Присылает сценарий, я почитал — ужаснулся. Но разве я мог ему отказать?!

Моя любимая роль в кино... фильм Якова Сегеля «Девяносто шесть ступенек» («Я вас дождусь». — *Ред.*), фильм о войне и о любви. Там всего три героя — старик, его приемная внучка и мальчик-офицер, получивший отпуск по ранению. Когда я прочитал сценарий, в нем был совсем другой старик, с другой биографией,

даже с другим именем-отчеством. Я понял, что мне его не сыграть, — и предложил своего героя, учителя русского и литературы, кстати, почему-то мне пришло в голову, что он из Запорожья, придумал для него трагическую судьбу, детали биографии. Так он стал мне ближе. И режиссер, отдаю дань его мужеству, решительно перекроил сценарий за считанные дни, согласившись с моим вариантом.

Еще в довольно посредственном фильме «Соломенная шляпка» есть одна моя сцена, которая мне нравится, — где я играю рассыльного в магазине головных уборов. Там есть диалог с девушкой. Она его спрашивает: «Вы что, никогда не были женаты?» — «Нет, почему же? Был (*а он холостяк убежденный*). Она затаскала меня по танцам, где сквозняки, я постоянно простужался, и у меня был насморк...» — «И что же, вы так никогда не виделись?» — «Почему, виделись. Один раз». — «И что же?» — «Мы раскланялись». И он... заплакал! Ничего этого в сценарии, конечно, не было. Вот это — маленький кусочек правды.

Когда в 1970 году Козинцев на «Ленфильме» поставил «Короля Лира», заполнилась еще одна моя жизненная графа, связанная с кино. На главную роль пробовались многие, в том числе Закариадзе и Плотников. В итоге режиссер нашел эстонского артиста Юри Ярвета. По-русски он не говорит — нужно переозвучивать. Я был шестнадцатым на пробах голоса.

Ну а техника озвучания вам знакома? Делалось это так. Кусок ленты закольцовывался, запускался в специальный проекционный аппарат и двигался на экране. Дублирующему нужно было не только попасть точно по артикуляции, но и сделать так, чтобы это как будто от него и исходило. Артист, не знающий языка, делает паузы не там, где надо. Но архитектура фразы должна стать естественной. Каждое кольцо длилось два часа. Выходит, что я посмотрел фильм 600 раз! Изучил каждую морщину героя, взлет бровей, ресницу...

Если говорить о мотивах творчества, то тут для художника два пути: или ты думаешь о тщеславии, или ты действительно хочешь рассказать человеку то, что тебе уже открылось. Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех. Я плакал, когда видел, как это художнику потрясающе удалось. Не знаю, какой я актер, но зритель я, конечно, первый сорт: плачу, хохочу, бегу на сцену, дарю цветы — и вообще веду себя самым глупым образом.

Я не одессит. И помимо всего, не самый ярый поклонник юмора Ильфа и Петрова. Хотя, конечно, «Золотой теленок» — книга грустная и печальная, несомненно гораздо более глубокая и серьезная, чем яркое и занимательное обозрение «Двенадцать стульев».

Наверное, Паниковского помогло мне сыграть то, что я хорошо знаю литературу «юго-запада», группы писателей, куда входили Багрицкий,

Инбер, Бабель, Олеша, Светлов, Кирсанов, Голодный. В их книгах есть своеобразный южный колорит, сочность южной речи. Помогла мне и давняя дружба с режиссером фильма Михаилом Швейцером и его женой Софьей Милькиной, которая всегда работает с ним вместе вторым режиссером (я с ней вместе был в арбузовской студии). Люблю их за то, что они умеют понимать и ценить актера, за полное отсутствие тщеславия, за их искусство — честное, умное, скромное. Не могу без слез смотреть «Время, вперед!» — в этом фильме поставлен такой памятник энтузиазму первых пятилеток, чистой вере ребят тех лет! Так что в работе над Паниковским у нас со Швейцерами разногласий не возникало — мы были едины.

Паниковский у Ильфа и Петрова смешон и гадок. Мне же хотелось показать его иным — смешным и трогательным. Потому что это страшно не приспособленный к миру, одинокий человек. Его ранит буквально все, даже прикосновение воздуха. А хитрости его настолько наивны и очевидны, что не могут никому принести серьезного вреда. Лучше всех о нем сказал Остап Бендер: «Вздорный старик! Неталантливый сумасшедший!» Мне было жалко Паниковского и хотелось, чтобы зрители отнеслись к нему с тем же чувством.

Как актеру очень многое мне дала встреча с полярно несхожими образами — Кукушкиным и Паниковским. Для Кукушкина всегда, в любой

ситуации, главное — человеческое достоинство. А Паниковский о том, что это такое, давно забыл, и вообще неизвестно, знал ли когда-нибудь. Герой Володина — непосредственный, простодушный, искренний человек. У него нет и винтика хитрости. У Паниковского же только одно стремление — приспособиться. Но есть стремление, нет умения.

Конечно же, роль в «Золотом теленке» очень мощно сыграла в моей судьбе. Теперь меня знают милиция, ГАИ — они со мною очень ласковы. Останавливает недавно один — яростное лицо, набитое злобой. И тут же выражение меняется: «Гражданин Паниковский, надо уважать конвенцию! Какие творческие планы?»

С Шукшиным мы давно познакомились, где-то в начале шестидесятых. Он тогда еще во ВГИКе учился, мы с ним вместе играли в курсовой работе у Андрея Смирнова. Был такой небольшой фильм о сибирском селе, я там играл продавца в сельском магазине. С тех пор Шукшин часто говорил мне, что обязательно найдет для меня роль в своем фильме. И действительно, пригласил сниматься в «Печках-лавочках».

Рядом с Шукшиным и ты становился иным. Мне кажется, что он глубже и сложнее самых высоких наших представлений о нем. И взгляд его на Россию был мудрее и серьезнее, чем это пред-

ставлялось порой. В «Печках-лавочках» у меня был диалог с коллегой-профессором, которого играл Всеволод Санаев: «Да не играй ты в любовь к России! — говорил я ему. — Это может быть наукой, это может быть душевной привязанностью. Но в это нельзя играть».

Слова эти по-новому освещали и характер самого профессора: он уже не казался таким однозначно-правильным. Они давали смысл и моему присутствию в картине, без них роль свелась бы к случайному эпизоду. Хотя в фильм они не уместились, что, конечно, огорчительно. Однако месяц общения с Шукшиным, Федосеевой, Заболоцким дороже мне этого неудавшегося актерского эпизода.

Почему я клюнул на «Воров в законе»? Потому что это Фазиль Искандер, который попросил меня участвовать. Я обожаю этого сочинителя и человека. Согласился — потому что надо было ехать в Ялту, где меня ждали четыре дня общения с любимым Валей Гафтом. Я сыграл свою смешную пустяковую роль за два дня. Остальные два мы трепались с Валей. А что из того вышло — я не знаю, не смотрел. Какие-то деньги заплатили. Я же не спрашивал, сколько заплатят. Не в этом дело. Ищешь для себя маленькие удовольствия.

Хотя я из-за этого, случалось, влипал в жуткие истории. Как-то позвали в Одессу — а я боготворю Одессу. И только услышал в трубке: «Вам звонят с

Одесской студии...» — сразу спросил: «Когда выехать?» Даже не поинтересовался — для чего, к кому? Знал лишь: мне надо быть в Одессе. Приезжаю — а там чудовищный сценарий. Объясняю им: «Я этих слов не смогу выговорить». Авторы — вполне знаменитые два брата — позволили мне переделать все, что составляло мою роль (Аркадий и Георгий Вайнеры, фильм «Место встречи изменить нельзя». — *Ред.*). И я сыграл сцену с Володей Высоцким. Да, еще я, кстати, заранее знал, что Володя будет там и что я проведу с ним несколько дней. Мне было приятно.

В Одессе у меня совершенно особый статус существования. Несмотря на южный темперамент, одесситы корректны, вежливы: «Здравствуйте! Как себя чувствуете?» Будто мы все живем в одном маленьком поселочке. Там, в Одессе, есть лишь одно неудобство: таксисты не берут с меня денег. Но я смирился.

Предпочтение все-таки я отдаю театру, он ближе мне. На сцене работаешь на одном дыхании, без этих «стоп-кадров». Разве мог бы без театра я когда-нибудь прийти в кино?!

Сострадания в кино становится все меньше, а боли — все больше. Смотришь картину — и никого там не жалко. Как это возможно? Искусство ли это, если никого не жалко? И ведь это доступно и кинематографу, и театру, но этим пренебрегают. Точку видения надо выбрать. Слишком близко стоять к чужой судьбе — ничего не увидишь. Важно найти

Кино

такую дистанцию, с которой видно, как страдает душа. Это, кстати, замечательно удается большим поэтам.

Необязательны положительные герои, но обязательно страдание человеческое, движение души. Чего еще мне нужно от искусства? Умных речей я за жизнь наслушался, прекрасно сваренных коллизий видел много. Но вот чтобы жалко кого-нибудь стало, заступиться хотелось бы, прижать к груди...

Телевидение

На мой взгляд ничего интереснее, чем человек, не существует, а именно преломление сути и свойств любого предмета в свете человеческого разговора — это так увлекательно, я обожаю слушать истории разных людей.

Телекомпания «ТВ-6» дала мне право самому выбирать собеседников в своей программе «Чай-клуб». И я провожу некую предварительную работу. Если я лично не знаю человека, а только его имя, то навожу справки у знакомых. Моим гостем должен быть непременно человек, не замеченный в непорядочности. Принцип такой: пьют чай у Гердта люди, в порядочности которых он уверен.

Все началось с «Кинопанорамы» — я был первым ее ведущим. Пригласили меня Ксения Маринина и Кацев, был такой замечательный господин. На-

чали мы делать передачу, и все это было вполне красиво, но потом один человек (не хочу называть имени, ему или его близким будет сейчас неловко) сказал: «Вы, Зиновий Ефимович, употребляете в эфире такие местоимения, как «я», «мне»... Это советского телезрителя не очень волнует, вы не частное лицо здесь, вы представитель советского телевидения. Что значит: «Мне порой кажется...»? Кому интересно, что ВАМ кажется? Побольше обобщайте, пожалуйста».

Что касается «монументальных» дум про телевидение, то мне кажется, что, в конечном счете, его главная цель в любой стране — это просвещение. Когда я вижу, как человек на экране угадывает слово из восьми букв и восьмью не может отгадать, а если случайно придумает — ему дают миллионы, меня это оскорбляет. Люди живут довольно кисло, считают денежки, а тут букву угадал — и гуляй не хочу. Это нехорошо.

К сожалению, у нас в прессе очень часто неграмотно говорят по-русски. Раньше можно было свериться в языке по газете «Правда», где ошибка или опечатка приравнивалась к ЧП. Сейчас газет так много, на опечатки никто не обращает внимания. Но уж телевидение не имеет права на ляпы! Вот дают бегущую строку: победитель конкурса получит приз в *течении* трех дней! Повторяют это несколько раз. Человека, допустившего такую оскорбительную ошибку, надо очень строго наказывать, может быть, даже сказать

ему: «Вы не можете работать, у вас нет чувства грамотности».

Мне один русский, живущий в Америке, рассказывал об аспирантке-американке, которая думала, что истории всего 250 лет. А до этого что было? До этого динозавры. Но это американцы. Нам-то непозволительно. У нас тысячелетняя культура.

Если спросить меня: «Гердт, а у тебя хобби есть?» — я скажу: «Конечно, у меня есть хобби. Мое хобби — русский язык, родная речь». Моя библиотека в основном состоит из стихов и русских словарей. Словари — мое любимейшее чтение. Это замечательное занятие. Хватило мне на целую жизнь.

Раньше у людей перед камерой была скованность от осознания, что их видят триста миллионов зрителей. Это было даже трогательно иногда. А сейчас есть не раскованность, а развязность. Нынешние ведущие полагают, что если держать руку в кармане, стоя перед камерой, то это выражает их свободу. Нагляделись на Буша, который, выходя из самолета на трап, сразу клал руку в карман и бежал вниз, такой шустренький. Американцы так делают — и мы за ними. Но это же неприлично — класть руку в карман! Кругом дамы!

И как это украшает жизнь, когда ты видишь человека с хорошими манерами — как он разговаривает, как слушает. Я несколько раз встречал на приемах Игоря Александровича Моисеева. Я ни

на кого не смотрел, только на него — восхищался манерами старого человека. Как он превосходен, прост, естественен, аккуратен — и в выражении глаз, и в выражениях речевых. И потому необыкновенно элегантен.

Вот молодой человек, ведущий, очень преуспевший на телевидении, модно одетый, видимо, состоятельный. У него какой-то не то акцент, не то диалект. Он разговаривает так: «Я ей сказал: «Не надо на меня сыпать, о'кей?» Вот такая манерка. Такие люди работают на телевидении. Но если ты ведущий или диктор, то вообще не имеешь права на речевые особенности, должна быть хорошая манера речи, ничего больше. Мной сразу была замечена Светлана Сорокина. Она умна, спокойна, сохраняет достоинство, она безусловная ДАМА, ее нельзя, проходя мимо, потрепать по щечке, — нельзя! Это видно по манере держать голову, улыбаться — не слишком часто, а там, где можно, по манере говорить, по самоиронии (а это самое главное и самое трудное).

Мне однажды Образцов рассказал такой случай. Его сын Алеша окончил архитектурный институт и поступил на работу в архитектурное управление. Был объявлен конкурс на лучший проект Дома мебели. И Алешин проект выиграл. Победителя позвал к себе Промыслов, глава Мос-

совета, немыслимо большой начальник. И вот он, глядя на планшет, спрашивает: «Где тут у тебя вход-то?» На что этот молодой, лет 25–26, человек отвечает: «А ты что, чертежи читать не умеешь?» Промыслов тут же: «Нет-нет, я вижу, вы меня не так поняли, извините». Понимаете, как это потрясающе?

Теперь всякие заседания кабинета министров проходят перед камерами. Премьер-министр говорит министру: «А ты сам где водку-то покупаешь?» А тот отвечает: «В магазине». Я так засмутился, так мне было нехорошо, стыдно это слышать! Причем тот, кого спрашивали, вполне ученый человек, умный, он мне нравится. Потом мы с ним встретились на какой-то презентации, и я спросил: «Почему вы ответили тогда «В магазине» вместо того, чтобы сказать: «Там же, где и ты?» — «Не нашелся! Ай-яй-яй, как же это я не нашелся?»

Мне очень легко работалось с Денисом Евстигнеевым и с Костей Эрнстом. Во-первых, они умные, во-вторых, одаренные, в-третьих, очень давно мне знакомые. Я очень тепло отношусь к серии роликов «Русский проект», которые мы делали вместе в 1995 году. Что-то в них легко, что-то весело, что-то очень социально, очень глубоко. И очень жалко там становилось многих героев, меня иногда было жалко. Какой идиот сказал: «Жалость унижает человека»? Как может унижить величайшее человеческое чувство? Дикость. От

Телевидение

жалости — и сострадание, и желание поделиться, желание помочь, выручить. Анонимно помочь — вот ведь что главное. Не на публику, не для демонстрации.

Теперь, на склоне лет, я иногда подсчитываю под конец дня: а что ты доброго сегодня сделал?

Друзья

Дружба величественнее любви. Любовь бывает без взаимности — бывает ведь неразделенная любовь. Дружба неразделенной не бывает, иначе это рабство какое-то, что ли. Дружба — великое явление. Хотя бывает... бывает, думаешь: лучше бы я его не знал, а знал только его творчество. Или наоборот: пусть бы я никогда не видел плодов его творчества, а знал лишь его самого. Но когда две эти любви совпадают — это великолепно.

Друзей у меня очень немного, но положиться на них я могу полностью. Круг очень узок. Есть группа ученых, с которыми каждый август — вот уже двадцать с лишним лет — я провожу в палатках на одной речке в Прибалтике. Есть друзья юности. Их становится меньше. Ушел Давид Самойлов, с которым мы дружили с 1938 года. Это была даже не

дружба, а полное родство. Есть прекрасный Миша Львовский. Саша Володин в Ленинграде — пять раз в неделю мы говорим с ним по телефону. Есть школьные друзья Тани, которые стали и моими друзьями.

О Евгении Сперанском

Мы видимся вполне регулярно. Общение с ним для меня стало просто необходимостью. Я ловлю себя на мысли, что мы совсем не говорим о политике, слово «Хасбулатов» ни разу не было произнесено. Он рассказывает с разными хитрыми ужимками, как здорово ему работается, как он ложится спать с чувством ожидания нового утра и, проснувшись в шесть часов, когда все в доме спят, начинает стучать на своей старенькой машинке. Он подвижен, ловок, прекрасен. Такого артиста в кукольном театре никогда не было, да и пьес так хорошо никто не писал для этого театра.

Он работал у Образцова со дня основания его театра. Я вспоминаю, как-то в шестидесятых мы были на гастролях в Мюнхене. Жили в очень хорошем артистическом отеле в отдаленной части города. Евгений Вениаминович никогда не думал о своей одежде. И я уговорил его пойти в город купить хороший костюм.

В то время у меня разболелась нога, я был на костылях, но, правда, это не мешало мне быть под-

вижным. Мы шли по длинной, пустынной улице Мюнхена. Вдруг вдали показались две очень разные мужские фигуры. Одна — высокая, другая — поменьше. И только я их разглядел, как бросился на землю и из положения «лежа» стал «стрелять» из костыля в мужчину поменьше. Сперанский совсем ошалел от этого безобразия, тем более что и моя «мишень» тоже короткими перебежками, падая на землю и снова поднимаясь, приближалась ко мне со своим спутником.

Евгений Вениаминович по-прежнему был в шоке, хотя редкие прохожие совершенно не обращали на нас внимания. И вот когда мы столкнулись с «противником», то... бросились друг другу в объятия. Это были Ян Френкель и Андрей Мионов. Мы все вместе пошли в магазин и в шесть рук одели и обули Сперанского, как франта.

О Михаиле Козакове

В моем детстве в нашем маленьком городке жил пан Скорульский — тапер еще того, немого, кино. Он снисходительно и даже ласково назывался городским сумасшедшим за неистовое и бескорыстное служение всему совершенно непрактичному. Такое сумасшествие — пока не клиника, но уже мало похоже на что-нибудь нормальное.

По правде сказать, признаки этого я давно замечаю не только в Михаиле Козакове, но и в себе

самом. По профессии мы оба актеры, по призванию — маниакальные, даже не читатели, а какие-то пожиратели стиха. С отбором, конечно. Даже с привередливостью. Не дай вам бог встретиться с одним из нас где-нибудь в замкнутом пространстве, в купе поезда, рядом в кресле самолета. Да где угодно, откуда некуда деться. Мы вас зачитаем, игнорируя любые ваши попытки увернуться. Тут ничего нельзя поделаться: перед вами... пан Скорульский.

Видимо, лет двадцать назад я впервые прочел «Фауста», перевыраженного на русском Борисом Пастернаком. Боже, скольких же ни в чем не повинных людей я измучил монологами Мефистофеля и какое изысканное наслаждение испытывал при этом сам. Если к тому же учесть, что с нечистой силой я давно был накоротке в кукольном театре. Теперь вам будет легко себе представить, с каким чувством я принял приглашение Михаила Михайловича сыграть с ним сцены из этого гениального сочинения. И хотя диагноз у нас с Козаковым один, он — режиссер, и я должен был ему подчиняться. Представляю себе, каково было съемочной группе наблюдать нас со стороны...

В последнее время с Мишей Козаковым я уже редко общаюсь. Иногда он позванивает «оттуда». Я несколько раз видел его спектакли, к которым отношусь с огромной нежностью. Он ведь человек совсем актерский. Разные периоды бывали

в нашей дружбе: и приливы, и отливы. Недавно в «Моменте истины» у Караулова я сказал, что у меня нет друзей, кроме Шуры Ширвиндта (я еще с его мамой дружил). «А Миша Козаков?» — поинтересовался Караулов. «Всякое бывало между нами, — говорю, — даже и такое: однажды я выгнал его из дому за то, что он напился и хамил пожилым людям, сидящим за столом. Но потом, через два года, наступило примирение». И там, в Израиле, все это видели. А Миша не знал. Ему сказали: вот, мол, Гердт про тебя говорит, что выгнал тебя из дома. Однажды он и звонит мне: «Слушай, тут весь Израиль про это только и говорит — Гердт тебя приложил и оскорбил». — «Миша, — успокаиваю его, — ты же знаешь, что я не могу сказать что-либо дурное о тебе. Я тебя люблю. Значит, они в Израиле совсем... Еврейское государство без юмора — это же совсем чудовищно. Это катастрофа». Потом мне рассказывали, что в каком-то письме, присланном из Израиля, было написано: «У нас все хорошо. Только произошли две страшные вещи: арабские экстремисты взорвали автобус, и Гердт нахамил Козакову». Эти две истории и потрясли замечательное государство Израиль.

Об Александре Кочеткове

Это был поэт, который принимал участие в Гражданской войне на стороне белогвардейцев. Жил в Грузии. Грузины его покрывали. Я встретил его в

Тбилиси году в 50-м, в старинной гостинице. Ему тогда было около 50 лет. Лифт не работал, и мы увидели друг друга на лестнице. Перепутать его лицо с лицом человека какой-то другой профессии было невозможно. Он — поэт. Это было написано на его челе. У него был не лоб, а чело. И не глаза, а очи. Светлые-светлые, голубые, выцветшие очи, очень красивые.

Когда я его увидел, мне показалось, что это был ангел. Я пошел за ним, он представился, пока мы шли. Мне нужно было на четвертый этаж, а ему — на седьмой, потому что дом был семиэтажный. Он жил на антресолях, точнее, на чердаке, в каком-то чуланчике. И там его ждала ангелица. Ангел и ангелица, муж и жена. Совершенно той же породы существо, понимаете?

Каждый вечер после спектакля я приходил к нему. Приносил что-нибудь съестное, как бы случайно. Вино какое-то пили. И он читал стихи. «Балладу о прокуренном вагоне» он прочитал во время нашей шестой встречи. Это великое стихотворение. В основе была история, которая случилась с поэтом. Он должен был приехать поездом, который потерпел крушение, но не поехал. И он представил себе, что бы случилось, если бы он поехал тем поездом:

Нечеловеческая сила, в одной давилъне всех калеча,
Нечеловеческая сила земное сбросила с земли.
И никого не защитила вдали обещанная встреча,
И никого не защитила рука, простертая вдали.

Гердт о себе

«С любимыми не расставайтесь...» — эта строка стала названием пьесы Александра Володина, а стихотворение вошло в фильм «Ирония судьбы...». Его имя знают все, кто хоть чуть-чуть интересуется русскими стихами.

О Валентине Гафте

На меня он написал только один мадригал:

О, необыкновенный Гердт,
Он сохранил с поры военной
Одну из самых лучших черт:
Колено-он-непреклонный!

Он сочинил это лет двадцать назад. Гафт — совершенно особый человек. Мы относимся друг к другу с огромной симпатией. Он очень смешной — один из самых смешных детских людей на свете. Великий самоед: «Вот, ничего у меня не получается, я бездарность». Он мне близок этим самобичеванием. Но про стихи свои говорит, что гениальные.

О Ролане Быкове

Ролан Быков — человек, которому я обязан тем, что стал актером кино. Он первый снял меня в своих «Семи няньках», а я его потом так отблагодарил —

вспомнить страшно... Роль в «Фокуснике» Володин писал специально для Ролана, он его очень любил в своем фильме «Звонят, откройте дверь!». Писал для него, а получилось так, что сыграл я. Потом Ролан должен был играть Паниковского в «Золотом теленке». Сняли пробу, очень хорошая была проба. Швейцер позвал меня ее посмотреть, попросил по дружбе подбросить идей на тему образа. Ролан — Паниковский мне очень понравился, я увлекся, стал фантазировать, показывать, что и как можно сыграть. «Ну-ка, давай мы и твою пробу сделаем», — сказал Швейцер. А кончилось тем, что Паниковского тоже сыграл я.

И после всего этого Ролан позвал меня сниматься в свой фильм «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Конечно, я его без ролей не оставил, у него всегда работы было больше чем достаточно, но не всякий человек сумеет быть таким щедрым, таким добрым. Доброта, настоящая доброта — самое высокое свойство Быкова. Он вообще любит всех слабых — детей, животных, актеров.

О Юрии Ледине

Однажды, когда я вместе с Центральным театром кукол был в Сочи на гастролях, ко мне прилетел из Норильска один неистовый человек — Юрий Янович Ледин. Попробую его описать. Михаил

Светлов, очень остроумный и жутко тощий, о своей худобе говорил так: «У людей — телосложение, у меня — теловычитание». По светловской классификации, Юра — это дробь. Первая мысль, когда он появился в моем гостиничном номере, — успеть накормить. Лихорадочная, сбивчивая, очень заразительная речь. Горящие, в пол-лица, глаза. После нескольких минут знакомства ловлю себя на том, что мы с Юрой держимся за руки и собираемся посвятить всю дальнейшую жизнь защите зверей и птиц.

Ледин — режиссер и оператор, человек беспощадный к себе. Каждый год он едет в экспедицию — снимать. Его группу «сплевывают» на какую-нибудь льдину. Полярный круг остается километрах в трехстах ниже. И там они валяются полгода, чтобы проследить жизнь какой-нибудь заполярной птички или зверя. Это святые, «сдвинутые», как сейчас говорят, люди. Я преклоняюсь перед ними, 21 год служу им, сочиняю тексты к их фильмам и читаю. И, несмотря на мою огромную любовь к Юре, должен признаться, что сотрудничать с фанатиками непросто.

О Рине Зеленой

Дружба с Риной Зеленой очень меня возвышала, и я дорожил ею. Рина — и артистка особенная, и человек совершенно незаурядный, из ряда

вон выходящий. Она была блестяще воспитана, остроумна и, что самое важное, без тени банальности. Ни разу в жизни ей не изменили остроумие и вкус. У нее был свой лексикон, свои оценки, никогда не похожие на общие. Подчас она казалась парадоксальной, но в итоге всегда оказывалась права. Она была богобоязненна, глубоко верила в Бога. По тому, как она относилась к Нему, по простоте, почти будничной, и по величию их «взаимоотношений» с Богом я все время, хотя и не говорил ей об этом, сравнивал ее с Борисом Пастернаком.

И вместе с тем она была необыкновенная кокетка, жуткая прохиндейка, обманщица, авантюристка. Не счесть, сколько раз я оказывался из-за нее в идиотском положении. Об одном таком случае хочу рассказать.

Было это в день рождения Твардовского — 21 июня 1970 года. Ему тогда исполнилось 60 лет. Праздновали на его даче в Пахре. С утра начали съезжаться гости. Я привез в подарок скамейку, которую сам срубил, — очень хорошую садовую скамейку. Приехали Гавриил Троепольский из Воронежа, Федор Абрамов из Вологды, Юрий Трифонов — словом, весь цвет русской прозы того времени. Все расположились на воздухе, в саду. Уже середина дня. Я разговариваю с кем-то, по-моему, с Лакшиным, и вдруг вижу — Рина. Я знал, что она не знакома с Твардовским, поэтому подбежал и спрашиваю: «Рина, что

происходит?» А она говорит: «Я приехала к тебе явочным порядком. Мне Шуня (мама моей жены) сказала, что вы у Твардовских, вот я и приперлась».

Конечно, ее тут же узнали, посадили за стол. Она выпила водки. Все вроде обошлось, и тут она подкрадывается ко мне, дергает меня за рукав и говорит: «Гердт, я хочу выступить перед Александром Трифоновичем». — «Рина, — отвечаю я, — это невозможно! Вы что, с ума сошли? Перед кем вы собираетесь выступать — здесь цвет русской литературы, а вы с вашими эстрадными штучками». — «Нет, — твердит она, — я все-таки хочу. Объяви меня». Я убегаю от нее, перехожу к другой компании, но она меня всюду преследует, продолжает дергать, щипать и все повторяет: «Ну я хочу выступить, ну объявите меня».

Наконец, устав от этих упрашиваний, я сказал: «Александр Трифонович, перед вами хочет выступить Рина Зеленая». Сразу стало тихо, и вдруг она как на меня накинется: «Вы что, идиот? Вы с ума сошли — как это возможно, здесь? В какое положение вы меня ставите, тут такие писатели, и вы хотите, чтобы я выступала со своими эстрадными штучками. Да как вы вообще пускаете его в дом, этого придурка, он же вам дачу спалит! Боже мой, ну как вы могли меня объявить! Ну да ладно, раз уж объявили, придется выступать».

Я совершенно обалдел от такого нахальства. А она преспокойно стала выступать. И знаете, я такого счастливого Твардовского в жизни не видел. Он заливался слезами, катался по дивану. А наутро пришел к нам и говорит: «Ну, Зиновий Ефимович, то, что вы мне скамейку подарили, — это, конечно, здорово, хорошая скамейка, но то, что вы специально для меня привезли из Москвы такую артистку, — это незабываемый подарок».

О Булате Окуджаве

Замечательная встреча была у нас с Булатом Окуджавой. Он приехал в Ленинград на съемки «Соломенной шляпки». Я играл там папашу Тардиво, а он писал песни. Нас поселили в одном номере. Суббота у нас оказалась свободной, и мы целый день, не выходя из номера, читали друг другу стихи. Это было дивно. Потом он даже написал об этом стихотворение «Божественная суббота»:

Божественной субботы
Хлебнули мы глоток,
От празднеств и заботы
Закрылись на замок.
Ни волны суесловий,
Ни улиц мельтешня
Нас не проймут, Зиновий,
До середины дня...

Дыши, мой друг сердечный,
Сдаваться не спеши,
Пока течет он, грешный,
Неспешный пир души...

Об Александре Твардовском

Случилось так, что в последние годы жизни Твардовского судьба подарила мне частое общение с этим замечательным человеком. Мы много говорили о жизни, об искусстве и, конечно, о поэзии. Во всем, что касалось моей актерской жизни, он стал для меня критиком, которого я боялся. Страшно. Его и мою дочь Катю. Их оценки ждал, как приговора, — боялся ее, просто готов был со стыда умереть. Может быть, я и жив-то до сих пор потому, что Твардовский от души смеялся над моим Паниковским, хвалил его лукаво. Причем оказалось, что об актерской работе он судит так профессионально, с таким пониманием, какое и у кинематографистов не часто встречается.

Суть загадочной на первый взгляд личности Александра Трифоновича Твардовского, мне кажется, в том, что этот крестьянский человек, в жизни говоривший чуть-чуть с белорусским речением, был непогрешим в прозе и стихах, был аристократичен, будто дворянин двенадцатого колена. Мы познакомились на Пахре, все началось с дач-

ного соседства. Потом мы подружились. Иногда он вызывал автомобиль из «Известий». Помню, как однажды сманивал всех поехать с ним за компанию, говорил: «Есть места». Был возбужден, рассказывал, что едет в Москву, чтобы поведать всей редакции, какую замечательную повесть «Сотников» написал Василь Быков. Говорил о достоинствах прозы, о метафорах. Приглашал всех желающих:

— У нас есть два свободных места.

Повисала ужасная неловкая пауза. Потом он выдавил из себя:

— Бесплатно.

И, вероятно, пожалев его, одна деревенская женщина запунцовела и влезла в этот автомобиль. Он обрадовался: «Есть женщины в русских селеньях!»

Он был сноб в прекрасном понимании этого слова, англичанин, дворянин. Одинаково говорил со мной, с комендантом поселка, с Хрущевым.

Мы ходили с ним по грибы. Он стоял во дворе такой величественный и трезвый в пять часов утра. Лукошко, штаны, рубашка, посох. Прежде чем идти, низко кланялся — это было как ритуал. И только вышли за пределы поселка — и открылось поле, и купы дерев, во всем взоре столько было широты, этот ландшафт существовал и 500 лет назад... А впереди — мой кумир.

Я тогда прокричал, проорал стихотворение Пастернака «Август».

— Это Борис Пастернак? Мне приятно, что вы знаете стихи наизусть. А из моего?

Я прочел большое стихотворение.

— Вы и правда мои стихи знаете. Вы уж потрудитесь, прочтите его еще раз!

Мне кажется, это немножко придуманная профессия — мастер художественного слова. Публично читать стихи может только человек, перевосхищенный автором — переполненный восхищением.

Как-то раз мы сидим на веранде — еще были живы Танины родители, — входит Твардовский, и у него в руках что-то плоское, завернутое в газету. Шуня, Танина мама, говорит: «Садитесь, Александр Трифонович, выпейте кофе». — «Я-то кофе пил в шесть утра, а сейчас пол-одиннадцатого. Ну, не стану вам мешать». И ушел. И когда он уже был около калитки, Таня ему говорит: «Александр Трифонович, вы оставили папочку». И он, не оборачиваясь, вот так ручкой сделал. Знаю, дескать, не случайно оставил.

Мы развернули эту бумагу, газету. И там была пластинка «Василий Теркин на том свете» в исполнении автора. И на портрете Василия Теркина, нарисованном Орестом Верейским, были написаны мне хорошие, совсем хорошие слова... В этот день меня поздравили со званием народного артиста. Подумаешь, что такое народный артист! А тут меня сам Твардовский похвалил, признался в каких-то чувствах!

Друзья

О Шарле Азнавуре

С Шарлем Азнавуром я не был знаком. Хотя, по-
стойте, однажды меня все же ему представили.
Но я с ним не пил. Мы похожи, да? Я знаю, что
это так. «Ты похож на Азнавура», — говорили мне
друзья. Да нет, это он на меня похож. Я несколько
старше.

Женщины

В моей жизни женщина сыграла главную роль, более того — роль мужскую. Я не был бы сам собой, если бы мной не руководила женщина, ибо женская воля и женское участие гораздо нацеленней и верней. И другую огромную службу сослужила мне женщина: уберегла от сознания собственного совершенства в профессии. Не знаю, наступил ли вообще матриархат, но в моем доме он существует, и я счастлив, что это так.

Еще бывает,ходишь в кабинет к женщине-начальнику и как-то неловко себя чувствуешь: вот ты перед дамой в таком искательном состоянии. Но начальственная женщина ласково улыбается и все решает быстро и мило! Что касается театра, то здесь все женщины кажутся красавицами. Даже если не обладают особыми дарованиями. Но есть

те, о ком помнишь долго. Инна Чурикова, Алиса Фрейндлих, Марина Неелова — глядя на них, признаешь, как это огромно, если женщина — настоящая актриса.

И не женщина ли спасла меня как артиста? Это случилось много лет назад, в Киеве. Докурив папиросу, я обнаружил, что бросить ее на залитом светом вечернем Крещатике невозможно. Ближайшая урна — метров на восемь позади. Тогда, не целясь, щелчком я отправил окурок в восьмиметровый полет, и он, описав дугу, точно по центру тукнул в урну. Это была огромная творческая удача. Думаю, первая и последняя. С чувством, что мне удалось что-то высокохудожественное, я обернулся к своим спутникам, но увидел одни спины. Никто не был свидетелем моего рекорда! Я был убит: впервые в жизни такой провал. И вдруг совершенно незнакомая молодая женщина подбегает ко мне и дрожащими губами произносит: «Я видела! Я видела!» Так мне спасли веру в себя.

А нечто большее — жизнь — мне подарили 13 февраля 1943 года санинструкторы Вера Веденина и Нина Рощина — та самая Нина, которая позднее стала Ниной Ефимовной и работала в редакции «Учительской газеты».

Кстати, я помню свое первое любовное стихотворение. Одну строфу. Я не мог даже любовное, лирическое стихотворение написать как серьез-

ное. Девушка одна на школьном вечере под аккомпанемент фортепиано пела: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Красивейшая вещь. Мне показалось, что она неправильно поет. Но все равно она была обладательницей моего сердца и тайно любимой. А стихотворение кончалось так:

Зачем ты вышла в платье белом?
Зачем в вечерней тишине
При мне, красавица, ты пела?
Не пой, красавица, при мне!

Первая жена

Они поженились в 1941-м, а расстались в 1945-м: их брак поглотила война. Ей было 21, ему 23. Они познакомились в арбузовской студии, когда никто еще не знал такого имени – Зиновий Гердт. Его тогда звали иначе – Залман. И был он такой худой, что его мама шутила: если Зяму посадить на рубль, как минимум 95 копеек будут видны.

Сегодня первая жена Гердта категорически запрещает разглашать ее имя. Но почти сто уцелевших писем своего мужа она сохранила. Вначале письма приходили от курсанта саперного училища, затем – от гвардии лейтенанта саперного батальона, последние – от раненого бойца из сибирских госпиталей. В 1945-м у них родился сын. Зиновий Ефимович назвал его в

честь своего друга из арбузовской студии, погибшего на фронте, – сына поэта Эдуарда Багрицкого Всеволода. В том же году они расстались.

Январь, 1942, Мензелинск

Девочка моя дорогая! Я здесь пробуду еще с месяц, затем туда. (...) Я здесь во всю мощь развернул актерскую деятельность. Очень часто выступаю в концертах с куклами и гитарой. Теперь, когда я знаю, что ты в Москве, я буду писать тебе письмо за письмом. И в каждом буду вставлять стихи, хорошие они или плохие – но искренние. И написаны только для тебя. Жду писем. Наикрепчайше целую тебя в мизинец. Твой старик Зямка.

9 января 1942, Мензелинск

Родная! Минус еще один день из неведомого количества дней, разделяющих нас с тобой. Будет же когда-нибудь время, этих дней останется ощутимо мало, и тогда придет тот день – День великого свидания, крепкого объятия и чистого поцелуя. Ангел мой, для этого дня стоит жить и бороться. Этот день нужно добыть.

Мечтаю искупаться в баньке. Здесь вот такие баньки... Пока моешь ноги, голова уже черная от потолка. Пока моешь голову, ноги уже синие от мороза. В общем, омет-сюрприз. Наверху горячий крем, а внизу мороженое. Ничего не поделаешь – Мензелинск. Кстати, ты почему-то пишешь

Минзелинси, так как нужно Мензелинск. Это в корне меняет понятие и представление об этом шедевре цивилизации.

Девочка, в одно из писем я вложил маленькую фотографию моей персоны. Получила ли ты? Сенсация! Мои усы выглядят уже довольно солидно. Я их сберегу до конца войны, покажусь тебе и сбрею. Они у меня теперь как у Чаплина. Но я уже хочу такие, как у Мопассана.

Сегодня погода совсем обезумела: — 63. Я про такую температуру и не слыхал никогда. (...) Тут многие из моих сокашников поотморозили себе уши, носы, щеки. Меня никакие морозы не берут. Не знаю, почему. Вчера я выкурил папиросу «Беломор»: впечатление замечательное, но самосад освоен полностью, и на табачном фронте полный порядок. У меня есть две спички. Берегу их на черный день. В одной ручке чернила кончились, стяжал другую. Тут у меня неисчерпаемые источники ресурсов и богатство. Здесь можно найти что угодно, потому что у каждого что-нибудь да есть.

5 февраля 1942

Еще и еще раз Я. Смешно получается: мне кажется, что я тебе надоел письмами, а ты пишешь, что боишься наскучить мне. Ерунда. Я был бы счастлив, если бы получал их штук 20 в день. Мечтаю о времени, когда я смогу доказать тебе это. Придет ли оно? Мне кажется, придет. Иначе

было бы слишком жестоко со стороны Судьбы. В сущности говоря, она, судьба, нас еще не баловала счастьем. Правда, ей, судьбе, время не дало развернуться. Мучительно мало мы были вместе, буквально я помню каждый прожитый день, прожитый нами вместе день. Дни наших свиданий во время войны стали для меня колоссальными событиями. Я бы сказал, историческими днями моей любви и жизни, где бы я ни был, куда бы война меня ни послала, эти дни будут ведущими, зовущими, ибо они постоянно говорят мне: жить, жить, жить.

Маленькая, ты сейчас хочешь кушать, я знаю. Могу тебе предложить раковую шейку, хочешь? Маленькая, если бы я был около тебя, я бы из-под земли достал тебе все, чтобы ты и не знала и не думала об этом. К несчастью, я страшно далеко и нищ. Нищ, как гений. Ничего-ничего, скоро мы разбогатеем. Я тебя засыплю раковыми шейками, вот. Так, мне кажется, еще никто никому не говорил. Дай только кончиться войне. Уж мы тогда свое, земное, доживем. На земле свое долюбим. Отыграемся на этом чудовище — времени. Соберутся все наши настоящие друзья. Эх, где-то они сейчас? (...) Интересно, кто-то из нас вернется домой? Я об этом очень редко думаю, но как подумаю, так думаю крепко. Время покажет. А пока пусть звучит лозунг «сачков»: не унывай.

Целую тебя, дорогая жена.

Твой усач Зямка.

8 февраля 1942

Писать — так писать. Решил теперь писать письма по утрам, до завтрака. Утро вечера мудреней, должен доложить, что со вчерашнего до сегодняшнего никаких сенсационных происшествий не произошло. За исключением, пожалуй, того, что я вчера вечером побрился. После чего усы заиграли с еще большей четкостью и красотой. Усы мои пройдут через хребты веков.

О чем я хочу говорить беспристрастно, так это о моей великой тоске по тебе. Маша! Милая моя! Столько тоски, по-моему, еще не вмещало ни одно юное сердце. Я еще никогда не ощущал такой силы желания, как сейчас. Потому я и рвусь скорей отсюда, куда угодно, чтобы поскорей пройти это генеральное событие, испытание на жажду жизни. И если индейка (судьба) будет милостива ко мне, вернее, к нам, домчатся к тебе и ото всей души пожать твою руку, вложив в это пожатие все свое сердце. Поэтому я и рвусь отсюда. Может быть, моя маленькая жизнь ускорит в какую-то миллионную долю разгром черной сволочи, причинившей нам столько неприятностей.

Мария, ты мне дорога как самое близкое и родное на этой планете, и с каждым днем ты становишься дороже, и значительней, и необходимее. Мне очень трудно жить без тебя. Мария! Я тебя так никогда еще не называл, что ж, так твое имя звучит очень поэтично... Целую. До утра, до головокращения. Твой Зямка.

12 мая 1942

Моя родная женушка! Вот я и боевой командир. Дали мне бойцов. С утра до ночи работаю с ними. Учю саперному искусству. Ложусь в 12, встаю в 5 утра. Понемножку привыкаю. Напиши, какие дела у тебя, что нового. Не натворили ли мы чего? Безумно хочу сына!

12 июня 1942

Получил сейчас твою открытку из Люберец. Экспедитор полз, полз. Я ему махал рукой, дескать, подожди. А он ползет, каналья. Экспедитор. Таким шикарным словом у нас называют почтальона. Это отчаяннейшая душа, будь он трижды здоров и крепок. Открыточка мягкая, потертая, а слова в ней нежные, нужные. Очень нужные слова. Контрасты поразительной силы...

Я хочу тебе рассказать, девочка, как умер Василий Борзых. Он всегда был моряком, а война приказала ему надеть пехотную гимнастерку, сапоги и пилотку. И Василий пошел в пехоту. Был он шумный, веселый парень с трудно разборчивым голосом. Храпел он, как Женька Долгополов, даже еще сильнее. Звание у него было старшины второй статьи, морское. Однажды вечером он мне рассказал про Марсель, он там бывал в 1934 году. Мы бежали вверх по невспаханному лугу, мокрые от пота, и вот Василий упал! А когда через полчаса его принесли в деревню, он не хотел, чтобы его вносили в сарай, он хотел смотреть в небо. Синее

небо... Я смотрел на него и не понимал, что Василия Борзых больше нет... Он сказал мне: «Дайте, пожалуйста, мой вещевой мешок». Удивительно чистым голосом, как у Севки Багрицкого. Мешок был под ним, на спине. Я обрезал лямки и осторожно вытащил мешок. Он серьезно смотрел вверх. Почему, думаю, голос стал чистым? Он попробовал развязать мешок, но мы помогли ему. Покопавшись в нем, он достал тельник, бескозырку и воротник морской. Поднес к глазам и широко развел руки. Чистым свежим голосом он запел: «Раскинулось море широко». Он смотрел все в небо, и глаза его заблестели водичкой, и у меня тоже, и у всех. Тут же он умер.

Я плакал, мурашки прыгали по спине, потому что он не придумывал себе никогда эту красивую смерть. Он не вычитал ее ни в какой книге. Поэтому, он ничего не читал. Это не из пьесы, а театрально... Может быть, я буду еще делать роли, но умирать на сцене — вряд ли. Потому что это назовут театральщиной... Расскажи это Арбузову. За мной пришли.

Из письма 16 июня 1942

Э-ге-ге-гей! Милая, ты услышь меня, в блиндаже сижу и заряд вяжу.

Это просто невозможно.
Сколько можно, разве можно
Ждать, и ждать, и ждать,

Женщины

и ждать,
Волноваться и гадать.
Я приказываю гневно,
Чтоб писала ежедневно,
Ежедневно, ежечасно,
Ведь неведение — ужасно.
Если ты замедлишь вестью —
Я убью тебя на месте.
Если ты мне не напишешь,
Я тебя повешу, слышишь?
Заруби мои вопросы
На своем носу курносом.
В остальном же все в порядке.
Время мчится без оглядки,
Молоко подешевело, это дело.
Сквозь пургу, ветер, туман
Доползет к тебе Залман.

18 июля 1942

Жена Мария! Еду опять пятые сутки. Куда? Ты, надеюсь, представляешь себе мое состояние в этот вечер, когда мы, эшелон, стояли в Москве, на окружной. Это ужасно. Я звонил тебе в ТЮЗ — сказали, что ты в театре Сатиры. Телефон неизвестный. Боже мой, я готов был крикнуть на весь белый свет какое-нибудь злейшее ругательство.

Ты, деточка, не волнуйся очень, я не пропаду. А Симонов действительно правильные стихи сочинил: жди меня, и я вернусь. Сейчас мимо

меня промчался поезд пассажирский в Москву. Как-нибудь и я так — к тебе. Дорогая, милая моя. Ожидаются отважные бои. Во имя тебя выйти из них победителем — вот мой лозунг. Для этого у меня есть достаточно знаний, желаний и ненависти. Нужной ненависти. Любимая, вероятно, я еще не скоро получу от тебя письмо в связи с моим перемещением. Ты пиши чаще. Знай, теперь же жизненно необходимо, чтобы каждый день Шалопанов приносил мне от тебя что-нибудь. Сегодня вечером напишу подробное письмо. Целую.

Из письма 18 августа 1942

...Урвал наконец минутку, чтобы сообщить тебе, что муж твой жив, здоров и успешно воюет с мадырами, венграми, немцами и прочей сволочью. О том, что моя работа полезна, подробнее узнаешь из последующих писем, которые будут обстоятельнее. У нас идут ожесточенные бои. Сейчас я только понял эту обыденную фразу из Совинформбюро. Сообщи адрес Балтфлота. Целую, Зямка.

21 августа 1942

Жена! Мария! Пишу и не знаю, застанет ли эта открытка тебя в Москве. Хорошо бы так. Машенька, я рад, что ты так уверена в моей неуязвимости. Правильно, дорогая, так и надо. Очень приятно здесь читать твои веселые жизнерадостные

письма. Они как жажду утоляют. Побольше пиши. Имей всегда при себе пачку открыток и где бы ты ни была — пиши. Сидишь ты в трамвае, пиши: «Сижу в трамвае номер 41 — еду к тебе». Вот такие мелочи очень нужны. Я пишу в поле, жара и мины, но все мимо меня.

Я расскажу тебе, жена, очень много интересных вещей. О том, что такое нервы человека, что такое воля, что такое жажда скорей и лучше выполнять приказ. Когда вникнешь в «дело», шум и грохот, окружающий тебя, только подгонит твою энергию. Хорошо, что я умный и иногда анализирую свою буйную душонку. Хочу скорей кончить с этой сволочью, хочу видеть тебя, поэтому не боюсь усталости, недосыпаний и прочих мелочей войны. Жди. Целую, Залман.

27 сентября 1942

Слушай, Мария! Муж твой сегодня размечтался. Он сидит сейчас в своем блиндаже на высоком крутом берегу Дона, а ночь такая теплая, луна такая сияющая, что сидит он без гимнастерки, пишет без фонаря. Такие ночи не военные. Тише, Мария, и всем скажи, чтобы потише, и вообще, чтобы кругом было тихо. Слушай, что творится у меня на душе. Думаю, когда мы разобьем немцев, может быть, это будет не скоро, но будет же это в конце концов, — тогда из всех концов израненной страны будут тянуться руки, жаждущие объятий.

И кровь, запекшаяся кровь, залившая землю, засохшая, побуревшая кровь растворится горячими слезами радости встреч и кипятковыми слезами горечи безвозвратных утрат.

Если бы ты знала сержанта Самодюка, видела бы его богатырский стан и есенинскую шевелюру. Если бы ты знала, что это за парень, как часто он вынимал из записной книжки маленькую карточку с курносой девушкой. Если бы ты слышала, как он пел: «Ох ты, Галя, Галя, молодая». Ах, Маленькая, слишком мало настоящих простых и крупных людей мы видели. Смерть в такую ночь. Я очень хочу жить. Жить для того, чтобы видеть тебя моей, жить для того, чтобы понять, что я пережил это время войны, понять, что я видел. Ведь для того, чтобы увидеть картину художника, нужно отойти от нее на некоторое расстояние, иначе мешают мелочи, мазки, отвлекающие от общего впечатления. Так и на войне. Только тогда я увижу всю эту грандиозность, когда буду иметь возможность вспомнить о ней в мирных условиях. А сейчас видны лишь эпизоды, детали, закрывающие общую картину. Слишком близко я наблюдаю, изнутри. Жить я хочу, наконец, потому что только теперь я познал цену жизни, познал цену мирной жизни. Но если не судьба, это только в такую ночь смотришь в далекое небо.

Очень тихо было, когда не стало Самодюка. Еще тишины такой я хочу — если не судьба. Ты

скажешь — глупец. И противная мечта, верно, жить и жить. Но судьба, каналья, правит этими делами. Покамест мы с ней в ладах, надеюсь не испортить взаимоотношения. Я не снимаю своей обширной шинели (пятый рост), потный, в грязных сапогах, в общем, как есть, не умывшись, посмотрю в ту сторону, где ты. И так, не отрывая глаз, пойду тяжелыми шагами по прямой, чтобы короче путь, чтобы скорее ты! Вот о чем мечтаю я в эту тихую лунную ночь на крутом донском берегу в блиндажике, без гимнастерки, до того теплая ночь. Эх, Самодюк! Твой Зямка.

7 октября 1942

Родимая, любимая, никак неповторимая! Представь себе такую картину. Я сижу в доме (!). На столе стоит лампа (!!). У меня чистые руки (?!?!). Не хватает самовара, того, другого... много чего не хватает... Сейчас полночь, тишина. Ну, прямо будто и войны никакой нет. А зашел я к пекарям в деревню, всего каких-нибудь 2 километра от фронта. Накипятили мне чугуна воды, вышел я во двор и... чувствовал себя гораздо блаженнее, чем в Сандуновских банях. Только очень холодно одеваться.

18 января 1943

Э-гей, дорогая! Ну-с, вот и минута. Веришь ли, вот уже около 10 дней, как буквально ее, этой минуты, не было. Началась изящная жизнь. Мы

за несколько дней продвинулись на запад на 40 километров. Магьяр бежит некрасиво. Бог ты мой, до чего ж сопливые!!! Но должен сообщить: 1) вступил в кандидаты в члены ВКПб, 2) на левой стороне груди красиво покоится медаль за отвагу. Во какие дела. 3) Погоди, повоюю еще, и орден будет. 4) Жив-здоров.

Бумага и конверт мажарские. Чуешь? Даем им прикурить, дышим им в пузо! 5)6)7)8)9) и т. д. Целую, твой Зямка.

29 января 1943

Моя дорогая! Не дивись, что редко пишу: время — кипиток! Двигаем на запад, пленные тучами. Трофеев до черта, освободили уйму населенных пунктов. Население встречает здорово. У меня аккордеон почище эманского. Жру шоколад, аж зубы ноют. Нога заживает туго... Ничего, я пешком не хожу. Пиши. Сегодня получил 10 писем. Целую, Зямка.

18 марта 1943

Деточка, сколько ни таи, а сказать надо. Уверенность, что со мной ничего не может случиться, ан случилось. Случилось это 12.2 под Харьковом. Саданул меня враг из танка снарядом, и осколок врезался в кость левого бедра, повыше колена. И натворил там дел скверных. Сейчас собираюсь в тыл. Мучаюсь нечеловечески, что будет с ногой, сейчас сказать трудно. Мне, во всяком случае,

сейчас дают 36 лет. Но это пустяки. Попасть бы скорей в нормальные условия. Лечиться мне еще месяца 4–5... Но, родная моя, не отчаивайся — все обойдется. Желай мне здоровья и воли. Устал я зверски. Сейчас пока адреса у меня нет, в дороге. Жди вестей.

3 апреля 1943, Уфа

Жена моя, радость! Очень хочу увидеть тебя и очень боюсь показываться тебе на глаза. О! Ничего похожего на того толстого румяного благодушного декабрьского гвардии лейтенанта в красивой кожаной куртке нет. Теперь я мощи, закованные в гипс. Гипс — суровая вещь. Никаких движений, ни ногой, ни туловищем, только голова и рука на свободе. Но как ни мучительна эта новая неволя, я, как ни странно, оказался терпеливее и даже выдержанней многих моих друзей по несчастью. Знаешь, я не умею стонать, а все кругом стонут, и им от этого вроде легче. Не знаю, во всяком случае, слушать «охи» и «ахи» довольно противно. (...) Впрочем, что это я разговорился о своих хворобах. У Чехова есть такая запись: человек любит говорить о своих болезнях, а это самое неинтересное в его жизни. Прав товарищ. Ну, больше не буду. Май прошел довольно тепло и вместе с тем довольно тоскливо. Вспоминались прежние маи. Сейчас Софроницкий играет на фортепьяно в Большом зале Консерватории. Может быть, и ты там...

Вторая жена — окончательная

С моей супругой Таней Правдиной мы познакомились в самолете, когда летели в командировку в Египет. Когда сели в Каире — день был очень ясный, и я вдруг вижу: прямо на летном поле нас встречает мой приятель Валита Тамали, он там работал в посольстве. И тут вдруг Таня говорит: «Вон мой друг». — «Кто?» — «Да вон, Валита Тамали». — «Это мой друг», — возражаю я. Тут мы чуть было не поссорились, выясняя, чей это друг, но на наши дальнейшие отношения это не повлияло.

Помню, когда мы с Таней уже собирались пожениться, ее родители — а она из старинной, известной в Москве семьи — очень забеспокоились и спросили одного нашего общего знакомого, известного тогда писателя, что за человек Гердт. И тот ответил — мол, очень хороший человек, все в порядке, только один недостаток: очень любит жениться. Ну, я, как сказал классик, не обиделся, но затаил в душе некоторое хамство. И вот года два спустя мы встретились в какой-то компании, за столом сидело человек тридцать, и я ему при всем честном народе говорю: «Помнишь, Боря, когда тебя Танина мама спросила обо мне и ты ей ответил, что я очень люблю жениться? Так вот, разница между нами в том, что каждый раз, когда ты лихорадочно натягиваешь штаны и бежишь домой к своей Арише, я остаюсь навсегда!» Вот в чем разница.

Женщины

В народе говорят: человек выиграл судьбу по трамвайному билету, знаете? Конечно, Таня — человек особый, человек совершенно самоотверженный. И отношение к дружбе у нее ничуть не ниже, чем отношение к любви, если не выше. Именно Таня открыла дивный закон, что дружба величественней любви. Это ведь действительно огромное откровение. В очень большой степени она меня воспитала. Есть вещи, которые я раньше делал совершенно запросто. Сейчас это невозможно.

Образ жизни

(приметы уходящего времени)

Приметы уходящего времени... Их очень много. Ведь то, в чем мы жили, явление по-своему замечательное, уникальное в истории человечества. Богатые западные бездельники платят огромные деньги, чтобы туристами побывать где-нибудь в джунглях или на островах с уникальной, нигде больше не встречающейся природой. А нам повезло: мы с рождения, бесплатно оказались в таком заповеднике — заповеднике абсурда, где все поставлено с ног на голову. Правда, жизнь в нем требует определенных навыков.

Когда я учился в ФЗУ, еще не наступил тридцать седьмой. Но его уже предчувствовали. Народ страшно боялся. Были драконовские законы. Опоздал на двадцать минут — представь справку из больницы или что-нибудь не менее весомое. Ина-

Образ жизни (приметы уходящего времени)

че — увольнение, а то и кое-что пострашнее. У меня так пострадала подруга. Работала библиотекарем, опоздала на двадцать пять минут. И закрутилась-завертелась машина — четыре года моталась по лагерям.

Но люди работали с энтузиазмом. И душевный настрой был. Верили, что стреляют, сажают — это ошибки или Сталин не знает. А в целом жизнь у нас прекрасная, строим социализм. Когда вышел фильм «Веселые ребята», было чувство, что мы именно так и живем: курорты, пальмы, виллы, песни. На самом деле все было вранье. Лебедев-Кумач не написал ни одной правдивой строчки. Но он так чувствовал. И все мы так чувствовали. А прекрасная музыка Дунаевского рассеивала последние сомнения — замечательно живем!

Свободное время мы тоже проводили с энтузиазмом. Тогда мы не знали никаких апатий, депрессий, умели радоваться жизни. Сталину нравился Чаплин. И повсюду шли фильмы с Чаплином. Я, например, смотрел «Огни большого города» раз сорок. Обожали западные танцы. Под патефон могли танцевать до утра. В нынешнем кинотеатре «Ударник» был потрясающий танцевальный зал. Румба была моим коронным танцем. Я брал призы, считался одним из лучших танцоров! Но в основном, конечно, был погружен в театр...

Я рос в очень простой семье, но видел в кино, как едят, как сидят за столом, как держатся, как одеваются. И появилось желание так же есть, так же

держат вилку и нож... Это очень неудобно поначалу. Очень неудобно есть цыпленка табака ножом и вилкой. Очень трудно. Но можно себя заставить. И сейчас меня уже нельзя заставить руками есть курицу. Взять ее за косточку — ни за что! Можно научиться не выходить из дому не искупавшись. Если нет горячей воды, надо ее согреть. Но без душа начать день нельзя.

Я очень редкий советский человек, который очень хорошо жил в брежневское время. Я совершенно не тосковал и не мучился — а с 1979 года выписывал журнал «Корея». Это нечто! Там были такие фотографии: утро, улица, длинная-предлинная, ни машин, ни велосипедов, и 20 человек с газетами — жители Пхеньяна читают новое великое слово дорогого вождя и учителя Ким Ир Сена. Все улыбаются, так трогательно, так искренне... Еще фото: великий вождь Ким Ир Сен и великий руководитель Ким Чен Ир принимают делегацию коммунистов Дании. И никаких больше фамилий: раз есть первые две — больше фамилий быть не должно, ни-ни. А на последней странице — черно-белые фотографии об ужасающей участи южнокорейских братьев. Я читал этот журнал от корки до корки, все статьи, выходные издательские данные, все! И меня на месяц хватало. Я выходил на улицу любимой Москвы с гордо поднятой головой, как гражданин свободного демократического общества имени Брежнева. Это была потрясающая уловка, такая сравнительная терапия, помогавшая

Образ жизни (приметы уходящего времени)

жить в заповеднике. И когда надо было идти к кому-то на день рождения, я брал в подарок один из номеров моего любимого журнала.

Очень советское понятие — блат. Достать по бла-ту, по знакомству, «с черного хода». Иностранец никогда не поймет, что это такое. А мне в этом смысле повезло — мелькал на экране, на радио выступал. В общем, узнавали, делали какие-то по-блажки, и я этим пользовался, потому что иначе жить было нельзя. Вот только сахар по талонам выкупить не мог.

В связи с «узнаванием» была такая смешная история. Обедаю я как-то дома, телефонный звонок: «Алло, Зиновий Ефимович? Вас из пятидесятого беспокоят». Думаю: какого пятидесятого? Отделение милиции у нас другое, почта 311-я. Голос: «Из пятидесятого «Мясо», на улице Кирова. Вы были вчера в магазине «Инструменты?»» — «Да, сверла покупал». — «А к нам не зашли. Обижаете! Вам что, телятина не нужна? Вырезка?» — «Нет-нет, — говорю, — даже очень». — «Так заходите, о чем речь. И не думайте, что нам что-то от вас нужно. Хотите, я вам билеты в ваш театр достану? Четыре штуки?» Мы с женой очень смеялись потом. Я лично два билета в свой театр еще мог бы устроить. Но четыре... вряд ли. Неловко просить.

Хотя помню один потрясающий случай. На нашей улице Строителей был магазин, где продавали водку. И стояли бешеные многотысячные толпы.

Шла «борьба с алкоголизмом». И стояли такие, знаете, народные мстители, ветераны, которые наблюдали очередь. Не дай бог кто без очереди! А книжечку инвалида показать — об этом речи быть не могло. А за углом водочного магазина — отделение милиции. И я (на что надеюсь, сам не понимаю), иду в это отделение. Там дежурная часть, какие-то бомжи, пьяные, какие-то падшие женщины...

Дежурный милиционер сидит, качается в кресле. «Товарищ Гердт, какие проблемы?» Я говорю: «Видите ли, у меня к вам не совсем обычная просьба». Тот понял с полуслова: «Сереза, сходи с Зиновием Ефимовичем в магазин, пожалуйста». Шикарно! Он даже не выслушал мою не совсем обычную просьбу.

Сегодня мало что изменилось. Чувствую себя сейчас вполне экономически независимым. Угнетает, что рядом много бедных и страждущих. Вот слушаю господина Чубайса, соловьем поет — с шахтерами удалось договориться, долги выплатят, забастовка предотвращена. И думаю: если уж вы, господин хороший, в такую ситуацию попали, отказались бы хоть раз от высокого жалованья. Этично ли есть «с серебра», когда люди голодают?

На днях показали Воркуту. Больной ребенок, родовая травма. Сделали операцию. Это такое напряжение — и душевное, и финансовое — для семьи, друзей. А нужна новая операция. Я не

успел записать номер счета, куда нужно направить деньги. Полчаса дозванивался до передачи. Дозвонился, дали редакторшу. Та защебетала: «Зиновий Ефимович, Зиновий Ефимович! Извините, номер счета у меня дома, оставьте ваш номер телефона, я обязательно позвоню». Так и не позвонила! Откуда такая черствость? Недавно прихожу домой, а на лестнице ждет незнакомец. Удрученный такой. Оказалось, шахтер, приехал на прием в онкологический центр, а его не принимают. Поехали вместе. Приняли.

Да, мне до всего есть дело, всех жалко. Я же гражданин этой страны и другого гражданства для себя не мыслю. Как-то я написал в анкете: «Выезжал за границу 79 раз, возвращался 84». Она до сих пор лежит в отделе кадров одного весьма солидного учреждения. Вижу беженцев — закутаных детей, измотанных женщин, беспомощных, растерянных мужчин — больно до слез.

Я опять-таки обращаюсь к собственному банку памяти и понимаю, что живем плохо, скудно, но не хуже, чем в предыдущие периоды нашей истории. Мне есть с чем сравнивать. Помню вожделенные сны своего детства: нашел буханку хлеба и несую домой. Позже, правда, на прилавках появилась икра. Но кто ее покупал? Для меня это было невыносимо дорого — четыре пятьдесят кило!

К нищете нам не привыкать. А вот нравственное, душевное наше состояние нормализовать гораздо сложнее.

Мне нужно общаться с единомышленниками, и ничего слаще этого для меня нет. Правда, постулат «в споре рождается истина» часто несостоятелен в современной жизни. Видимо, было когда-то такое идеальное интеллигентное общество, в котором этот постулат был правомочен. В кругу нынешней творческой интеллигенции он совершенно не работает: никто не хочет убеждаться, все хотят только убеждать. И если мы делаем вид, что слушаем оппонента, то на самом деле в это время только копим аргументы для новых нападок.

И все же у меня остается надежда на «второе пришествие» интеллигентности. В нашем народе, в самых разных его слоях, сохранились люди с очень сильным человеческим стержнем. Они могут не заниматься умственным трудом, не верить, их всю жизнь окружала ложь, однако они не способны на подлость, на вранье. И жена его будет пилить, и соседи посмеиваться, а он — дурак, донкихот, и иным быть не может. И окружающих это ранит: значит, не все одинаковые, значит, он не такой, как мы. Ведь с внешней атрибутикой гораздо проще. Манеры даже в актерских вузах преподают.

В «Шуке», помню, была такая старушка-аристократка, обломок дворянства. Когда говорила, она «грассировала»: «Не вздумайте, будто куррицу можно есть рруками. Ножом и вилочкой извольте». А пролетарский мальчик ее спросил: «Ну а как же хрящики, самое вкусенькое?» Она

подняла глаза и спокойно отвечала: «Перреживете». Очаровательно, правда? Но интеллигентность — это же не только умение прилично себя вести. Это даже не просто нравственный кодекс. Прежде всего это широкий взгляд на мир. Мы должны прививать себе и своим детям планетарное мышление.

Однажды в одну московскую семью приехала погостить английская школьница. Заметила незавернутый кран, сказала хозяйке. Та смеется: «Не волнуйся, Салли, у нас вода дешевая». — «Я не о том, — отвечает девочка. — А где-то в Нигерии сейчас совсем нет воды...» Боюсь, женщина ничего не поняла. Мы слишком долго существовали отдельно от всей цивилизации.

Комфортнее, интереснее всего жить, думаю, в нынешнее время. Единственное, что, так сказать, томит и огорчает, — поздноватое оно наступило. Я думаю, что если бы как-то укротить бандитов, то есть людей, которые понимают, что можно наворовать и жить дальше... Они ведь не понимают, что они теперь — наша новая буржуазия, наш главный класс. Им надо насладиться властью — а значит, девочек надо купить, красивых, длинноногих. Оказывается, можно просто купить! А вы представляете себе интеллигентного человека с купленной женщиной?! Представьте себе, что он знает, что заплатил за это? Так у него же ни фиги не получится, в жизни не получится ничего! Это надо быть питекантропом, надо быть с таким вот лбом

и накачанными мышцами, чтобы взять и купить женщину... для любви. Это ведь тоже называется «давай заниматься любовью»?! Черт-те что!

Была прекрасная пьеса в театре Сатиры какого-то осетинского автора — «Четыре жениха» называлась, а переводил ее замечательный драматург Василий Шкваркин. И там Папанов ходил — старый такой аксакал (или саксаул) и говорил постоянно: «В прежнее время, в прежнее время...» И в третьем акте его спросили: «Дед, что ты все про прежнее время? А новое время тебе не нравится?» — «Нет, почему, новое время мне очень нравится, и ни на какое другое, кроме прежнего, я бы его не сменял».

Врать уже нету времени. Я должен быть все время в чистом — чистым, понимаете? Есть возраст, есть проблемы возраста, все время надо ходить в больницы, кого-то навещать, кого-то устраивать... Конечно, это надо делать, отложить это невозможно — но как прекрасно быть молодым и поменьше этим заниматься! Все остальное меня устраивает, даже возраст. Мне очень интересно жить. И еще я не люблю жаловаться. Стыдно жаловаться!

Кстати, по своей воле, своей силой я бросил курить — до этого шестьдесят лет курил! Правда, бросил, потому что больше уже было нельзя.

У нас всех общий путь — из перерожденных стать рожденными. Конечно, то, что сегодня я могу совершенно свободно разговаривать и давать ин-

тервью, — это невысказанный скачок. Не перестаю удивляться, слыша с экрана вещи, за один намек на которые люди совсем недавно обрекались на двадцать пять лет Колымы. Я всякий раз непроизвольно думаю: «Господи, какие они смелые! Как же их не пугает, что все еще может повернуться вспять, а слова уже вылетели, зафиксированы на бумаге...» Просто груз страха у них намного меньше моего. А груз, накопленный мною, ровесником самого государства, так весом, что подчас сковывает и язык, и мысль. Хотя, разумеется, есть круг друзей, с которыми я всегда был прям и искренен.

Главное, начинаешь понимать, что процесс истории — это живой процесс. Слова и деяния многолетней давности, благодаря рассекречиванию архивов, в конце концов становятся всеобщим достоянием. Так было, так будет всегда. Поэтому не занимайтесь же мракобесием, ныне живущие! Вот, например, у нас с Александром Трифоновичем Твардовским был общий знакомый, всю жизнь проповедовавший косные, реакционные, неразумные взгляды. То есть по тем временам, конечно, разумные. И вдруг, миновав шестидесятилетний рубеж, он засуетился, стал делать, делать, делать добро, часто анонимно. Я сказал: «Смотрите, Александр Трифонович, как переменился NN». Он ответил: «Потому что умный. Потому что болен. Потому что знает — умирать надо в чистом белье».

Мы торопимся оставить после себя осязаемую память: переписать на детей дачу, автомобиль...

Ерунда! Единственное, о чем я мечтаю, — это чтобы однажды кто-нибудь спросил у моего внука: «Слушай, а тот Гердт, хромой артист, тебе случайно не родственник?» — «Дед. А что?» — «Вчера в одном доме говорили, что он был порядочным человеком». Впрочем, я заношусь. Ничего я не сделал особенного, чтобы заслужить такую реплику...

Я много путешествую, и порой это надоедает. А иногда думаешь: как замечательно, что есть современные средства перемещения моего тела из точки «А» в точку «Б» за считанные часы. Помню, летел я впервые через океан в 1963 году, из Лондона в Нью-Йорк, и вдруг почувствовал себя какой-то букашкой, ползущей по глобусу. Причем очень медленной букашкой — однако она все-таки передвигается, все-таки форсирует этот участок синего цвета, изображающий водную гладь. Удивительное чувство: с одной стороны, движение не с чем особенно сравнивать, потому что ни мимо чего летишь, но с другой — умом все-таки понимаешь, что движешься вперед на огромной высоте, и глотаешь эти тысячи километров. Помню, когда только появился самолет Ил-14 — он был какой-то очень быстрый, вроде нынешних «Боинга» или «Конкорда» (нет, конечно, не «Конкорд», но все-таки что-то почти реактивное), — я был одним из первых, кто летал на этом самолете. Тогда это было, как сейчас говорят, престижно — запросто этак где-нибудь в обществе обронить: «А я на Ил-14 летал!»

У меня был друг, очень смешной писатель Володя Поляков, так он, когда все уже стали ездить за границу — в Будапешт, в Прагу, вдруг взял да и поехал в какую-то туристскую поездку в Египет. Когда он вернулся, я его спросил: «Володя, Египет-то тебе зачем сдался? Это же такая даль!» Он говорит: «А представляешь, звонят ко мне домой, а Ира отвечает — мол, его нет. А где он? Он в Африке. Представляешь, какое чувство — «он в Африке»? Нет, летать замечательно, что говорить. Я люблю летать. Помните, была такая песенка: «Люблю встречать начало дня в режиме реактивного полета, где стюардессочка приветствует меня от имени всего Аэрофлота». Это очень приятно — видеть рассвет в самолете.

Большую часть времени я сижу на даче и жду друзей. Все время жду друзей. Чтобы кто-нибудь приехал — выпить, закусить, походить по просторам, по аллеям, там жутко красиво и хорошо. Я обожаю ничего не делать, разговаривать с друзьями, болтать просто так, узнавать светские новости. Как сюжет какой-то пьесы, которую еще не предложили в кино или на телевидение.

Но все время приходится кому-то что-то обещать, а потом срываться и ехать в Москву. Все еще не могу отказать близким знакомым. Надо учиться. Зато уже научился отказываться, когда сулят большие гонорары. «Вот если вы сделаете то-то, вам заплатят столько-то зеленых долларов». Баксов. Бешеная, бешеная какая-то сумма! Все уже

миллионеры! А ты берешь и — «Нет, мне это не нужно». Слава богу, у меня нет долгов. Всю жизнь, при всей моей занятости — а я ведь всю жизнь был востребован и зарабатывал, видимо, много — и все равно говорил про себя, что я, видимо, самый непосредственный артист в Москве. Потому что всю жизнь жил не по средствам. Помню, дочка Катя была еще маленькая, и пришла к нам наниматься нянька, а у меня тут сидела Рина Зеленая. Значит, мы оговариваем с нянькой условия, что и кухарить надо, и еще то-то, и вдруг Рина говорит: «И учтите — очень много гостей!»

Россия

Отвращения Россия у меня вызывать не может. Это моя радость, мое счастье. Она может вызывать только боль. Ничего нельзя поделаться — такая переломная пора. Но одно обстоятельство многие, скажем, ампиловцы или жириновцы, забыли: как они целую жизнь стояли в очередях. Ну что может быть унижительнее очереди? Я помню свою последнюю очередь в городе Кирове зимой, в аэропорту. Самолеты не летают, масса народу — яблоку некуда упасть. А я по нужде стоял в очереди к уборной... Вот это было унижительно. И когда люди стояли за водкой, я тоже стоял в очередях. Люди возмущались: «Зиновий Ефимович, ну идите без очереди». — «Нет, — говорю, — это не хлеб, а водка. Постояю». И даже такая Россия у меня чувство отвращения не вызывает. Люди вызывают. Даже не отвращение, а брезгливость.

Уже с годами становишься терпимее, начинаешь прощать, хотя этого делать нельзя. Среди новых богачей есть как раз такие люди — они ведут себя так некрасиво, так буржуазно... Вот меня как-то подрезал на дороге человек на «Мерседесе». Я подъехал к светофору, поравнялся с его машиной. Парень посмотрел на меня и схватился за голову: «Боже мой, кого это я так обидел?!» Я ему говорю: «Учитесь быть капиталистом, перестаньте вести себя, как урка».

Видимо, нормальная человеческая жизнь, сложившаяся с детства в любви и гармонии, не нуждается в горе, хотя мы, живя в этой стране, понимаем, что без страдания человек не может сложиться как личность.

Однажды мы с Татьяной Александровной, моей женой, в одно прекрасное воскресное утро сидели в скверике в Цюрихе, а мимо шли улыбающиеся пожилые люди — совершенно счастливые. И вдруг Таня меня спрашивает: «А ты бы хотел жить здесь? Нет, не переместиться сюда, а родиться здесь?» — «Да не приведи господи! — воскликнул я. — Они же не знают страданий!»

Теперь у меня есть все. Но мне слишком много лет — все пришло поздно. Наша с Таней дача на Пахре была отростком от соседнего дома, который принадлежал покойному Константину Симонову. Это были три маленькие комнатки, которые мы купили у вдовы его строителя. А по-

том, когда я уже заработал денег, мы построили новые комнаты. Помню, я что-то привез из Японии — какую-то дорогостоящую аппаратуру. Мы продали ее и возвели дачу. Дом рядом выстроила моя дочь (она режиссер-кинодокументалист). Мы живем очень хорошо. У каждого из нас есть автомобиль, есть и в Москве хорошая, просторная квартира.

Я понимаю публику — она состоит из разных людей. Когда отпевали мальчиков, погибших при штурме Белого дома, и заиграли еврейскую мелодию, кто-то в толпе сказал: «Ну, это уж слишком». И ведь неплохой, видимо, человек. Но где-то внутри в нем сидит эдакое покровительственное отношение к малым народам. Когда Аскольдов сочинял сценарий «Комиссара», мы жили в одном доме — так он два месяца ежедневно приходил ко мне и уговаривал сыграть в его фильме. Я и тогда сказал: «Не надо! Пусть это играет православный артист». И сыграл Ролан Быков, он только наполовину не православный. Понимаете, приходится учитывать и эти тонкости — слишком накалена обстановка.

Вот я человек межнациональный. Часто можно услышать: «Я — человек русской культуры!» Но дело даже не в культуре. Здесь нечто большее. Если любимые книжки — русские словари, любимое занятие — изучение этимологии русского языка, великая любовь — родная речь. Когда выступают все эти министры и парламентарии, я смотрю, кто

как говорит. Язов хорошо говорит по-русски, и он мне уже не кажется таким уж дурным человеком. У нас с Образцовым всю жизнь шли самые ярые споры по поводу произношения русских слов. Конечно, он говорит прекрасно, как истинный москвич, но иногда по мелочам ошибался. А я всегда был прав.

Чего бы я пожелал себе, всем нам, прожившим жизнь в «заповеднике» и начинающим ее в... даже не знаю, как сейчас назвать нашу страну. Посмотрим. Знаете, у меня есть друг, потрясающий грузинский драматург Резо Габриадзе. Прекрасные миниатюры с дорожными рабочими — помните? — это все по его сценариям. Он такой же талантливый, как Норштейн. Резо в дни путча был в Москве и потом сказал такую фразу: «Я не узнал москвичей. Они все ходили на иностранцев». Горько, наверное, когда тебя, желая похвалить, сравнивают с иностранцем. Но Резо можно понять: он увидел в лицах людей зарождающееся чувство собственного достоинства. То, чего все мы — и рабочие, и знаменитые артисты, и... все! — были лишены долгие годы. И если мы сохраним это чувство, то не позволим больше никому загнать себя в «заповедник».

Всякий оптимизм глуповат, но я думаю, что мы будем жить, как люди. В моей жизни было три победы: в мае 1945 года, победа на выборах Ельцина и третья — в августе 1991 года. Я верю,

что мы будем жить лучше. Но я до этого вряд ли доживу.

Я не доживу до тех времен, когда наши люди будут расположены друг к другу, когда будет не страшно выйти ночью с собакой, выпустить ребенка на улицу одного. Но я верю в то, что мой внук, дети моих близких будут жить среди людей, уважающих их уже за то, что они тоже люди. Пусть на наших улицах не будет американских улыбок — это неестественно и притворно, но, быть может, в нашу страну наконец-то придет желание удружить ближнему?

Я до конца так и не понимаю слово «национальность». И вообще, если человек слишком углубляется в национальный вопрос, недолго путь к национализму. Помню, не раз говорил мне покойный Дезик (Давид Самойлов. — *Ред.*): «Национализм возникает у людей, потерявших не только уверенность в себе, но и уважение к себе. Национализм не только не синоним слову патриотизм, но скорее антоним». Я по-настоящему люблю Россию, и любовь моя — это прекрасная и, как сказано у поэта, «высокая болезнь». Я побывал во многих странах, это были интересные и замечательные путешествия, встречи. Из последних мне больше всего запомнилась поездка в Израиль. Наверное, потому, что сыграл там в Тель-Авиве на сцене театра «Гешер» бабелевского Илью Исааковича. А может быть, еще и потому, что гидом моим был неподражаемый Гарик Губер-

Гердт о себе

ман. И, наверное, более всего поездка в Израиль запомнилась встречами со старыми друзьями. Поверьте, расставаясь с ними в конце шестидесятых — начале семидесятых, я и не верил в возможность новых встреч. Но даже в Израиле, этой удивительной стране, я скучал по России. Это необъяснимо и, пожалуй, даже интимно.

Семья

Моя семья — это жена Таня, дочка жены Катя, которую я воспитываю с двухлетнего возраста, сын Кати — мой внук Боря. Мы живем рядом, на одной площадке, внук практически обитает у нас. Ну и папа Бори — режиссер Валерий Фокин.

Все мы очень откровенны друг с другом — это было заложено родителями Тани, необыкновенной мамой. В нашей семье царит тот уровень откровенности, когда исчезает боязнь выглядеть идиотом. Я очень часто бываю дураком в собственном доме и иду на это сознательно — зная, что меня поймут.

У нас дома, когда живы были еще родители, существовала установка: хочешь дать совет — положи пять рублей. Люди ведь жаждут советов. Поэтому с удовольствием выкладывались пятерки. И потом они дружно пропивались за семейным столом.

Семья — это опора. Вера, что тебя не предадут. А это редчайшее счастье. Скажем, я ловлю себя на том, что в последние годы даже на два дня выехать куда-то без Тани не могу.

Дети — все дурные. Во все времена. Все — эгоистичны. И это надо пережить. А потом они начинают добреть, но это процесс очень длительный. Мой шестилетний внук говорит отцу: «Папа, хоть бы ты нас оставил или умер». Представляете ужас домашних? «Что ты такое говоришь?!» — «А что такого? Папа у нас аллергик, из-за него мы не можем взять собаку». — «Опомнись, как можно сравнивать: папа и собака!» — «Конечно, нельзя. Собака лучше». Но пройдет время, и он поймет, что все-таки лучше папа. Лучше, чем собака, чем многие друзья, единомышленники, — папа лучше.

Я считаю, что с детьми не надо много разговаривать. Они живут в большей степени глазами, чем ушами. Воспитывать можно только наглядно, собственным примером. То есть в первую очередь самому быть воспитанным. Кстати, в Японии термин «воспитание» отсутствует. Когда мы там гастролировали, во время одного из спектаклей на сцену вдруг выползла девочка лет двух — двух с половиной. У нас бы мгновенно — смех, крики, а тут никто даже не среагировал. До определенного возраста ребенок растет свободно, а потом сам начинает приглядываться, соответствует ли его поведение общепринятым нормам. И сам себя кор-

ректирует. Нация формирует поколение. У нас все наоборот. Каждый считает своим долгом поучать, сам ничему толком не научившись.

Я помню себя с трех лет. Все мое детство состояло из сплошных запретов. Нельзя, нельзя, нельзя... Я стараюсь облегчить жизнь своему внуку, подарить ему больше радости. Лучшая педагогика — педагогика разрешения: можно, можно, можно! Не сковывать проявления детской воли, не угрожать наказанием. Единственно, если поступил не по правде, не по справедливости, — тогда просто гнать в шею! Когда внук возвращается домой расстроенный (получил тройку), я говорю ему: «Плюнь! Ты все поймешь и еще сто раз исправишь. Иди гуляй, играй в футбол, отправляйся в кино, только не маячь с кислой миной. Мне не нужны твои пятерки, я хочу видеть тебя порядочным человеком». До меня косвенным образом доходят слухи, как он вел себя в том или ином случае, и я удовлетворен.

Раньше был очень популярен избитый лозунг: «Дети — наше будущее!» А я его переделал на свой лад: «Дети — наше прошлое». Ну какое у меня будущее? Я буду лежать в могиле. Зато в моем прошлом есть масса такого, чего я не пожелал бы своему внуку и от чего в меру сил постараюсь его избавить.

Присутствие в доме ребенка очень меня приструнивает. Не в смысле «цирлих-манирлих», какого-то слова не произнести, выразиться поаккуратней. Ему двенадцать лет, и я его даже при желании ничему новому не научу. Он все эти слова

знает лучше меня. Но я строже смотрю на себя со стороны: нет ли противоречия между моими словами и делами? Мне кажется, у меня получилось бы работать, например, в детском доме. Вырастить нескольких честных людей — это уже очень много.

Иной раз читаешь книгу о воспитании детей и спотыкаешься о какое-нибудь неудобоваримое сочетание типа «пубертатный криз». И ловишь себя на мысли, что эта усложненность, право же, не нужна. Писатель Василий Белов остроумно заметил по поводу неуместного наукообразия, правда, не в педагогике, а в медицине: «Такой пижон в белом халате даже обычную повышенную потливость называет гипергидрозом. Больной, услышав это звучно-таинственное слово, потеет еще больше».

Для того чтобы хорошо писать о детях и их воспитании, необходим большой талант. Есть у Джанни Родари замечательная книга «Грамматика фантазии». Приведу оттуда одно любопытное высказывание: «Как мало в школах смеются! Одно из самых закоренелых и трудно преодолимых представлений о педагогическом процессе заключается как раз в убеждении, что процесс этот должен протекать угрюмо». Вообще же то, что мы называем чувством юмора, у детей в десять раз тоньше. Они умеют отличить смешное от малосмешного.

Самое ценное качество для педагога — это воображение. Добрый человек (а педагог не может

быть иным) обладает воображением и понимает, каково другому. Умеет чувствовать то, что чувствует другой. Человек, обладающий воображением, вспомнив себя в детстве и отрочестве, очень многое может понять и простить. Запомнился эпиграф к хорошей книге: «Посвящается всем детям — детям по возрасту и детям по душе». Дети, как правило, награждены богатейшим воображением — это видно по их рисункам и играм. К сожалению, с годами это качество у многих людей пропадает. Самое главное, на мой взгляд, не потерять непосредственность восприятия. Есть люди, которые не умеют радоваться жизни — вовсе не потому, что они пессимисты; — просто у них не хватает воображения.

Москва

Почему в нашем городе столько заводов, фабрик, вечно дымящих и отравляющих воздух? Почему около девяти миллионов населения? Понимаю, был период, когда руководители разных предприятий заманивали в столицу людей со всех концов страны, чтобы те помогли им выполнять план. Сейчас эта практика вроде бы прекращена. Но дело, что называется, уже сделано.

Недавно писали, что в Чехословакии жителей маленьких городков не заманишь в Прагу. Зачем? У них там и воздух чище, и автомобилей поменьше. Хочу еще сказать, что мало в Москве осталось публики добrorасположенной, что ли. А настоящих интеллигентов-горожан я вижу в основном на гастролях в других городах. Где дух Москвы? Сейчас читаю Рыбакова, вспоминаю те времена. Конечно, много было и хорошего, и плохого, но

Москва

хотя бы на Арбате был жив тот дух. А сейчас всех его коренных жителей переселяют в новые благоустроенные... коробки.

В ресторане ЦДЛ бьется пульс пьяной поэтической жизни. Один мой друг-поэт, ныне покойный, как-то сказал: «Кормит — проза, поэзия — поит». Там в основном сидят пьющие поэты. Я же в этом ресторане давно не был — с тех пор как умерли мои близкие друзья. Да и с ними я пил обычно дома.

Политика

Я с удивлением обнаружил, что политизирован гораздо больше, чем все мое окружение. Слушаю новости, с азартом смотрю программу «Время». Становлюсь «пикейным жилетом». Никогда раньше не замечал за собой таких склонностей. Последние пять лет нас всех здорово перекроили. Как-то раз у нас гостила знакомая гречанка, часто бывавшая в Москве. Вдруг заявляет, что ей необходимо срочно вернуться домой: там назначены выборы. «Да ты с ума сошла! Без тебя, что ли, не выберут?» — удивились мы. «Вам этого не понять», — и улетела.

Прошло не так уж много времени. Надо было отдать голос за Бракова или за Ельцина. А у нас с Татьяной Александровной билет на поезд на субботу. Мы плюем на поезд, плюем на купе, в восемь утра в воскресенье отправляемся в избирательный

участок, голосуем и прямо оттуда мчимся в аэропорт.

Это новое качество, в которое я влип, для меня чрезвычайно неожиданно. Вся моя жизнь прошла в атмосфере тотальной лжи. И оказалось, что я очень пристрастно, даже страстно отношусь к правде. Говорят, перед смертью не надышишься. Но я стараюсь...

У меня никогда не было животного цепляния за жизнь, желания продлить ее во что бы то ни стало. Только беспокойство: «А как они будут без меня?» Вариации шестьдесят шестого сонета. Ведь от меня зависит довольно много людей. Я имею в виду душевную зависимость. А теперь еще одно крепко держит на свете: хочу досмотреть эту пьесу, эту драму хотя бы до того действия, когда уже будет предсказуем финал.

Я принимал участие в предвыборной кампании Ельцина — в какой-то момент я был в него попросту влюблен. Мне было все в нем интересно, интересно наблюдать его при каждом появлении на публике и видеть, как он матерееет как личность. Как с каждым разом он говорил все собраннее, лаконичнее, как постепенно исчезали слова-сорняки из его речи. Ну, это необыкновенный человек! А влюбился я в него опосредованно — сначала в жену. Они были на спектакле, а потом мы полчаса разговаривали в дирекции. Правда, жена Ельцина молчала, но как она на него смотрела! Я восхитился.

Я — человек в полной мере политизированный. В своих освободителях я первым числю Горбачева. Если задуматься, то даже разговаривать о первом лице государства в вольных тонах — без него сейчас было бы невозможно. Я никогда не забуду, что он сделал для меня лично, — он дал мне свободу. Еще я не забуду молодого человека, хорошо мне знакомого с его детства, который брал у Горбачева, тогдашнего президента, интервью (потом этот малый стал знаменитым редактором). В конце беседы он похлопал Михаила Сергеевича по плечу — это было очень некрасиво с его стороны, но он себе это позволил по той же самой причине.

Помню, когда Горбачев стал генсеком, на третий-четвертый день среди какой-то уличной публики он спрашивал: вам не надоело слышать одно, а видеть другое? Я подумал: «Боже мой, его посадят». Не могу этого забыть. А что касается Ельцина, то он меня восхитил, когда выходил из партии. Он был высокий, сильный мужик. Я залюбил его на всю жизнь. Казалось бы...

Но он доверял жутким советчикам. Умение выбрать советчиков — это талант, которым наш президент не обладал. Об умных людях он отзывался неважно, а заносчивого, антикультурного Грачева называл лучшим министром. Он разочаровал меня, хотя, как большинство населения, я не вижу никого другого в тот момент на его месте.

Вы знаете, я ни в одной из партий не состоял, однако соприкасался, конечно, не без того. Однажды мы с моим другом, гитаристом нашего оркестра Мартыном Кирилловичем Хазизовым были на Старой площади — перед очередной поездкой за рубеж с нами хотел побеседовать некий ответственный товарищ. Нет, вначале я вам расскажу про Мартына. Это был замечательный человек, который прекрасно знал лабушский язык. Знаете, у музыкантов, лабухов, есть свой жаргон. Именно от Мартына я узнал, например, о смерти Сталина. У Мартына был приемник, который брал «Голос Америки». Мы ехали на спектакль, встретились на остановке троллейбуса, и Мартын тихо мне говорит: «Минай залабал в сундук». Минаем лабухи звали Сталина, такая у него была кличка — Минай. А политбюро, ЦК — минайчата и минайчатник. Так и говорили: «В минайчатник идем». Это сейчас кажется смешным, а тогда произносилось с уважением, без всякой иронии. Так вот мы с Мартыном в ожидании приема прогуливаемся по длинному пустынному коридору ЦК, и гитарист этак слегка приобнял меня. Вдруг из какой-то двери выходит человек с папкой и, поравнявшись с нами, восклицает: «Товарищи, как вы ходите! Вы понимаете, ГДЕ вы находитесь?! Здесь не парк культуры!» В общем, влетаем мы с Мартыном к своему ответственному товарищу (его фамилия, кажется, была Щербаков), и он спрашивает: «Что с вами, чем вы так взволно-

ваны?» Я: «Да вот... сделал грубое замечание...»
Щербаков: «Вы что, думаете, здесь дураков нет? Здесь очень много дураков!»

А вот еще, тоже, мне кажется, о партии, хоть и не очень смешно. У нас в доме много лет назад жила нянька, пятнадцатилетняя девочка Рая. Изпод Тулы. И Райка часто рассказывала, как они жили после войны. Изба с земляным полом, мать доярка, с утра до ночи на ферме. Отца на войне убили. Голодали, ели одни драники картофельные, жаренные на свечном сале. И вот однажды маму неожиданно вызывают в Тулу. И весь день ее нет, появляется ночью, что-то держит в кулаке. Молчит, девочки на нее смотрят. И вдруг мать шваркнула оземь орден Ленина и сказала: «Сволочи, лучше бы кило муки дали!» И Райка с тех пор стала антикоммунисткой. Когда моя Катя плохо ела, она говорила: «Не будешь есть кашу, буду воспитывать в коммунистическом духе, узнаешь тогда!»

Гнусные годы — 1951-й или 1952-й — погоня за космополитами, расшифровки псевдонимов, убийство Михоэлса. Жуть, в общем. И в это время мы оказались в одном ленинградском гостиничном номере — приехавшие из Москвы Утесов, Саша Галич и я, живший в Питере целый год. Галич и Утесов прямо с поезда пришли ко мне завтракать. Мы обнялись и сразу друг другу показываем: только тихо. К губам прижимает-

ся палец, губы безмолвно шевелятся... Через три минуты мы про все, естественно, забыли. И пошли самые жуткие антисоветские анекдоты. Хохочем, валяемся по диванам. И вдруг звонит телефон. Резкий такой звонок. Боже, пропали! Саша взял трубку, и я слышу — отбой, пи-пи... Галич между тем делает вид, что внимательно слушает, вставляет: «Хорошо... хорошо». Потом кладет трубку и произносит: «Просили подождать. Меняют бобину».

А вообще к КГБ у меня очень теплое отношение. У меня был знакомый малый... в общем, из тех, которые всегда ездили с нашим театром за границу, их представляли так: «Это сотрудник Министерства культуры». А мы их между собой — не знаю, почему — называли «сорок первыми». И с одним таким малым по имени Игорь у меня сложились очень теплые отношения. Как-то в Испании я жутко напился в каком-то Обществе дружбы. Утром в номер приходит Игорь, приносит пирожок, бутылку простокваши, алкозельцер и говорит: «Госбезопасность о тебе заботится! Это я тебя вчера привел, раздел и спать уложил». В те же дни мы гуляли с ним по площади Торос в Мадриде, присели на скамейку. Игорь задумчиво говорит: «Зиновий Ефимович, я недавно взял твое досье... Знаешь, это том Маркса, это «Капитал»! Но не бойся. Я был у генерала, поручился за тебя, и он разрешил всю эту макулатуру сжечь. Сейчас в твоей

папке одни анкетные данные». Я легкомысленно так отвечаю: спасибо, конечно, но мне, мол, все равно, что мне сделают, ну за границу не пустят, так я поездил достаточно, посадить не посадят, времена не те... Игорь выслушал мою болтовню и медленно, четко произнес: «Времена ТЕ, Зиновий, времена всегда ТЕ». Я и сейчас думаю: а действительно ли кончились ТЕ времена?

Все эти разговорчики относительно того, как было прекрасно при Сталине и как необыкновенно хорошо при Брежневе, — такая чушь! Рабская чушь! Нельзя быть счастливым, понимая, что ты раб, и быть счастливым в своем рабстве. А вот сегодня я не раб. Хотя, казалось бы, я человек выделенный, работал в театре Образцова — этот театр всегда был на виду, обласкан правительством. С сорок девятого года я уже бывал в капиталистических странах — мы каждый год куда-нибудь ездили, и, несмотря на это, я был совершенный раб! Я! А уж что об остальных говорить... Одна женщина сошла с ума, когда ее не пустили в Болгарию из-за подметного письма. Если намечалась поездка за границу, так называемый «коллектив» — чудовищное образование — заваливал райкомы и министерство анонимными письмами. А если у кого-то случался инфаркт — я видел счастливые лица. Это чудовищно. Есть

такая поговорка: у соседа умерла корова — что мне сосед, что мне его корова? А все равно приятно... Это безнравственно.

Хотя даже у Образцова бывали «замечательные» происшествия. Казалось бы, детский театр, никакой политики, праздник каждый вечер. Но и там, вы знаете, случались какие-то мелкие и возможные только в нашей стране накладки. Скажем, был у нас старинный автор, замечательный человек Георгий Георгиевич Ландау. И как-то он написал по заказу кукольную пьесу «Кот и заяц». Они антиподы: заяц ведет себя разумно, добропорядочно, а кот — такой оторва, все время попадает в неприятные истории. Написав пьесу, Ландау понес ее визировать в репертком, получить разрешение на постановку. Молодой цензор внимательно прочитал пьесу и говорит: «Что ж, неплохо, но вот один эпизод... У вас тут заяц говорит: «Кот, я дам тебе хороший совет». А кот отвечает: «Не нужны мне твои советы». Ландау: «Ну да, он отвергает...» — «Да вы вслушайтесь: «Не нужны мне твои СОВЕТЫ». Тут до Ландау дошло: «А, вы имеете в виду советы габочих (он грассировал), кгестьянских и солдатских депутатов?! Молодой человек, я бы в жизни не догадался, ну как же ловко у вас мозги устроены! Спасибо большое, я обязательно переделаю это место!» Уже выходит, но у дверей останавливается: «Да, вы знаете, я сейчас ехал в

метго, и там туча антисоветских лозунгов!» — «Как, в метро? Какие?!» — «Нет выхода. Нет выхода. Выхода нет...»

Вообще с приемкой спектаклей нередко случались забавные и... унижительные, да, унижительные вещи. В брежневские времена мы выпускали «Божественную комедию». На генеральную репетицию приходят три чиновника, кажется, из министерства, один совсем молоденький, лет двадцати восьми. Спектакль молча посмотрели, посоветались, потом один из них подходит к артистам, к Образцову, показывает на Создателя (кукла такая, если помните): «Надо постричь». Он имел в виду брови. Широкие брови куклы кого-то напомнили высокой комиссии. Естественно, мы отклеили поролон, подрезали.

Я часто размышляю о социализме, который всю жизнь строил вместе с «великой партией». Понимали ли те, кто стоял у руля, что и зачем мы делали? Социализм — это когда общество заботится о самых незащищенных своих членах. А так как я очень рано вместе с театром Образцова стал выезжать в другие страны, то хорошо представлял, что же такое настоящий социализм. Я видел его в Швеции, где дома для престарелых разрешено строить только в центре городов, чтобы эти люди постоянно оставались в гуще жизни, среди молодежи.

Даже на Кубе, которая очень далека от совершенства, забота о человеке была куда весомей.

Они создали прекрасную медицину, великолепные школы. Как-то на Кубе передо мной похвастались: «Мы делаем операции по пересадке сердца!» Я сразу парировал: «Нашли чем удивить. У нас трансплантация сердца делается с 29-го года: «А вместо сердца пламенный мотор!» Грустная конечно, шутка.

Я думаю, Россию спасет частный капитал. Тем более, у нас перед глазами пример прошлого века, знаменитые меценаты — Мамонтов, Морозов, Третьяков. И потом, это же чертовски приятно — делать людям добро!

Политика — вообще вещь безнравственная, это давно доказано. Политика — вещь свирепая, которая никого не щадит. Но не забывайте, что Ельцин во время ареста Горбачева в Форосе первым делом потребовал освобождения президента — своего соперника, — импонирующий народу поступок. Нормальный политический поступок. Ленин в семнадцатом году тоже ни с кем не церемонился, а воспользовался ситуацией. Надо уметь играть. Но не поперек души. Не думаю, что Ельцин способен на подлость. Опять-таки, может быть, это мое романтическое представление об этом человеке.

Я в силу и возраста, и воспитания, и сложившихся жизненных обстоятельств — конформист. Я всю жизнь им был. Делал вид, что все прекрасно, хотя

на кухне с очень небольшим количеством друзей я был совершенно откровенным, но в 68-м году на Красную площадь не вышел. Я думал: а как будет дочка? А жена? Я не сумел поставить себя выше собственного бытия — кишка тонка. А есть люди, что пошли, — такие всегда были. Вспомните Сахарова, на которого орал на съезде. Но порядочные люди были всегда. Есть такое четверостишие, кажется, у Евтушенко:

Был Галилей не всех умнее...
О том, что вертится Земля,
Знал кто-то раньше Галилея,
Но у него была семья.

А Андрей Дмитриевич ставил это выше — это удел гениев.

Многие люди никак не могут расстаться с учением о патриотизме и со Сталиным — в их жизни иных впечатлений не было. Они ходят с этими планками, орденами и медалями. У меня тоже есть, как вы понимаете, ордена и медали. И 9 Мая я получаю письма из ветеранских комитетов. Письма формальные, абсолютно бездушные. На стеклографе напечатано обращение и вставлено от руки мое имя-отчество: дорогой(ая) Зиновий Ефимович... затем идет текст, ничем не отличающийся от того, что я получал в пятидесятых годах, в шестидесятых. У меня есть госпитальный друг.

Мы с ним в 1944 году лежали в Новосибирске. Человек необыкновенной честности. Недавно я был у него. В его кабинете устроен уголок Сталина. Я промолчал. Что говорить? Ему — восемьдесят. Где уж переделываться?

Мой внук — ему тринадцать лет — жутко политизирован. Но он совершенно свободный человек. А я таковым никогда не был. Вы представляете — он выгнал своего отца из партии. Убеждал каждый день: «Ну, ты уже вышел?» — «Нет, там надо ждать бюро райкома», — «Положи им просто билет на стол. Нельзя же так. Был Вильнюс. Ты что, забыл? Не понимаешь?» — «Да я понимаю, но...» — «Что — но?» Наконец вышел. И внук успокоился. При том что в доме никто не клянет коммунистов. Идут нормальные разговоры. Читают прессу. Он сам слушает российское радио, смотрит телевидение. Читает газеты — и видит среди лозунгов лживые. А дети фальшь чувствуют очень тонко.

Почему мы так жили и живем? Ничем не хуже других, ничуть не глупее, а живем так, что стыдно перед всем миром. Я когда думаю об этом, вспоминаю одну историю. Во время войны я лежал в очередном госпитале. И ко мне в палату комсостава из солдатской повадилась ходить парень лет двадцати. У него была фамилия Бляхин, я хорошо запомнил. Он писал стихи и носил мне на рецен-

зирование. Эпигонские, под Есенина, про какие-то кабаки, в которых Бляхин никогда не был, да еще написаны эти стихи были на обрывках газет, обоях. Бумаги-то не было. Я говорил: «Бляхин, почему ты пишешь о кабаках, ведь ты воевал, пиши о том, что видел, знаешь...» Как-то Бляхин приходит: «Ну, старший лейтенант, оставляю вас на неделю, мне рулон обоев принесли, так что сажусь за поэму». И действительно, дней через десять Бляхин появляется с рулоном. Читаю: красным карандашом идет название — «Обелиск». И начинается как-то так, допустим: «Деревья листьями оделись... та-та-та... обéлиск». Читаю дальше и глазам своим не верю: в каждой строфе обелиск и ударен не по тому месту. Спрашиваю: «Бляхин, как называется поэма?» Он: «Обéлиск». С ударением на «е». «Понимаешь, — говорю, — Бляхин, мне очень жаль, но ужасная ошибочка вышла. Он не обéлиск. Он обели́ск». Бляхин просто задохнулся: «Да вы что, у меня там двести куплетов, и в каждом обéлиск!» Ничего, говорю, нельзя сделать, он никогда не будет обéлиском. В общем, расстроенный Бляхин ушел из моей палаты и очень долго, к моей радости, не появлялся.

Понимаете, мне кажется, что мы когда-то очень давно тоже сделали одну, но роковую ошибку. Не по тому месту ударили. Нам показалось скучным жить, как все люди. И мы решили срочно, в кратчайшие сроки соорудить рай на земле. И соорудили ад. И сейчас нет, я убежден,

Политика

другого выхода, кроме как терпеливо исправлять все двести куплетов. Работать по тем законам, по которым живет весь мир. Я очень боюсь, что новая власть, которую я очень (это честно) уважаю, может поддастся соблазну сделать все побыстрее, в обгон, и опять ударит не по тому месту. А этого делать нельзя. Народ не выдержит, он на грани...

Прощание

Однажды мы приехали в Пярну, и Дезик Самойлов показал мне сборник новых стихов, отпечатанный на машинке. И сказал мне: «Выбирай, какое стихотворение тебе посвятить».

Я сидел, долго-долго вчитывался. И было там одно, которое меня просто совершенно сразило трагизмом, чувством, поэтической интонацией. Ну, всем-всем, что было в этом огромном поэте. Оно кончается:

А под утро отлет лебединый,
Крик один и прощанье одно.

Вот я дожид до единого крика и единого прощания. Когда этот рубеж наступит, нам не дано предугадать, как говорил Тютчев. Прощаться с такой долгой жизнью надо или очень подробно, или мгновенно.

Часть 2
ДРУЗЬЯ О ГЕРДТЕ

.

.

Петр Тодоровский, режиссер

Наше знакомство произошло совершенно случайно. Хотя, что бывает случайно в этой жизни? Ведь случайность, как нас учили классики, — это часть закономерности. Подхожу как-то к проходной студии и вижу: навстречу мне идет сам Гердт, которого я, конечно, знал и как замечательного эстрадного артиста, и как знаменитого кукольника, а уж после фильма «Фанфан-Тюльпан», где его закадровый, ни на чей не похожий, притягивающий своим интимным обаянием голос придал фильму типично французский шарм, а его интонация как нельзя лучше соединилась с жанровым решением всего фильма, Зиновий Гердт стал знаменитым на всю страну.

Ну вот. Протягиваю невольно руку, представляюсь. И вот что говорит мне знаменитый актер:

«Если вы такой же добрый, как ваш фильм «Верность», считайте, что мы с вами давно и хорошо знакомы».

Он трижды снимался у меня в картинах. В «Фокуснике» сначала я предложил ему эпизодическую роль сатирика, которую впоследствии блестяще сыграл Владимир Басов. Помню, была зима. Я подъехал к театру Образцова (тогда он еще стоял на Тверской), сильно сомневаясь, что он согласится. Зяма вышел из театра в одном пиджачке, сел ко мне в машину и сказал: «Конечно, я буду сниматься в этой маленькой роли. Но если б ты знал, как мне нравится роль фокусника!» Слушая его, я вдруг подумал: передо мною сидит совершенно незаигранный, очень своеобразный, не примелькавшийся на экране актер (в памяти нашего поколения еще сохранились образы цирковых эстрадных актеров тридцатых годов, которые придумывали себе экзотические псевдонимы вроде Лео, Арго и прочие). Я слушал Зиновия и вдруг подумал: так вот же он, фокусник!

В итоге Гердт сыграл в фильме главную роль. Он там с костылями выделяет всякие штуки... И все смеются, и он сам тоже смеется. Но за этим — война. Именно с приходом Зиновия Ефимовича на съемочную площадку все эти мотивы в фильме стали такими значительными, такими «пронзительными». А когда я снимал «Городской романс», я уже специально придумал роль для Гердта, целую

часть — для того чтобы снова прозвучала здесь тема войны, мне это было очень важно. Кстати, он там играл человека, который на фронте был артистом — «лучшим «Гитлером» Второго Белорусского фронта».

И вот снимаем мы «Фокусника». Изо дня в день, с утра до позднего вечера, и всё по зимней Москве. И, как часто бывает в кино, простаиваем: то забыли на студии костюм для актера, то забарахлила камера на морозе, то еще что-нибудь. Актер загримирован, сцена отрепетирована, а снимать не можем — не приехал лихтваген, осветители не могут дать свет... Такой, знаете, обыкновенный маразм, когда все готово к съемке, а снимать нельзя. И съемочный день зимой короткий, и план рушится (по тем временам невыполнение плана лишало группу премиальных). Топчемся мы, значит, постукиваем каблуками, швыряем друг в друга ледышки в ожидании злополучного лихтвагена. И как-то незаметно начинаем с Зямой словоблудить на мелодию популярной по тем временам песни Никиты Богословского: «Он ее целовал, уходя на работу...» И пошли импровизации: «Он ее иногда, уходя на работу, а когда приходил, он ее никогда», или: «Он ее как-то раз нехотя на работе, а потом приходилось почти каждый день», «Он ее запирал, уходя на работу, а когда приходил, отпирать забывал...» и тому подобное.

А вскоре театр Образцова уехал на гастроли в Ленинград. Нам ничего не оставалось как следо-

вать за главным героем фильма. Жизнь Зиновия Ефимовича в Ленинграде складывалась непросто: целый день у нас на съемочной площадке, вечером — спектакль (иногда и дневной), радио, телевидение.

Однажды мы снимали сцену «Салон интеллектуалов», съемки в мастерской художника Ланина. Большая трехкомнатная квартира, стены снесены, образуя обширное пространство, увешанное иконами, окладами, предметами старинной утвари, карнизами — все, естественно, вывезено из северных деревень... В восемь утра Гердт уже в гриме, сцена отрепетирована, даю команду: «Мотор!» — и вижу, как Зиновий Ефимович, хватаясь за сердце, с криком валится на диван. Кто-то сует ему в рот нитроглицерин, кто-то вызывает по телефону «скорую». В мастерской повисло страшное слово: инфаркт.

Наконец в комнату входит плотный, розовощекий, с огромным лбом, без паузы переходящим в лысину, доктор. Он просит мужчин поудобнее уложить Гердта, снимает кардиограмму, и пока медсестра делает Зяме укол, доктор набирает номер телефона, чтобы договориться о госпитализации больного. И представьте себе, человек, не выговаривающий букву «Р», в зловещей тишине произносит следующую фразу: «ЗдРавствуйте! С вами РазговаРивает вРач карДиологической бРигады ДзеРжинского РайздРавотдела гоРода-геРоЯ ЛенинГРада РапоРт АРон АбРамович».

И вдруг раздается веселый смешок. Выслушав тираду врача, где почти в каждом слове была буква «р», Зиновий не удержался и рассмеялся! Помню, сносили Зяму на носилках по узкой лестнице (лифт не вмещал носилки). Я шел следом, у его изголовья. Неожиданно Гердт задирает ко мне голову и тихо: «Петя, есть вариант: он ее целый день, не ходя на работу».

Знакомство Зиновия Ефимовича с автором сценария «Фокусника» Александром Володиным произошло в Ленинграде, в разгар съемок фильма. По случаю такого события мы втроем зашли ко мне в гостиничный номер, на стол была поставлена бутылка армянского коньяка. Естественно, пошли разговоры о характере главного героя. Кто он? Что собой представляет как личность, какова его жизненная позиция и, конечно, каково его отношение к женщинам. Не помню уже, кто из них первый, кажется Володин, начал читать Пастернака: «Быть знаменитым некрасиво, не это подымает ввысь...» Неожиданно Гердт подхватывает: «Не надо заводить архивы, над рукописями трястись...» — уже в два голоса декламируют автор сценария и актер, играющий главную роль.

Думаю, знакомство Гердта с Володиным помогло ему в работе над образом фокусника. В этом герое Володин, конечно же, изобразил самого себя. Можно считать, что Зиновий Ефимович сыграл самого Володина, его совершенно отдель-

ный характер, его своеобразное видение мира и, главное, его кристально чистую жизненную позицию. Ведь фильм был о человеке, который готов потерять в жизни все: работу, «прекрасную женщину» и, может быть, даже собственную дочь, но сохранить свое человеческое достоинство (что резко не понравилось прошлому кинематографическому начальству!), оставаться самим собой.

Как-то захожу к нему на дачу, вижу: сидит Зяма во дворе за столиком под тентом, а на столе — толстенная, немножко уже потрепанная книга. «Что читаешь?» — спрашиваю. Гердт взглянул на меня и, словно оправдываясь, говорит: «Пушкина». Пушкина, которого он знал наизусть от корки до корки! И вот сидит восьмидесятилетний человек и читает Александра Сергеевича.

Думаю, разбуди Гердта в три часа ночи и спроси: «Ну-ка, Зяма, седьмая строка из поэмы Давида Самойлова «Снегопад»?» И можете не сомневаться — он тут же начнет с седьмой строки.

Гуляем мы как-то с Зямой по дачному поселку. Встречаем Эльдара Александровича Рязанова.

— Завтра, — говорит Эльдар, — семидесятилетие Михаила Ромма. Давайте что-нибудь сочиним ему!

— Есть идея! — воскликнул Гердт. — Мы сочиним куплеты завистников из электрички Москва-Потылиха.

Петр Тодоровский, режиссер

Не откладывая в долгий ящик, идем на дачу к Гердту. Беру гитару, наигрываю известную мелодию, которую пели калеки, слепые, нищие в электричках после войны.

Через два часа куплеты были сочинены. Вот некоторые из них:

Послушайте, граждане, дамы, мужчины,
Мы лить здесь не будем елей.
За что? Почему? По какой же причине
Устроили сей юбилей?
Был смолоду Мишка смышленный парнишка,
Парижскую книжку извлек,
У Ромма у Мишки хватило умишки:
Он сдобную пышку испек.
А как юбиляр поступил с Кузьминою,
Пусть знает советский народ.
Он сделал артистку своею женою,
Все делают наоборот.
Художник меняет любовные фазы
От переполнения чувств,
А он с Кузьминой не развелся ни разу,
Какой он работник искусств?!
И только однажды всю силу таланта
Он в кинокартину вложил,
Когда с Козаковым на улице Данте
Убийство одно совершил.
В картине своей полудокументальной,
Где в общем-то есть артистизм,
Он всем показал нам довольно банальный
И обыкновенный фашизм.

Друзья о Гердте

Естественно, Ромм все покроем банкетом
На тысячу новых рублей,
Но так как мы правду пропели в куплетах,
То нам не сидеть среди гостей.
Пойдем же к буфету и а-ля фуршетом
Отметим его юбилей.

Семидесятилетие Михаила Ромма отмечали на уровне всего лишь заместителя министра кинематографии, так как незадолго до этого будущий юбиляр вместе с Твардовским и Тендряковым подписал письмо в защиту Жореса Медведева, посаженного в психушку.

Сцена Дома кино, где чествовали юбиляра, была завалена дерматиновыми папками, не более. Когда же мы втроем — Гердт, Рязанов и я — пели эти куплеты, в зале стоял несмолкаемый хохот. Кузьмина, вытирая слезы, жестаи просила дать передышку, так что нам приходилось после каждого куплета останавливаться.

Нечто подобное Гердт когда-то сочинил и к юбилею Леонида Утесова. Запомнился мне лишь один куплет:

...Другие мальчишки играли в картишки,
Рогаткою целились в глаз,
А этот пацанчик стучал в барабанчик,
Хотел Государственный джаз.

Когда Зяма, совершенно больной, лежал в больнице, медсестры рядом с ним хохотали не

переставая! Это был удивительный жизнелюб. На последнем творческом вечере его на сцену выносили на руках. Но он собрался с силами, встал, шагнул к рампе и прочитал стихотворение Давида Самойлова. Так же, на руках, его поднимали на третий этаж дома, где проходили съемки передачи «Чай-клуб».

Однажды мы с Зямой ехали к нему на дачу на его стареньком, варенном-переваренном «Москвиче». В этой «коломбине» любой звук отдавался, как в пустой цистерне. Ехали мы, кажется, после какого-то сабантуя, слегка поддатые... Вот едем мы по пустынной зимней дороге где-то во втором часу ночи и то ли от избыточной энергии, то ли от фонтанирующего жизнелюбия в две глотки орем «Очи черные», Зяма — первым, я — вторым голосом. Дуэт! И, видимо, из-за отсутствия аккомпанемента Зиновий начинает жать на педаль газа в такт нашему пению... Машина несется рывками: то как взбесившаяся лошадь, то вдруг останавливается посреди дороги, когда мы уж слишком затягиваем последнюю ноту. Эта система аккомпанемента нам так понравилась, что, не доехав до дачи километров шесть, в моторе что-то забарабанило, машина дернулась и, заглохнув, остановилась. Полетело сцепление.

Ночь. Мороз градусов пятнадцать. Вокруг ни души. Стали рыться в багажнике в поисках троса (Зяма утверждал, что у него должен быть еще не распечатанный импортный трос), но его в багаж-

нике не оказалось. Две-три случайные машины готовы были взять нас на буксир, но и у них тоже не было троса (в те времена водители не боялись останавливаться посреди ночи!).

Так мы, замерзшие, просидели в ледяной машине до шести утра, пока водитель полуторки (у него нашелся толстый канат), узнав артиста, не отбуксировал нас на дачу. Проснулись мы за полдень, разбудил сосед по даче (у него не заводилась машина, попросил прикуриватель). Помню, открыв багажник, первое, что я увидел, — на самом видном месте лежит новенький чистенький моток троса! Ночью, в темноте, мы его просто не заметили.

Такой был друг... других таких не было и не будет! Он так интересно рассуждал о жизни, что надо было ходить с магнитофоном и все записывать. Постоянно рассказывал мне о фронте, о госпитале...

Всякий раз, когда я выхожу из своей дачи на Южную аллею, мне кажется, что вот-вот из знакомого переулочка появится фигурка Зямы. В своей неизменной кепочке, которая ему очень шла, он отставит чуть в сторону свою левую изуродованную войной ногу, дождется, пока я подойду, и обязательно произнесет: «Интуиция, дорогой Петя, рождает невероятные фантазии. Как ты догадался, что я направляюсь к тебе?»

Эльдар Рязанов, режиссер

Мы подружились году эдак в 1967-м, когда они с Таней купили дачу на Пахре и мы стали соседствовать. Зяме я очень обязан тем, что он открыл мне Бориса Пастернака, приобщил к его стихам. Вообще стихи были, пожалуй, одной из главных точек нашего соприкосновения. Мы даже сочиняли вместе всякие дурацкие вирши, в основном для юбилеев любимых нами деятелей искусства, хотя всерьез этим никогда не занимались.

Помню, во время Пражской весны, летом 1968 года, мы гуляли по пахринским аллеям и валяли дурака:

Епишев и Гречко
вышли на крылечко,
завели гуманный разговор:

Друзья о Гердте

мол, что это за субчик —
Александр Дубчек?..

И что-то дальше в этом роде... Нам казалось тогда, что чехам удастся выскочить из соцлагеря. Но когда наши танки обрушились на Чехословакию, мы смолкли. Стало не до шуток. Было горько и стыдно осознавать свою принадлежность к стране палачей.

В 1969 году мы оба бросили курить, поддерживали друг друга в этом, но Зяма оказался слабаком, а я удержался и держусь до сих пор.

Потом был семидесятилетний юбилей Михаила Ильича Ромма, который олицетворял для нас совесть кинематографа. Мы решили сочинить для него куплеты. Но не панегирические, а, наоборот, как бы разоблачительные. В этих незатейливых стишках мы якобы выводили Ромма на чистую воду. Назывались они «Куплеты завистников» и исполнялись на расхожий мотив, что поют нищие в электричках. Вышли на сцену Дома кино втроем, аккомпанировал Петя Тодоровский.

Наше выступление не прошло незамеченным. И когда Юре Никулину стукнул полтинник, мы с Зямой взгромоздились на сцену ЦДРИ с куплетами в честь великого клоуна. Правда, стихотворный размер и мелодия были теми же, что и для Ромма. И даже некоторые строфы, имевшие обобщающий характер и где осуждались организаторы очередного юбилея, что, мол,

устраивают его слишком рано, тоже остались неизменными.

Вот один из куплетов о Никулине:

Когда он вернулся с войны переростком,
в искусство пытаясь пролезть,
театры Москвы защитили подмостки,
за что и хвала им, и честь...

Наше безоблачное дружество продолжалось долго, лет пятнадцать. Ходили друг к другу в гости, отмечали вместе новогодние праздники, не пропускали дней рождения. Один из любимых рассказов Зямы был о том, как на день рождения Тани, который приходился на 9 мая — День Победы, меня выкрали из клиники лечебного питания, где я худел. Хлебосольный стол, орава гостей, уйма спиртного. А я на жесткой диете, уже похудел килограммов на двенадцать. За столом я очень активно осуждал обжорство гостей, стыдил их за неумеренную страсть к закуске. Сам, разумеется, не пропускал ни одного тоста, каждый раз пил до дна, но закусьивал всего-навсего тоненьким ломтиком зеленой редиски — кто-то привез ее на пиршество из Средней Азии. Конечно, я совершал своеобразный подвиг и, как водится, подпирал его идеологическими высказываниями. Упился как никогда в жизни. Но при этом продолжал витийствовать о пользе голодания, заплетающимся языком воспевал воздержание. Что происходило дальше, я помню плохо. Больше по рассказам.

Жена повезла меня обратно в клинику лечебного питания. И зажав в кулаке рубль, чтобы сунуть вахтеру, дабы он пустил меня обратно в больницу, я чудовищными зигзагами, спотыкаясь и падая, кое-как добрался до койки в своей палате. Не помню, что я вытворял за праздничным столом своих друзей, но это почему-то произвело сильнейшее впечатление на именинницу и ее мужа. Они регулярно вспоминали об этом случае и почему-то всегда смеялись.

Зяма был на первой читке нашего с Гришей Гориным сценария «О бедном гусаре замолвите слово». Потом он сыграл в нем небольшую роль продавца попугаев, запуганного и замордованного российским антисемитизмом. Сыграл, как всегда, сочно, смешно, трогательно. Эта работа, да еще авторский текст в фильме «Старики-разбойники», прочитанный им виртуозно, — вот и вся наша совместная творческая работа, не считая самодеятельности, о которой я уже упоминал.

Зяма был очень разборчив в знакомствах. У Гердтов никогда нельзя было встретить человека хоть с мало-мальски сомнительной репутацией. Как-то инстинктивно, а может, вполне сознательно, в их жизни существовал какой-то отборочный фильтр. Зяма и в еще большей степени Таня, которой свойственна некоторая категоричность, всегда очень чутко реагировали на несправедливость, нечистоплотность, недобросовестность

как идеологическую, так и личную. В их доме я познакомился и сдружился со многими порядочными людьми.

Однажды у нас с Зямой произошла страшная размолвка. Ссоры не было, просто я прекратил с ним дружеские отношения. Перестал звонить, приходить в гости. Как бы отрезал его, вычеркнул из своей жизни. Случилось это вот почему. В 1984 году я закончил свою киноленту «Жестокий романс». Картина встретила восторженный зрительский прием и резкую отповедь критики. Практически все газеты — «Правда» в статье Михаила Швыдкого, «Труд», «Литературная газета», «Советская культура», «Комсомольская правда» — не оставляли от фильма и от меня как постановщика камня на камне, размазывали по стенке. А в это же время в лавине зрительских писем — пожалуй, их пришло около двух тысяч — выражались благодарностью, восторги, писались добрые, душевные слова, содержались самые высокие оценки ленты. Несовпадение мнений многих критиков и публики было невероятным.

К сожалению, Зяме моя лента не понравилась. Но узнал я об этом не из личной беседы, хотя мы встречались регулярно, а из телевизионной программы «Киноафиша», в которой Гердт был ведущим. Он поведал о своем неприятии «Жестокого романа» многим миллионам людей. Это поразило меня.

Естественно, Зяма имел право на свое мнение, и, конечно, ему могла не понравиться моя кинокартина, причем любая. Это никак не повлияло бы на наши отношения, если бы он сказал об этом мне лично. По моим моральным правилам, я сам никогда не выступил бы публично с неприятием произведения своего друга, товарища, единомышленника. Я сообщил бы ему об этом только наедине. Может быть, даже и умолчал, дабы не наносить травму близкому человеку. Выступить же публично с критикой, особенно тогда, когда шла всесоюзная травля картины, и присоединить свой голос казалось мне чудовищным, недопустимым. Обида была нанесена смертельная, и я прервал с Зямой всяческое общение.

Зиновий Ефимович, видимо, решил, что я воспринимаю только хвалебные отзывы и оскорбился потому, что ему не понравилось мое произведение. Но дело было не в этом — далеко не все мои ленты ему или иным друзьям нравились, однако это никогда не имело для меня значения. Огорчился, конечно, но и всё. На нашу дружбу подобные ситуации никак не влияли.

Несколько лет мы не общались, хотя при встречах, конечно, раскланивались. Когда пришел юбилей Зямы — семидесятилетие, Петя Тодоровский, очевидно, не зная о наших рухнувших взаимоотношениях, предложил, чтобы мы по традиции написали и спели на вечере в Доме кино «Куплеты завистников» — подобные тем, что мы исполняли на юбилеях Михаила Ромма и Юрия Никулина.

Я превозмог себя, ибо любил Гердта. Мы сочинили частушки и среди многих спели и такую:

Войну на себя он работать заставил,
как пользу извлек он хитро:
нарочно он ногу под пулю подставил,
чтоб ездить бесплатно в метро.

Но я не остался на банкет, не подошел к юбиляру, не поздравил его лично, видел его только со сцены. Как бы выполнил долг и ушел. Размолвка продолжалась. И мы оба горько страдали от этого... Но все же мы нашли в себе силы распутать сложный узел, и наша дружба в последние годы стала особенно нежной и крепкой.

Я уже говорил, что у Зямы и Тани был открытый дом. В новогодние праздники десятки людей чередовались за накрытыми столами, и среди них были не только знакомые. Однажды около трех часов ночи один из гостей обратился к Тане:

— Простите, а вы кто будете?

— Я вообще-то хозяйка, — ответила Таня. — А вы кто?

А потом началась болезнь. Таня скрывала почти от всех эту страшную тайну. Зяма по-прежнему ездил на съемки, на творческие выступления. Но теперь Таня всегда сопровождала его, готовая в любую минуту прийти на помощь. Прежде Зяма, который никогда не жаловался на здоровье и на

вопрос: «Как ты себя чувствуешь?» — неизменно отвечал: «Шикарно!» — стал вдруг признаваться, что самочувствие у него неважное.

В августе 1996 года, за месяц до восьмидесятилетия моего друга, я понял, что обязан сделать о нем телевизионную программу, чтобы ее показали в день юбилея, 21 сентября.

Постепенно все близкие узнали о его болезни. Угасание шло неумолимо. Мы часто навещали его в этот период и вместе с моей женой Эммой были свидетелями, как день ото дня жизнь уступала, давая дорогу смерти...

Помню, как он, известнейший, любимейший актер, фронтовик, мечтал о маленьком автомобильчике с автоматической коробкой передач. У него не сгибалась нога, и водить такую машину ему было бы значительно легче. Когда он был смертельно болен, удалось наконец купить ему машину с такой коробкой скоростей. Он мечтал выздороветь и поехать на ней. Однажды, после того как я навестил его и собрался уходить, Таня сказала: «Зяма, что ты стоишь? Иди, открой гараж и отвези Элика домой».

Таня в мучительные месяцы его страданий вела себя потрясающе. Она знала, что болезнь неизлечима, что дни Зямы сочтены, но она не делала из него больного. Хочешь курить — кури, хочешь выпить рюмку — выпей, она его не ограничивала в том, что было как бы вредно. Но что могло быть вредным для человека, чья жизнь кончалась? Зяма

открыл гараж, вывел маленький «Опель» и отвез меня к дому, до которого было триста метров. Потом развернулся и уехал обратно. Я долго смотрел ему вслед.

Телевизионная съемка была назначена на первые числа сентября. Я тревожился, как она пройдет, ибо Зяма был уже очень плох. Но когда он вышел в сад к съемочной группе, где уже были установлены камеры и софиты, я был поражен. Перед нами предстал элегантный, я бы сказал, франтоватый, безупречно одетый артист. На нем был галстук-бабочка и, как всегда, черные туфли (обувь другого цвета он не признавал и никогда не носил). Я же пришел на беседу к другу без галстука, и Зяма распорядился, чтобы мне выдали галстук из его гардероба. Сам выбрал тот, который лучше всего подходил к моему костюму, и подарил мне его. Я этот галстук теперь надеваю в тех случаях, когда иду на торжество к кому-нибудь из дорогих мне людей.

Сергей Юрский, актер

В начале было Слово. Так сложились обстоятельства Гердта, что он со зрителями общался словом, скрываясь. Так получилось, но, может, где-то ему казалось, что так и должно быть, дескать, хромота, человек должен прятаться, а что может удивить — так это голос. Голос конференсье в спектакле «Необыкновенный концерт», когда он влюбил в себя всех нас. Голос Гердта был камертоном.

Играл он полного пошляка и идиота, абсолютно отрицательного героя, в котором было безумное обаяние. Откуда? Гердт не пародировал. Пародия быстро выдыхается, утомляет, это воздушный шарик, который сразу сдувается. А здесь было высокохудожественное явление. Спектакль длился очень долго, и каждый последующий выход конференсье хотелось слушать еще и еще, и чтобы это не кончалось.

Был голос. Было хорошо произнесенное слово. Причем он играл косноязычного человека, а слышалось, что сам актер прекрасно владеет русским языком и абсолютно свободен в нем. Вот этот артистизм, обаяние актерской двойственности было первым, что влюбило в Зиновия Гердта. Тогда он объездил все страны, но нам-то это было неизвестно, он был закрыт для нас.

А дальше лично для меня возникло второе чудо, когда они с Евгением Весником продублировали фильм «Полицейские и воры». Один из любимых фильмов моей актерской юности. Исполнение — именно исполнение! — Гердтом голоса артиста Тото в роли старого профессионального вора. Я не знаю, успел ли Тото услышать и оценить, как говорил Гердт, но это действительно было конгениально его исполнению. Речь, произнесенная Гердтом, была на равных с ролью великого итальянского актера в этом прекрасном неореалистическом фильме. Не могу не сказать, что и Весник был фантастичен во второй роли, дублируя Альдо Фабрици.

Итак, голос. Следующим потрясением для меня стало наше знакомство на съемках «Золотого теленка». Меня Швейцер пробовал долго. Не знаю, сколько он пробовал Гердта, по-моему, у него тоже были всякие сомнения, но, на мой взгляд, выбрал он всех в этом фильме идеально. И мы это чувствовали.

Тогда я с изумлением смотрел на Гердта, к которому все «прилипало». Костюм Паниковского при-

Друзья о Гердте

лип. Все движения — тоже. Мне казалось, ему даже не пришлось учить роль. Как у Ильфа и Петрова, так у него текст шел совершенно свободно.

Тогда я узнал Гердта в общении. Узнал, что у него есть аура, в которую попадают определенные люди. Если вам приятен этот круг, вы можете переезжать за Гердтом из города в город, и везде аура Гердта будет собирать подобных людей. Я узнал одесский круг Зиновия Гердта. Доктора Великанова, знакомых доктора Великанова, других друзей Гердта. Потом я встречался с ними в иные свои приезды, уже без Зиновия Ефимовича, и все равно ощущал его полное присутствие. Все разговоры о нем, его стиль, воспоминания о том, что, как и по какому поводу он на этом вот месте говорил, — все это сохраняется крепко-крепко.

Виктор Шендерович, писатель

Ехали с братом с кладбища — от матери. День стоял гнусный, да и год не лучше — пятидесятый. И настроение под стать. Зашли в пивную. Случайный грязный шалман с залитыми пивом столами и злобными, бедными послевоенными людьми. Что-то произошло в очереди, кому-то показалось, что двое носатых не по праву теснятся у источника русского забвения. И в крупное ухо сапера вползло, как белена, как сколопендра: «Канешно, эти у нас завсегда первые!» Брат Борис побелел и затрясся. А Зяму как бы помимо воли повернуло, и кулак, сам всосавший всю силу небольшого организма, влетел в географический центр большой красной дурацкой рожи.

Продавщица взвизгнула и заголосила из окошка: «Ты что ж, гад, делаешь, он же тебя даже жидом не назвал!» Очередь, на миг закаменев,

быстро пришла в себя и, повинувшись рефлексу, начала сползаться в полукольцо, и хромая нога Гердта оказалась точкой пересечения его радиусов. Глядя в близкие лица земляков и современников, Зиновий Ефимович, подобно одному из его будущих героев, осознал, что бить будут, скорее всего, именно ногами — по традиции любой окраины. И вот народец расступился, и вперед вылез огромный сизорылый мужик, и весь Зиновий Гердт был в один обхват его ладоней. Он навис над Зямой, сгреб его за лацканы, и тот вспомнил маму и понял, что через несколько минут они, скорей всего, встретятся... Мужик приподнял его к бармалейской своей пасти и просипел, дыша сложным перегаром: «И делай так каждый раз, сынок, ежели кто скажет тебе чего про твою нацию». И, трижды поцеловав, бережно поставил на место. Снова предстояла земная жизнь — в длительном развитии труда и любви.

Снимали фильм о Гердте. Режиссер с автором отсматривают материал: финал спектакля, актеры с куклами выходят из-за ширмы, камера скользит по лицам. И вдруг одно — как колодец в пустыне. Такая в нем жизнь и такая сила... Столько трагизма и вместе с тем юмора — в глазах под нависшими бровями, в резких складках, пролегающих от вислого носа к углам крупного рта с тонкой, почти отсутствующей верхней губой. Да еще этот монументальный лоб философа и толкователя. Какое захватывающее зрелище! На этом зрелище лица

камера будто сама замедлила бег, споткнулась и замерла. Ну и потом неохотно двинулась дальше, все набирая ход.

Валерий Фокин был одно время связан с Зиновием Ефимовичем тесно, по-семейному. Его двухметровый сын вообще рос в доме Гердта. Проницательный Фокин сумел оценить возможности, которые не так уж и «таятся» в этом сокровище, что похаживает рядом по дорожке садика туда-сюда стариковской птичьей походкой. Так состоялся первый (и предпоследний) выход Гердта на драматическую сцену — на сцену театра «Современник» в спектакле по пьесе эстонца Ватемаа «Монумент». Гердт играл там старого скульптора, учителя двух молодых антагонистов — в борьбе моралей этот старик является арбитром, носителем нравственного критерия.

Те, кто хорошо знает театр, были обескуражены: на сцене творилось странное. Актер как бы ничего не делал. Обычно хромал, обычно говорил, обычно смотрел. Гердту нечего было играть в этом персонаже. Он был им — эталоном порядочного человека.

Кстати, замечал кто-нибудь, что у Гердта не бывает отрицательных ролей? Нет, увы, ни Тартюфа, ни Ричарда...

Все банальное, то есть бесспорное и потому как бы утратившее объем и упругость смысла, — в соприкосновении с Гердтом обретает индивиду-

альную выразительность. Например, у него на даче в Пахре, в этой длинной теплой комнате с большим количеством теплых и мягких вещей, висит над диваном сильно увеличенная известная фотография Чарли Чаплина — на ступеньках в обнимку с собакой. Именно этот портрет уместен и закономерен именно в этом доме. Где похожей собаке, погибшей под колесами много лет назад, хранили верность и не заводили другую, пока этой зимой не прибился к внуку на улице ризеншнауцер с ужасной раной в голове. Его вылечили и выходили, и только тогда он стал собакой Гердта, а это больше, чем просто собака. Он потом потерялся, но вскоре нашелся и больше уже не покидал этого дома. Как, в некотором смысле, не покидает его никто, посидев раз здесь — на этом диване за этим вот, главным образом, столом. Надо признать: все мы, прибывшие сюда разными течениями, — в некотором смысле собаки Гердта, отчасти вылеченные им.

Сам же Чаплин на этой стенке — не знак художественного абсолюта, а коллега, один из авторитетов. Любимый мастер. Близость Гердта с Чаплином для нас очевидна. Сам он считает танец с пирожками в «Золотой лихорадке» гениальной пластической формулой, и это, конечно, взгляд кукольника — каковым был и Чаплин, в одном лице кукла и кукольник, создающий ее и прилегающий мир. Подобно Чаплину, Феллини, Параджанову и своему другу Ревазу Габриадзе, Зиновий Гердт создал не «кинематограф» (или «театр») — а вот

именно мир, где действуют свои законы этики и красоты, и эти законы не изобретены, а выстраданы. В этом отличие профессионала — от демиурга.

На одном из празднований Рождества на сцену перед уже порядком разгоряченным залом, перед хмельными звездами, поддатыми спонсорами и пятком близких людей вышел щемящей стариковской походкой Гердт и почти без предисловия стал читать «Рождественскую звезду» Пастернака — в шуме, дыму и разноцветных сполохах. Дружелюбное удивление поначалу сменила просто тишина, а потом случилось какое-то смещение, что ли, сдвиг пространства. Пляшущий жующий зал развалился и уплыл, дым рассеялся, и западал снег. Некоторые глаза глядели из темноты, они блестели, а звезды дробились и расплывались в них, как снежинки на лысине и прижатой к пазухе руке маленького старого человека. Все злей и свирепей дул ветер из степи... Все яблоки, все золотые шары. Ах, да, здесь уже нужны кавычки, а хотя не обязательно. Длинное, как поэма, стихотворение рождалось здесь, на этой нелепой сцене, — которой, впрочем, тоже уже не существовало. Ничего не было, кроме голоса, способного передать все: и ветер, и блеск мишуры, и рассвет.

Главным достоянием и основным рабочим инструментом Гердта долгие годы оставался его уникальный голос. На стадии дубляжа и озвучания

он был нарасхват. Мультфильмы, хроника, научно-популярное кино, зарубежные картины — это была законная доля Гердта, и обрабатывал он ее в поте лица своего. Это уважение к профессии, к самым вроде бы мелким и презренным дичкам из ее сада, к тому, что всею арт-фауной признано «халтурой», — Зиновий Ефимович Гердт сохранил до сих пор. Наверное, как все артисты старой школы. Радио, закадровый текст (который часто писал сам), эпизод, концертный номер, теперь вот еще реклама — всегда работа. Хотя, конечно, и «халтура» — в смысле заработок, потому что Гердт смолоду кормил семью. Точнее, семьи. Пока не остановился на фундаментальнейшем союзе со своей последней женой, совершенно потрясающей и достойной его во всех смыслах Татьяной Александровной Правдиной, арабисткой, внучкой шустовских коньяков, мамой трехлетней тогда Кати, закоренелой антисоветчицей и хлебосолкой, у которой на Татьянин день без усилия собиралась вся Москва и пол-Пахры. Ах, эта «Таня» сиреневолосая, с ее баритоном, с вечной сигареткой и легким, легчайшим шлейфом матерка — от нее трудно оторваться, и надо бы писать отдельно... Но, как говорится, чу, мы слышим дьявольски знакомый дьявольский голос из «Чертовой мельницы»: «Лапидарней!» И не смеем отвлекаться.

Татьяна Александровна пилотировала свой неплохой автомобильчик, направляясь на дачу. У поворота на Пахру стояла разопревшая тетка с сумками

и отчаянно голосовала. Татьяна тормознула, и тетка, не веря в удачу, позапихивала свой багаж, пока хозяйка не передумала, и, отдышавшись, принялась благодарить.

— Вот человеческая дамочка! Вот же ж никто не взял, стою тут пнем, почитай, битый час! И ведь такие язвы — никто сроду не подберет! Думала, обратно с поклажей пёхом топать до дому. Так и преся всякий день, ты вторая за всю жисть и взяла.

— А первый? — поддержала Татьяна беседу.

— Ой, да ты не поверишь. Первый знаешь кто был? Артист Гердт, сам собою — вот ей-бо, не вру! Ай не веришь?

— Почему, очень даже верю. Это мой муж.

Когда приключился этот позорный абсурд с «Куклами», автор передачи пришел к Гердту поплакаться в жилетку — ну, просто посетовать на жизнь с идиотами. Гердт всплеснул руками:

— Ну что ты, Витя! Они не посмеют применить к вам репрессии! Ну просто не решатся на это. Да нет, конечно, не посмеют!

Автор поинтересовался, что же это, к примеру, помешает им «посметь».

— Как что? — изумился Гердт. — Им же... да им же руки никто не подаст!

Автор внимательно посмотрел на Зиновия Ефимовича. Нет, тот не шутил. Он всерьез (как говорят — «по жизни») полагал, что соображения «подачи руки» могут помешать «им» делать подлости — всласть и от пуза.

Когда помощник режиссера на телевидении размагнитила маркированную пленку (ну просто потребовалась чистая кассета) с трехчасовой записью Гердта для передачи — три часа работы старого артиста, который в координатах и масштабе этого помрежа размером примерно со сталинскую высотку на площади Восстания, — Татьяна Александровна, любитель сильных определений, назвала этот факт «Чернобылем». А Гердт развел руками: «Что ж делать? Все, слава богу, живы-здоровы. Перепишем».

Дуэль, пощечина, «честь»... Не правда ли, откуда-то из юрского периода, из обихода мастодонтов? Эти большие звери ужас до чего уязвимы: они умирают, если им не подать руки. Умирают физически — валятся на бок и каменеют.

Дело было на даче Зиновия Ефимовича на Пахре. Мы уже несколько часов обсуждали будущую телепередачу (я был приглашен писать сценарий), когда Татьяна Александровна предложила пойти за стол.

Гердт подозрительно сильно обрадовался моему согласию поужинать вместе с ним, пошел на кухню и начал лично готовить антрекот, приговаривая что-то насчет собственного гостеприимства. Через несколько минут передо мной, как на скатерти-самобранке, уже расстелилось немерено еды-питья. А напротив сидел Зиновий Ефимович Гердт — перед стаканом воды и лежащим на блюде сухариком. Все остальное по причине обострения астмы запретили ему врачи.

Сидевшая рядом с мужем Татьяна Александровна голодала из солидарности. А я, повторяю, сидел перед антрекотом, и слюноотделение уже началось. Я что-то жалко пискнул в том смысле, что предполагал ужинать вместе с хозяевами...

— Ну что вы! — воскликнул Гердт. — Я обожаю, когда при мне вкусно едят! Сделайте одолжение!

И даже, кажется, приложил руки к груди, изображая мольбу. А я (повторяю в последний раз) был ужасно голоден и долго бороться с интеллигентностью не мог. Когда же я положил кусочек антрекота в рот, начал его жевать и процесс пищеварения стал необратимым, Гердт негромко — но так, чтобы мне было слышно каждое слово! — сказал, обращаясь к Татьяне Александровне:

— Нет, но эта нынешняя молодежь... Напротив него сидят два голодных ветерана войны — а он ест, и хоть бы что!

Видимо, в этот момент у меня что-то случилось с лицом, потому что Зиновий Ефимович немедленно «расколосился» и начал смеяться. И я почувствовал, что мне глубоко за 70 и я в гостях у молодого человека. Впрочем, что касается последнего — это так и было!

Если бы мы писали школьное сочинение на тему: «За что я люблю Гердта», мы бы написали примерно так: «Зиновий Гердт — он очень интеллигентный человек. В нем совсем нет гордыни, и поэтому он никому ни в чем не отказывает. В нем есть большая гордость, и поэтому он никого ни о

Друзья о Гердте

чем не просит. Зиновий Ефимович будет слушать вас с живым интересом, даже если вы позволите себе пороть ерунду. Он никогда не лезет в политику и принимает у себя в доме только тех, кого уважает. А уважает он самых разных людей, совсем не знаменитых, и даже детей. Я люблю Гердта за то, что он никогда не жалуется и смеется над своей болезнью. И даже когда он совершенно серьезен, со дна у него непременно всплывет шутка. Он — щеголь в своих клетчатых пиджаках и шейных фулярах. Хромой красавец, поэт и ловелас: как Байрон. Он обожает веселое застолье и знает в нем толк — и ненавидит модную тусовку. И еще он с удовольствием поет вместе со своим сердечным другом Петей Тодоровским разухабистые песни под гитару, по части которой Петр Ефимыч — сущий виртуоз. Вот за это — и за многое еще другое я люблю Зиновия Гердта. Собака Гердта».

Булат Окуджава,
ПОЭТ

БОЖЕСТВЕННАЯ СУББОТА,
ИЛИ СТИХИ О ТОМ, КАКОВО НАМ БЫЛО, КОГДА НАМ
НЕ БЫЛО КУДА ТОРОПИТЬСЯ

Зиновию Гердту

Божественной субботы
хлебнули мы глоток,
от празднеств и работы
закрылись на замок.

Ни суетная дама,
ни улиц мельтешня
нас не коснутся, Зяма,
до середины дня.

Как сладко мы курили!
Как будто в первый раз
на этом свете жили,
и он сиял для нас.

Друзья о Гердте

Еще придут заботы,
но главное в другом:
божественной субботы
нам терпкий вкус знаком!

Уже готовит старость
свой неперемный суд.
А много ль нам досталось
за жизнь таких минут?

На шумном карнавале
торжественных невзгод
мы что-то не встречали
божественных суббот.

Ликуй, мой друг сердечный,
сдаваться не спеши,
пока течет он, грешный,
неспешный пир души.

Дыши, мой друг, свободой...
Кто знает, сколько раз
еще такой субботой
наш век одарит нас.

*Ленинград,
29 апреля 1974 года*

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

Зиновий Гердт читает Пастернака. Четыре дня подряд, каждый вечер, я сижу у телевизора, смотрю на него, слушаю, вспоминаю. Он именно читает. Не как артист, выступающий в концерте, просто — читает. Сидит у себя в саду с синим томиком Пастернака из «Библиотеки поэта», потрепанным, разбухшим от закладок, и читает. Читает, не заглядывая в него, сбивается, вспоминает, поправляется.

Я хорошо знаю те стихи, что он читает, невольно вторю ему шепотом. Иногда он все-таки открывает книгу — на какое-то мгновение — и снова читает, рассказывает о случайной встрече с самим поэтом, о том, как читал стихи Пастернака Твардовскому, как тот слушал, и снова — стихи. Вдруг, закончив читать, смеется. Смеется от восхищения,

от удивления перед силой стиха, его красотой, точностью слова, музыкой.

— Вот так, ребята, — говорит он.

Вспоминаю, как мы бродили по почти безлюдным улицам города, которого больше нет. Та Москва, еще довоенная, не добравшаяся до своих отдаленных окраин, еще не поглотившая их, ушла навсегда. Москва до войны — город, нынешняя — мегаполис.

Когда репетиции в арбузовской студии кончались поздно, и трамваи, автобусы уже не ходили, добраться домой — а мы оба жили на окраине — можно было только пешком, такси ни ему, ни мне было не по карману. И мы гуляли по городу.

Медленно светлеющее небо, рассвет, в котором теряют яркость все еще горящие фонари, редкие подгулявшие прохожие, обочины тротуара в белых разводах тополиного пуха. Тополиный пух — середина июня.

Кругом семенящейся ватой,
Подхваченной ветром с аллея,
Гуляет, как призрак разврата,
Пушистый ватин тополей.

Мы бродили по городу и читали стихи. То он читал, а я слушал, шепча за ним знакомые строки, то читал я, то оба вместе, в два голоса — Маяковского, Багрицкого, Блока, Пушкина и, конечно, Пастернака, открытого нами недавно и сразу ставшего любимым.

Зяма часто вспоминал своего школьного учителя литературы, привившего ему любовь к поэзии. Отчасти и эта любовь к стихам сближала нас — Пушкин, Лермонтов, Блок, Маяковский, Багрицкий. Человеком, открывшим нам другие имена — Пастернака, Цветаевой, Ахматовой, Мандельштама, Ходасевича, — был Валентин Николаевич Плучек. Он читал их сам, приглашал известных чтецов, побуждал нас ходить на концерты Яхонтова. В физкультурном зале школы, напротив консерватории, мы слушали нигде не напечатанные стихи Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Помню тогдашний «самиздат» — потрепанные рукописи цветаевского «Казановы», стихов Ходасевича и Мандельштама.

Не случайно возникла дружба студии с молодыми поэтами — Борисом Слуцким, Давидом Самойловым, Женей Аграновичем, Николаем Майоровым, Борисом Смоленским, приведенными к нам Мишей Львовским, жившим с Зямой в одном доме.

Зяма и сам писал стихи. У меня сохранилось несколько его стихотворений, присланных мне в конце войны на фронт. Среди этих стихов есть несколько строк, которые мне особенно дороги. В полушуточном стихотворении он пишет о своих друзьях:

У меня их трое верных.
Трое храбрых, беспримерных,

Друзья о Гердте

Трое! Кто из них верней?
Кто вернее в дружбе, в чести,
Кто стоит на первом месте —
Русский, грек или еврей?
Про кого сказать «во-первых»?
У того покрепче нервы,
У другого сердце шире,
Третий мудростью возьмет.
Я скажу: «Во-первых — трое», —
Это будет верный ход!

Грек — это Максим Селескириди (Греков), воевавший в тылу врага, русский — Женя Долгополов, любимец студии, человек действительно с широким, добрым сердцем — увы, с войны так и не вернувшийся. Что касается третьего, то слова о его мудрости, конечно, лишь дружеское преувеличение и прежде всего свидетельство верности дружбе самого автора.

Но своих стихов он не читал. Он слишком хорошо знал, что такое подлинная поэзия. Читал тех, кого любил. И я не удивляюсь, что, будучи уже известным артистом, он говорил: «Больше всего я хочу читать стихи людям».

Но были не только стихи. Шли репетиции, игрались спектакли. Никуличев после «Ножей» поставил «Фантазию» Козьмы Пруткова, «Свои люди — сочтемся» и «Бедность не порок» Островского, где я играл Африкана Коршунова, а Зяма — того самого англичанина, который у Островского

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

лишь упоминается. По-настоящему первую роль он сыграл у Плучека в «Свадьбе Фигаро». Играл он Бартоло. Играл очень весело и смешно, настолько смешно, что мы, на сцене, с трудом удерживались от смеха.

Но в конце концов наш театр, как почти все профсоюзные театры, где-то в тридцать седьмом был закрыт. Я поступил во вспомогательный состав Камерного театра, Зяма — в кукольный. Не образцовский. Был еще один кукольный театр, кажется, на Никольской. Так что его карьера кукольника началась задолго до того, как он стал ведущим артистом в театре Образцова.

Однажды мы сидели на скамейке, на бульваре у Никитских Ворот, рядом с памятником Тимирязеву, и по обыкновению читали стихи. К нам подошла женщина в заношенном, когда-то белом плаще, в беретике, из-под которого выбивались спутанные седеющие волосы, с мутноватой, полупьяной улыбкой на одутловатом лице. Зяма посмотрел на нее с любопытством, я — с легкой брезгливостью.

— Мальчики, — сказала она, слегка покачиваясь, — угостите папироской.

Зяма лезет в карман, достал узкую пачку «Казбека». Женщина взяла папиросу, села рядом, улыбнулась ему, улыбнулась прищурившись, многозначительно. Легко было догадаться, что означала эта ее улыбка, но Зяма сделал вид, что не понял, дал ей прикурить и тоже улыбнулся.

Она не переставала улыбаться, но взгляд ее сделался усталым и грустным.

— Ты славный мальчик, — сказала она. — Хороших людей на свете мало, очень мало. Одного я знала. О нем сейчас говорят плохо. Очень плохо. О хороших людях всегда говорят плохо. А он... Он был замечательный человек. Да, замечательный.

— Кто же он, такой замечательный? — спросил Зяма.

Она вскинула голову и тихо, очень тихо, но едва ли не с вызовом произнесла запрещенное имя:

— Бухарин. Николай Иванович.

— Вы знали Бухарина? — переспросил Зяма.

— Я работала с ним. В «Известиях».

Она встала и медленно, уже не пошатываясь, ушла прочь. Мы молчали, глядя, как она идет в сторону Пушкинской площади, туда, где стоит многоэтажный дом «Известий», в котором она еще недавно работала.

— Наверно, была у него секретаршей, — сказал Зяма. — Или стенографисткой. И была влюблена в него.

А в наши дни и воздух пахнет смертью,
Открыть окно — что жилы отворить...

Произнес ли кто-то из нас тогда эти пастернаковские строки? Или просто подумались? Но они держатся в памяти, связанные именно с этой встречей.

Через два года, здесь же, у Никитских Ворот, я слушал речь Молотова. В тот день я шел к Саше Гинзбургу, еще не ставшему Галичем, делать какие-то поправки к пьесе, написанной нами вместе с Севой Багрицким. Севы в Москве не было, он отдыхал слевой Тоомом и Наташей Антокольской в Коктебеле, и поправки предстояло делать без него — завтра, в понедельник, их надо представить в репертком. Уже не помню, зашел я к Саше или просто позвонил. Какие поправки?! Война! Война, оборвавшая привычную жизнь, а с ней и нашу юность.

И вот еще одно воспоминание: я иду с Зямой по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади. Откуда взялся Зяма? Кажется, я позвонил ему, и мы встретились у одной нашей общей знакомой, жившей на Арбате. По-видимому, долго у нее не засиделись. Возле Литературного института навстречу нам стремительно, или, вернее, целеустремленно — шагают Борис Слуцкий, Павел Коган и Миша Кульчицкий. Они направляются в райвоенкомат — проситься на фронт.

Всего четыре месяца прошло со дня премьеры «Города на заре». В студии готовились к репетициям «Рюи Блаза» и нашей «Дуэли». Но мы с Зямой не сомневались — в такие дни надо не репетировать, а воевать. И тоже отправились в военкомат. Мы были освобождены от действительной службы, и у обоих в военных билетах стояло: «Годен. Не обучен». Ничего, обучат!

От моего дома в Останкине до сада имени Калинина пять минут ходьбы. Оттуда до наших окон еще недавно доносились звуки духового оркестра. Там смотрели кино, танцевали, просто гуляли. Сейчас из черных репродукторов над входом в сад до нас, повторенные эхом, доносятся только предупреждения: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Во дворе нашего дома вырыта щель, на случай бомбежки.

Второй месяц войны. Почему Зяма, живший у Тимирязевки, призывался здесь, у нас в Останкине, в клубе Калинина, не знаю. Но мы сидим на садовой скамейке возле продолговатого деревянного здания кинотеатра, где заседает призывная комиссия, и ждем, когда выкрикнут его фамилию.

Для того чтобы понять, что такое война, есть только один способ — пройти через нее. И хотя Москву уже бомбили, мы тогда еще плохо представляли, что нас ждет. А потому, сидя на скамейке в саду имени Калинина, перед расставанием на долгие военные годы, не думая, не веря, что можем никогда больше не увидеться, мы, как обычно, шутили и смеялись.

Нам было по 16 лет, когда мы познакомились. Мы оба учились в ФЗУ электрокомбината, я на слесаря-инструментальщика, он на слесаря-лекальщика, специальности более тонкой. Впрочем, ни он, ни я вовсе не мечтали отдать этим

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

профессиям всю свою жизнь. ФЗУ — это два года рабочего стажа, необходимые в те времена для поступления в какой бы то ни было институт. Однако все сложилось иначе: ни он, ни я в институт так и не поступили.

15 ноября 1932 года — смешно, но я почему-то помню эту дату — мы оба пришли в просторное помещение на верхнем этаже одного из зданий электрокомбината поступать в заводской ТРАМ — Театр рабочей молодежи, руководителем которого был бывший актер Василий Юльевич Никуличев. Трамбовцы звали его по-домашнему, дядей Васей. Со временем Зяма придумает к его имени рифму: «Дядя Вася, иди одевайся». Василию Юльевичу, человеку, не лишенному амбиций, название «драмкружок» не нравилось. Потому и ТРАМ. Впрочем, электрокомбинатовский ТРАМ и не был обычным драмкружком. Кроме репетиций пьесы Валентина Катаева «Ножи», там шли ежевечерние занятия — техника речи, биомеханика с Зосимой Злобиным, учеником Мейерхольда, танец с Верой Ильиничной Мосоловой, известной в свое время балериной, история театра. Участь в ФЗУ, хотя и в разные группах, но в одной смене, мы возвращались с ним домой на тридцать девятом трамвае. Жил он далеко, в Астрадамском проезде, но частенько ночевал у своих родственников на Грохольском. Тридцать девятый шел в Останкино, полдороги было нам по пути. Полдороги — по пути. Так оно и вышло, в масштабе нашей жизни.

У дружбы, как у всякого чувства, как и у любви, есть свои сроки. Но в отличие от любви, они определяются не самим чувством, а чем-то иным. Наша дружба не то чтобы оборвалась, но сделалась больше памятью о себе, чем самой дружбой, когда наши пути привели нас в разное окружение — его в театр Образцова, на эстраду, меня в драматургию. Было еще и кино, но как-то на разных параллелях. Лишь однажды пути наши чуть не пересеклись, когда Володя Бычков пытался пригласить его сниматься в картине «Мой папа — капитан». Почему-то этого не произошло. Не состоялось. Но это уже не в ключе дружбы — просто пересечение.

Первое время после войны мы встречались очень часто. Пытались втроем, вместе с Мишей Львовским, написать пьесу о человеке из прошлого, попавшем в наши дни. Тогда это была еще свежая идея. Помнится, сочиняли, на этот раз с Галей Шерговой, лирическую песню, в которой был припев: «Липа цветет, липа цветет...» Песню не дописали, поняли всю двусмысленность этого лирического припева. Пьеса тоже так и не написана — охладели к самому замыслу.

Потом стали встречаться все реже и реже, хотя до самых последних лет его жизни он бывал у меня, мы виделись с ним у Миши Львовского, я заходил к нему, встречались в Доме кино, в других местах. Я по-прежнему любил его, да и он, смею думать, меня. Но у него была своя жизнь, у меня — своя.

С Михаилом Львовским их связывала многолетняя дружба, которая началась в доме, где они оба жили, где и я познакомился с Мишей.

Мы сидели в Зяминой комнате, когда он пришел. Зяма потребовал, чтобы он читал свои стихи. Уговаривать не пришлось. Он читал. Зяма поглядывал на меня с гордостью за своего друга, чувствуя, что Мишины стихи, как говорится, «доходят» до меня. У Зямы было замечательное свойство — он принимал успехи своих друзей как свои собственные. Но никакая дружба не избавляла их, в том числе и Львовского, от шуток на их счет. Миша увлекался звуковоспроизводящей аппаратурой и целыми днями возился с проигрывателями, радиоприемниками, адаптерами и колонками. Зяма посмеивался: «Если по его приемнику передадут сообщение о начале войны, он скажет с блаженной улыбкой — «Какой звук, а?!».

Но то, что он посмеивался над Мишиными слабостями и причудами, ничуть не мешало их дружбе. Вместе с ним он написал пьесу «Поцелуй феи», шедшую в театре Сатиры, и «Танцы на шоссе», которую должен был ставить Толя Эфрос, но которую быстро запретили. Но по-настоящему сказалась эта дружба даже не в совместном творчестве, а когда Мишу постигла страшная беда — мучительная, неизлечимая болезнь, которая в конце концов привела его к преждевременной смерти. Никто из его друзей не принял такого участия, не сделал для него столько, сколько сделал Зяма, чтобы помочь сохранить его жизнь.

Еще одна дата — 19 мая 1938 года — день создания так называемой арбузовской студии. В тот день на квартире у Валентина Николаевича собрались человек десять. Кроме самого Плучека и Александра Гладкова — четверо из нашего бывшего театра, несколько студентов училища при театре Мейерхольда, двое профессиональных актеров. Арбузов, один из инициаторов создания студии, отсутствовал — он был на футбольном матче, пропустить который мог только если бы лежал на больничной койке, без сознания. Не было и Зямы: то ли не смогли его предупредить, то ли был занят на спектакле, уже не помню.

Идея написать пьесу самим, методом импровизации, принадлежала Арбузову. Самое удивительное то, что она была осуществлена. Мы написали «Город на заре», пьесу о строительстве Комсомольска. Мы сами придумывали образы наших героев, писали их биографии. Эти наши сочинения читались в Раздорах, на даче у Милы Нимвицкой. Наши руководители — мы называли их «авгурами» — были в состоянии неподдельного энтузиазма. Арбузов сказал, что по этим заявкам можно написать не одну пьесу, что каждая заявка тянет на отдельную пьесу.

Из всех, кто в тот летний день читал свои заявки, только двое, Мила Нимвицкая и Зяма, да еще Аня Богачева (Арбузова), пришедшая к нам несколько позже, осуществили свои замыслы и довели их до спектакля.

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

Начинался «Город на заре» с прибытия парохода «Колумб» с будущими строителями, добровольцами со всех концов страны — из Москвы, Иркутска, Ленинграда, Тулы, Саратова, Саранска, Одессы. Из Одессы приезжает и Зямин герой, Веня Файнберг.

Зямина заявка на роль Вени Файнберга сохранилась — у меня лежат две школьные тетрадки, на одной — портрет Гоголя, на другой — Калинина. На первой рукой Зямы написано: «Глупая воображения» — не мог удержаться от легкой самоиронии. В одной из тетрадей — описание задуманного им героя, его биография, во второй — отношения с другими персонажами. Очень многое из задуманного Зямой вошло в спектакль, в том числе и его отношения с Белкой Корневой, героиней Милы Нимвицкой, даже отдельные детали и реплики. Не было в его замысле только бегства из города, это — из моей заявки на роль Миши Альтмана. Уже на этапе написания сценария пьесы литературной бригадой, в которую входили и мы с Зямой, обе эти роли слились в одну, появился некий гибрид — Веня Альтман.

Зяма не сразу принял такую трансформацию своего образа: его герой обладал сильным характером, а мой Миша оказался человеком слабым. Предполагалось, что работать над этой ролью мы будем оба, поочередно, однако вся роль, кроме эпизода в тайге, после бегства из города, создана Зямой.

Веню Альтмана я так и не сыграл. Мне досталась роль «бесхозная», не имевшая своего автора, родившаяся в комнате Александра Гладкова, где собиралась литературная группа, — секретаря комсомольской организации города. Но и ее сыграть не довелось — по причине моей молодости, как объяснили мне «авгуры», а вернее, потому, что актером я был неважным. Играл его Саша Галич.

В свое время открытие студии и премьеры «Города» были событием весьма приметным. И имя Зямы Гердта наряду с именами других исполнителей — Тони Тормазовой, Милы Нимвицкой, Ани Богачевой — с уважением произносилось на студенческих обсуждениях в ИФЛИ и МГУ. Его Веня вызывал у студентов споры, а у студенток — восторг и любовь.

Напротив консерватории была школа, где мы репетировали свой «Город на заре» и где Зяма, заведая «осветительным цехом», мастерил из консервных банок осветительные приборы. Репетиции, репетиции, работа над этюдами. Морозы сорокового года. В школе холодно, кто-то из ребят, уходя на каникулы, выбил стекла в окнах.

Я часто вспоминаю Зямино остроумие, его легкость, постоянную готовность к шутке и розыгрышу. Но это лишь одна сторона тогдашнего Зямы. Когда начиналась репетиция, в нем появлялись и собранность, и сосредоточенность. Работал он с полной отдачей. Да и наши отношения имели бо-

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

лее серьезные основы, чем присущая нам обоим склонность к иронии. Мы создавали театр, и это было смыслом нашей жизни. Главным тогда была студия. И когда наше понимание того, что для нее хорошо, а что плохо, не совпадало, мы порой доходили до ссоры.

Наша студийная нетерпимость и требовательность подчас приводили к тому, что мы периодически кого-нибудь исключали из студии. Правда, ненадолго. Так было и с Сашей Галичем, и со мной, и с Зямой. Исключали его, если мне не изменяет память, после того, как мы перебрались из школы в клуб Наркомфина. Там была бильярдная, куда часто навевались в свободное от репетиций время и Саша, и Зяма. Вот за игру на бильярде в то время, когда шли репетиции, его и исключили. Это, как, впрочем, и курение, считалось нарушением студийной этики. Смешно, но получалось так, что я, будучи членом совета студии, исключал Зяму, а через какое-то время он — меня. Но проходило немного времени, и все это забывалось, и мы сами над этим посмеивались. Мы были молоды, нетерпимы, но самое главное — любили друг друга.

В пяти минутах ходьбы от школы, где мы репетировали, находилась комната Севы с оставшимися от его отца, Эдуарда Багрицкого, аквариумами, со старой Севиной нянькой, ходившей за ним. Здесь мы — Сева, Миша Львововский, Саша Галич, Зяма и я сочиняли песенки и сценки для капуст-

ников, слушали молодых поэтов или просто, что называется, трепались. Иногда, впрочем, и выпивали, хотя называть это выпивкой, учитывая сегодняшние масштабы этого занятия, конечно, смешно.

Была и комната Милы Нимвицкой на Покровском бульваре, где мы выпускали стенгазету. Идея выпускать стенгазету принадлежала Плучеку, периодически пытавшемуся придать студии вид нормального советского коллектива, — попытки, обреченные на полный провал. Мы все-таки не были, да и не могли быть, советским коллективом. Встретили мы предложение Плучека без энтузиазма — в самом слове «стенгазета» было что-то казенное, вынужденное, скучное. И мы, под руководством Зямы, вернее, под напором его неиссякаемого остроумия, преобразили это понятие. Стенгазеты меняли названия — «Осенний лист», «Весенние маневры», а одна из последних вообще не могла называться стенной газетой — она была вылепленной Милой Нимвицкой из папье-маше полуметровой вазой.

Наша неистощимость в юморе привела однажды Валентина Николаевича едва ли не в ярость. В дни, когда нас выгоняли из здания школы и мы могли оказаться без помещения, вышла стенгазета под названием «Ситуация», в которой, вопреки действительно сложной ситуации, мы хохмили, отнюдь не соблюдая меры. Мрачно глядя на эту «Ситуацию», Валентин Николаевич произнес более чем странную фразу: «В армии юмор не ну-

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

жен». Эту фразу Зяма тут же взял на вооружение, применяя ее в самых неожиданных обстоятельствах.

Именно здесь, на квартире Милы Нимвицкой, произошло превращение Зямы в Зиновия Гердта. Случилось это незадолго до показа двух актов нашей пьесы представителям тех ведомств, от которых зависела дальнейшая судьба студии. И тут кому-то пришла мысль, поначалу шутливая, что Зямина фамилия звучит несерьезно и недостаточно благозвучно (Храпинóвич. — *Ред.*). Не потому, что еврейская, — никому не пришло в голову считать неподходящей фамилию Саши Гинзбурга. Решили, против чего не возражал и Зяма, придумать ему псевдоним.

Посыпались предложения, самые неожиданные, подчас не лишённые насмешливого подтекста. Они отвергались одно за другим. Кто-то предложил фамилию известной балерины, Елизаветы Гердт.

Предложение было встречено одобрительно, в том числе и Зямой.

— Только обязательно — Герд-т! С буквой т на конце, — категорически заявил Арбузов.

— Герды-ты — это звучит гордо-то, — сострил кто-то. Так Зяма, Залман, как мы часто его называли, стал Зиновием Гердтом.

Событие это было отмечено и в «Студиаде», которая, как и пьеса, сочинялась коллективно — Арбузовым, Плучеком, мной и самим Зямой, на квартире Гладкова.

Друзья о Гердте

...Это Зяма.....

Что от имени отрекся,
Ради клички сладкозвучной.
И как только он отрекся,
«Гердт» — прокаркал черный ворон.
«Гердт» — шепнули ветви дуба.
«Гердт» — заплакали шакалы,
«Гердт» — захохотало эхо.
И услышав это имя,
Он разжег костер до неба
И вскричал: «Хвала природе!
Я приемлю эту кличку!»

Любопытно — Зямин Веня привозит в будущий город футляр со скрипкой. Но — цитирую по его заявке — «когда его просят сыграть, он молча протягивает левую руку и сгибает пальцы в кулак. Средний палец зловеще торчит, несогнутый». В результате несчастного случая он лишился возможности продолжать учение в консерватории и играть на скрипке. Почти мистика.

Тяжелое ранение, двухлетнее пребывание в госпиталях, несгибающаяся нога, казалось, ставили крест на его актерском будущем.

«Я, как видишь, опять в госпитале, — пишет он мне на фронт в начале сорок пятого. — Претерпел, брат, десятую операцию. Одначе не дамся голым в руки. Фигурально, конечно, а буквально — постоянно. Приходится, гот дамм! В этот присест хочу окончательно долечиться. Надоело все до черта!»

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

«А я? — пишет он в другом письме. — Изволь: в лучшем случае — актер на хромые роли. Но я зол, зубаст и черств. Думаю, что эти мои новые качества пригодятся. Жду сухих тротуаров, а то на костылях невозможно. Как только повеснеет, уйду из больницы и буду драться». «Зол и черств» — это, конечно, преувеличение, своего рода самоподбадривание. Злым и черствым он никогда не был и не стал.

Я пытаюсь, сквозь нагромождение годов и событий, разглядеть его — таким, каким он был в те, довоенные годы. Невысокий, худощавый, черно-волосый и темноглазый, с густыми бровями, с годами еще более погустевшими, с быстро меняющимся выражением лица, от веселого, озорного до серьезного, задумчивого и даже грустного. Но почему-то возникают лишь какие-то случайные воспоминания, как их называет Милан Кундера — фотографии.

...Концерт в Большом зале Консерватории, поет Доливо. Поет песни Бетховена: «Кто врет, что мы, брат, пьяны? Мы веселы просто. Ну, кто так бесовестно врет?» Мы с Зямой в толпе, аплодирующей певцу, вызывающей его на бис. И вдруг Зяма кричит: «Требуем полного Долива!» Мне смешно, и я вместе с ним кричу: «Полного Долива!»

...На последние деньги пьем в только что открывшемся коктейль-холле достаточно дорогой для нас напиток, вместе с симпатичной девушкой,

очередным Зяминим увлечением. Зяма шепотом спрашивает: «У тебя что-нибудь осталось?» Я пытаюсь незаметно нащупать в кармане какую-то мелкую купюру, отдаю ему. Выходим на улицу. Зяма останавливает такси. «Мы вас отвезем», — говорит он девушке. «Зачем? — удивляется она. — Я живу совсем близко». Но все же, довольно посмеиваясь, садится в такси. Через два-три квартала выходим и провожаем ее до подъезда. Трамваи уже не ходят. Мы бродим по засыпающему городу.

...Мой день рождения. Сколько мне? 18? 21? Не помню. Мама хлопочет у стола. Зяма поздравляет ее и, одобрительно оглядев заставленный закусками стол, потирает руки и важно спрашивает: «А сладкий стол будет?» — «Будет, будет!» — смеется мама, она давно знает Зяму и относится к нему с нежностью. По сей день живет в нашем доме этот вопрос: «А сладкий стол будет?»

С годами Вани, Ванюши, Ванечки становятся Иванами, Иванами Петровичами. Зяма оставался Зямой. Нет, конечно, к нему обращались по отчеству, называли Зиновием Ефимовичем люди официальные и малознакомые. Для тех, кто его знал, он как был, так и остался Зямой. Это не было просто привычкой, это было проявлением особой, почти интимной формы его восприятия. Зрители знали его как Зиновия Гердта, но и они частенько с любовью обращались к нему по имени. Он этим

Исай Кузнецов, сценарист, писатель, драматург

гордился. Однажды сказал: «Самое большое из всего, чего я добился, это то, что зрители называют меня Зямой».

За этим не просто популярность, не просто симпатия. Он действительно оставался таким, каким был в юности, — редкий случай самосохранения личности в тех условиях, в каких проходила наша жизнь. Да, старел, лицо покрывалось морщинами, седел. Делался глубже, значительней. Но всякий раз, встречая его в домашней обстановке, в гостях, в Доме кино, глядя на него по телевизору, я узнавал его таким, каким знал в молодости. Он не менялся в самом главном — в естественности поведения. Ему была чужда любая поза. Он никогда не предавал самого себя. Никто никогда не видел его подписи под сомнительными, угодными начальству письмами. Не менялось с годами и его чувство юмора, а юмор его был легким и заразительным. И таким оставался. А как часто у многих и многих остроумие превращается в злословие, а юмор в пустое зубоскальство! Да, как ни странно, в остроумии есть своя доблесть. И если она есть, жизнь предстает как подвиг.

У Зямы была такая доблесть. И не только в остроумии.

Когда я думаю о Зяме, то спрашиваю себя: будет ли понятно нашим внукам и правнукам, что значило для нас это имя — Зиновий Гердт — и чем он был для многих-многих миллионов телезрителей, регулярно смотревших «Чай-клуб»? Не знаю. Многое

Друзья о Гердте

окажется для них непонятым, наивным, старомодным.

Но то, что является основой его удивительного таланта, — естественность, доброжелательность, умение слушать своего собеседника, редкое, беспримерное умение, его улыбка, его смех, окажется — я в этом убежден — понятным и близким для тех, кто способен к восприятию добра. А таких во все времена хоть и не так много, но все ж и не так уж и мало.

Михаил Львовский, поэт, драматург, сценарист

Я познакомился с Гердтом как раз в тот год, когда в той студии, работавшей по вечерам, а часто и по ночам, в физкультурном зале средней школы (той, что была напротив Московской консерватории) заканчивались репетиции первого акта пьесы «Город на заре».

Мы с Зиновием Ефимовичем были соседями, жили в деревянном двухэтажном доме (2-й Астродамский тупик, чуть дальше — трамвайная остановка с романтическим названием «Соломенная сторожка»). Дворик дома на 2-м Астродамском был такой, что в лютые морозные зимы здесь лихо рубили дрова, а в жаркие летние дни на керогазах варили варенье в медных тазах, а подчас, без всякого стеснения, мыли головы. На крыльцо выходили чистить ботинки. Весной тридцать девятого я часто наблюдал, как очень молодой

человек, через час после возвращения с работы, выходил на крыльцо, одетый, будто на праздник, и тщательно наводил глянец на модные черные туфли. Голову он, по-моему, тоже мыл слишком часто. Мне, студенту Литинститута из поэтического семинара И. Сельвинского, в котором учились Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, Евгений Агранович, а позже и Сергей Наровчатов, этот молодой человек казался пижоном. В нашем семинаре представление о том, как должна выглядеть одухотворенная личность, никак не вязалось со сверкающими туфлями и брюками с отутюженной складкой. Я снисходительно посматривал на молодого человека, занимающегося чем-то несерьезным в какой-то самодеятельной студии, а тот, как потом выяснилось, так же снисходительно относился ко мне — разве в каком-нибудь вузе можно научиться профессии поэта?

Но любопытство молодого человека побороло снисходительность, и однажды он попросил меня почитать стихи. Я, уже слегка поднаторевший в выступлениях на поэтических вечерах, с удивлением обнаружил, что внимание и сосредоточенность слушателя привели меня в некоторое замешательство, и читал хуже, чем обычно. Слушатель стал помогать мне, выражением лица одобряя лучшие строчки.

В общем, дело кончилось благополучно, и мой новый знакомый объявил, что я должен непременно почитать стихи в его студии. У них, видите ли, принято интересоваться смежными областями

Михаил Львовский, поэт, драматург, сценарист

искусства — поэзией, живописью, музыкой. Попав в физкультурный зал средней школы (той, что напротив Московской консерватории), я сразу же заметил, что все студиицы были принаряжены, словно на праздник. А приходилось им перед тем как начнется «прогон» первого акта, подметать пол, сдвигать столы, образующие сценическую площадку, и многое другое. Будущий народный артист, а тогда электромонтажник на строительстве Московского метрополитена, отвечал за свет. Он устанавливал самодельные софиты, сооруженные из жестяных банок с надписью «Монпансье». Руководители студии — Арбузов и Плучек — тогда совсем молодые люди, казалось, не обращали никакого внимания на происходящее вокруг. Все должно было устраиваться тихо, без суеты, как бы само собой.

Ощущение необычной, жесткой студийной дисциплины возникло у меня через несколько минут пребывания в этом зале. Мой новый знакомый и не посмотрел в мою сторону.

Но вот Плучек захлопал в ладоши. Воцарилась полная тишина. Режиссер и драматург сели за специальный столик, пригласив к этому столику и меня. Несколько тихих слов — и наше знакомство состоялось. А потом режиссер спокойно и не слишком громко сказал: «Начали!»

В «Городе на заре» Гердт был на сцене одновременно автором и артистом. Всеми силами руководители студии старались победить в нем автора

и оставить только артиста. Но он убежденно и сознательно защищал своего героя от всех упреков, которые могли бы возникнуть в те суровые предвоенные годы по отношению к созданному им образу.

Критика тех лет воевала с неудачниками на сцене и в литературе. Временами — она это делает и сейчас — не принимая в расчет, что неудачники — чаще всего люди, недовольные собой, а следовательно, ищущие. Гердт всегда считал, что искусство должно защищать именно таких людей. Мало того, он верил, что его герой Веня Альтман в решительную минуту может стать очень сильным. И он не ошибся.

Став другом студии и членом ее «литературной бригады», я привел к студийцам многих своих друзей-поэтов: Павла Когана, Мишу Кульчицкого, Женю Аграновича, Сережу Наровчатова, Давида Самойлова. Между молодыми поэтами и театром-студией возникла дружба, продолжавшаяся вплоть до войны.

По вечерам я вместе с Зиновием Гердтом чистил ботинки на крыльце дома по 2-му Астродамскому тупику, перед тем как отправиться в студию. Иногда возвращаться приходилось ночью. Трамваи не ходили. Мы шли почти через весь город пешком и порой дрожали от холода. В одну из таких ночей Гердт снял с себя пиджак.

— Ты с ума сошел? — сказал я.

Михаил Львовский, поэт, драматург, сценарист

— Так теплее, — ответил он и пошел медленным шагом.

Через минуту я заметил — Гердт перестал дрожать. Я снять пиджак не решился.

В послевоенные годы, уже став автором огромного количества эстрадных миниатюр и обзрений, написав в содружестве со мной комедии «Поцелуй феи» и «Танцы на шоссе» (Московский театр Сатиры и Ленинградский им. Пушкина), Зиновий Ефимович стал обдумывать пьесу о судьбе актера. Все, что бы он ни писал, всегда носило очень личный характер. Мне кажется, что фрагмент из ненаписанной пьесы, где молодой актер, которого автор назвал Сашей, лежит в отдельной палате военного госпиталя (конечно же, Саша — старший лейтенант саперных войск, и никто не знает, что в «гражданке» он был артистом), лучше любого интервью восполнит образовавшийся пробел в биографии Зиновия Гердта:

«Итак, Саша считался «стеклянным» больным. Он не мог даже шевелиться, потому что от малейшего движения терял сознание. Из соседней общей палаты доносились звуки аккордеона, и женский голос выводил слова популярной песни тех давних времен: «То ли в Омске, то ли в Томске, то ли в Туле — все равно...»

— Открыть дверь пошире, там артисты выступают? — спросила Сашу санитарка.

— Валяй, — ответил «стеклянный» больной.

Песню стало лучше слышно. И когда раздался шелест аплодисментов, в дверях появился врач.

— Кто открыл дверь? — спросил он строго.

— Я захотел, — «Стеклоанному» больному разрешалось многое.

— Откуда они? — спросил он про артистов.

— Московские, а что?

— Пусть зайдут.

— Не надо тебе.

— Я хочу.

— Жрать не хочешь, пить не хочешь, даже курить...

— Пусть зайдут.

— Очень хочешь?

«Стеклоанный» промолчал.

— Он ни разу ничего не просил, — сказала санитарка.

— Вот и попросил, — одобрил «стеклоанного» доктор. — Молодец!

«Штык!» — сказал про себя «стеклоанный» в то время, когда доктор вынимал у него из-под мышки градусник.

— Раскаленный! — добавил доктор, посмотрев на ртутный столбик.

— Они уходят! — забеспокоился больной.

— Позови! — приказал санитарке доктор. — Всех или только лучшую половину? — это он спросил уже у Саши.

— Всех, всех!

Санитарка ушла.

— Сколько? — спросил раненый про температуру.

— Хватает.

— Я желтый?

— Красивый. Как апельсин с елки.

В палату, стараясь держаться как можно бодрее, вошли участники актерской бригады: три девушки и двое мужчин. Один из них для лихости растянул мехи аккордеона. Аккордеон после мажорного перелива громко рывкнул, когда мужчина резко сжал его.

— Простите. Вот этого не надо, — сказал врач. — Ранение серьезное, а гипса у нас нет две недели. Так что наш гвардии старший лейтенант отзывается даже на звук. Но теперь мы в порядке. Мы уже чего-то хотим. Вот захотели артистов увидеть.

— Это прекрасно, — сказала одна из девушек. — Мы можем выступить для вас одного. Вы любите стихи?

— Смотря какие, — неопределенно ответил раненый.

— «Дрожа от русского мороза, однажды фриц, в окопе сидя...» — задекламировал один из мужчин, подыгрывая себе на аккордеоне.

— Не надо, — тихо попросил «стеклянный».

— Понял, не буду, — поспешно ответил артист.

— А что бы вы хотели? — спросила все та же девушка.

— Картошку в мундире. Горячую.

— Молодец! Штык! — обрадовался доктор. — Но сушеную картошку в мундир не оденешь. — И попросил девушку: — Прочтите нам что-нибудь не про фрица.

— Гекзаметры, — предложил раненый.

— Что? — испуганно переспросила девушка.

— «Гнев, о богиня, воспой...» — сказал «стеклянный», как бы сообщив название стихотворения.

Пристально глядя на лежащего в кровати, давно не бритого человека, девушка неуверенно начала:

— «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»

Больной подхватил следующую строчку, и они прочли ее вместе:

— «...Грозный, который ахенянам тысячу бедствий содеял...»

Оба замолчали. Доктор спросил у другой девушки:

— Что это они?

— В театральных училищах есть такое упражнение по технике речи.

— Саша, — сказала первая девушка.

— Саша!!! Шурик!!! — заорали остальные.

Первая девушка бросилась к раненому.

— Не смейте! — крикнул доктор.

Но было поздно.

— Что с ним? — спросила девушка в ужасе.

— Я же предупреждал. Камфору! Он без сознания. Уходите.

И они ушли».

Так все это происходит в первом акте недописанной пьесы Зиновия Гердта. Как это было в жизни, Зиновий Ефимович не раз рассказывал в

интервью. Конечно же, Саша — это Гердт, а среди артистов, выступавших в госпитале, оказались его знакомые по Москве — Лариса Пашкова и Саша Граве.

Я привел отрывок из ненаписанной пьесы, вместо того чтобы процитировать интервью, не потому, что не хотел повторяться. Дело в том, что старший лейтенант Саша почему-то напомнил мне в этом отрывке Веню Альтмана. Я не верю, что Веня из «Города на заре» был бездарным скрипачом. Просто в сценическом времени той давней пьесы не хватило места, не добралась она как-то до звездного часа будущего прекрасного скрипача. Продолжи теперь Зиновий Ефимович свою недописанную драму, и он пришел бы к торжеству того человека, который в молодости считался неудачником.

Гердт принадлежит к той категории людей, которые «делают себя». Категория эта весьма распространена в наше время. Но среди «делающих себя» есть, с одной стороны, люди холодного расчета, а с другой — доброго сердца.

Всю жизнь Зиновий Гердт не давал себе спуска, избегал поблажек и уже заслуженных привилегий ради того, чтобы нести радость людям. В арбузовской студии он двигался, как молодой Плучек, постигший все премудрости биомеханики мейерхольдовской школы. Студийцы даже поддразнивали за это Гердта. Но как пригодилась артисту та самая биомеханика, когда пришлось ему

вырабатывать походку с не сгибающейся после ранения ногой!

И, странное дело, даже знаменитая кукла, которую водил Гердт у Образцова, как будто тоже усвоила законы биомеханики, за которую его поддразнивали в студии. Она чем-то напоминает самого артиста. Всегда ощущая это, я с огромной радостью прочел слова Сергея Герасимова, которому довелось однажды наблюдать работу Гердта за ширмой кукольного театра. «Он отдал ей (кукле) все — жизнь, опыт, иронию. Он словно бы становится рабом созданного им феномена. Но в этой кукле живет он сам».

В послевоенные годы изменилось представление о «радиогеничности» дикторских голосов. Прежде они были официальнее, абстрактнее. Пережив Великую Отечественную войну и послевоенные трудности, все мы жаждали разговора по душам и на равных. Потому-то и у молодых поэтов-фронтовиков появились те мужественные и в то же время интимные, человеческие интонации, которые сразу нашли отклик в сердцах многомиллионного читателя.

Зиновий Гердт, прошедший войну в качестве старшего лейтенанта саперных войск, вернувшийся с войны тяжелораненым, заговорил с экрана «от первого лица», как положено лирическим поэтам. Конечно, его интонации были актерскими, но в то же время чем-то сродни и поэтическим. Он говорил как бы от имени «ли-

рического героя», прошедшего те же огонь, воду и медные трубы, что и сидящие в зале зрители. В самом деле, чем тогда для нас была история, рассказанная в фильме «Фанфан-Тюльпан» с великолепным Жераром Филипом в заглавной роли? Шутливо-романтическим рассказом о том, чего может быть и вовсе не случилось. Именно так и комментировал фильм «историк» — Гердт. Его «историк» был нашим современником, разговаривающим с залом на равных и от первого лица с полной верой в то, что самый тонкий юмор будет воспринят, самый тихий вздох печали вызовет отклик.

Зиновию Ефимовичу с самого начала актерской работы враждебен довольно распространённый принцип — «давай попроще, чтобы до всех дошло». И зритель с радостью воспринял интеллектуальность его «лирического героя», противостоящую распространённому прежде простецкому обаянию рубахи-парня.

Было время, когда Гердт выступал на эстраде в качестве автора и исполнителя так называемых дружеских шаржей на популярных артистов и поэтов. Я помню его за кулисами, разговаривающим с конференсье очередного эстрадного спектакля, в окружении других артистов, ждущих своего выхода.

«Сейчас твой номер», — внезапно обрывает Гердта конференсье и, приосанившись, выходит на сцену. На сцене конференсье превратился в

Друзья о Гердте

совсем другого человека, не похожего на того, что секунду назад разговаривал с нами. И голос у него другой, и «подающие» выступление Гердта интонации.

Появляется Зиновий Ефимович, кивком благодарит конференсье. В нем ничего не изменилось, на сцену вышел тот же человек, который только что стоял в окружении артистов за кулисами. И голос тот же, когда он объясняет то, чем собирается заняться у микрофона, который он между делом прилаживает так, чтобы было удобно работать. «Вот оно, высшее мастерство, — шепчет мне на ухо впоследствии очень знаменитый конференсье. — Я так никогда не сумею...»

Лидия Либединская, писатель и литературовед

Вспоминается яркий весенний день: сижу на скамейке возле нашего дома в Лаврушинском. Из дверей Сберкасы охраны авторских прав, куда перечисляют гонорары, выходит Зиновий Ефимович — Зяма, Зямочка, как с нежностью называли его друзья. Вот радость-то! Обнялись, расцеловались.

— Ты что здесь сидишь? Ждешь кого-нибудь или ключи забыла?

— Да нет, солнышко-то какое, загораю...

— Загораешь?! Молодец! А у тебя деньги есть?

— Есть.

— Жаль... И хватает?

— Даже на гостей хватает! Зайдем, пообедаем...

— Жаль, тороплюсь. А у меня лишние, хотел поделиться!

«Лишних» денег у него никогда не было, все зарабатывалось изнурительным актерским трудом, а вот желание отдать, одарить, обласкать было всегда. И он отдавал, всего себя отдавал, одаривал всех нас своим высоким искусством.

Плывем большой группой на теплоходе из Москвы в Петербург, с нами Зиновий Ефимович и его очаровательная жена Татьяна Александровна. Подолгу стоим и сидим на палубе, глядя, как проплывают мимо то низкие и открытые, то холмистые, лесом покрытые берега, небольшие селения, а то и вовсе одинокие бревенчатые избы, мирно пасутся пестрые коровы, доносится лай собак — сельская идиллия. В такие редкие минуты, когда кажется, что ничего плохого не может вершиться на земле, даже разговаривать трудно, и только стихи могут соответствовать душевному состоянию. И Гердт читает стихи — Блока, Самойлова, Твардовского и, конечно, Пастернака. Сколько же он знает стихов, а ведь никогда у него не было стихотворных концертных программ, он не учил их наизусть специально, просто поэзия — часть его души, его жизни. Слушаешь его и хочется одного: чтобы никогда не кончались эти благословенные мгновения.

Но вот наш теплоход причаливает к какой-нибудь небольшой пристани, начинается обычная суета, и едва ступаем на берег, как Гердта уже окружает толпа людей. Одни просят у него

автограф, другие – разрешения сфотографироваться с ним, третьи подводят детей: «Скажите им что-нибудь, ведь они всю жизнь будут помнить, что видели живого Гердта!» И он терпеливо исполняет все просьбы... А продавцы сувениров готовы всё подарить ему или хотя бы продать за полцены, и я уже слышу, стоит Зиновию Ефимовичу отойти в сторону, как они с гордостью говорят другим покупателям: «Да что вы торгуетесь, у меня это сам Гердт купил!» И покупатель тут же сдаётся.

Ещё я всю жизнь буду помнить несколько счастливых дней, которые мы прожили вместе с Гердтами в Иерусалиме, в квартире моей дочери и ее мужа поэта Игоря Губермана. Зиновий Ефимович приехал тогда в Израиль, чтобы принять участие в спектаклях русского театра «Гешер» и тем самым помочь недавно организовавшемуся театральному коллективу. Играли они сначала в Тель-Авиве, а потом давали несколько спектаклей в Иерусалиме. «Зяма не любит гостиниц, можно ли остановиться у вас?»

Ответ угадать нетрудно. И вот уже на другой день вечером Игорь встречает Гердтов на междугородной автобусной станции. А потом долгое, за полночь, застолье, смех, шутки, нет-нет да и заглянет в дверь, словно невзначай, а на самом деле чтобы хоть одним глазком взглянуть на Гердта, кто-нибудь из соседей и тут же деликатно исчезнет.

Зиновий Ефимович — неистощимый рассказчик, слушать его можно бесконечно. Но он просит Губермана почитать стихи, и тот, хотя за столом стихи почти никогда не читает, не может отказать ему, и застолье все длится и длится...

А утром втроем — Татьяна Александровна, Зиновий Ефимович и я — идем гулять по Иерусалиму. И тут происходит то же, что и на приволжских пристанях. Буквально каждый третий прохожий останавливается в изумлении, потом протягивает руку или раскрывает объятия и задает один и тот же вопрос:

— Вы навсегда или в гости? — и тут же, сокрушенно покачивая головой: — В гости? Все равно СПАСИБО! — и торопливо лезет в карман, доставая записную книжку. — Распишитесь, а то ведь не поверят...

Не будет уже путешествия на белом теплоходе по волжским просторам, не будет прогулки по узким улочкам Вечного города Иерусалима, веселых застолий и серьезных, подчас до грусти, разговоров, но встречи будут, обязательно будут, надо только ждать их. И недавно я такой встречи дождалась: четыре вечера подряд на третьем канале телевидения Зиновий Гердт читал стихи Бориса Пастернака. Передачи назывались просто: «Гердт читает Пастернака». Он сидел в саду на скамейке, в такой знакомой домашней куртке, и под звуки веселой весенней капли (последней в его жизни) читал так, как всегда читал стихи

Лидия Либединская, писатель и литературовед

своим друзьям, вдруг перебивая сам себя воспоминаниями, рассказами, читал, наслаждаясь каждой строчкой, каждым поэтическим звуком. Нет, написать об этом гениальном чтении невозможно — где найти такие слова?

Роберт Ляпидевский, артист Театра кукол им. Сергея Образцова

С того самого момента, когда мы встретились с Зиновием Ефимовичем, я влюбился в него. Кумиров и идолов я никогда не имел, но в тот самый момент я увидел... Проводника. Проводника в своей будущей профессии. Были и другие замечательные, потрясающие актеры в театре Образцова, но Гердт... Он был моим учителем, моим сенсеєм, при том что он никогда не рассуждал о профессии перед коллегами или перед молодежью, типа «искусство — это, знаете ли...» или «профессия актера — такая сложная штука...» И не был занудой. Если кто-то его хотел о чем-то спросить, то подходил к нему, и разговор проходил сугубо приватно. А Гердт был немногословен и лаконичен: «Не жми», «Здесь у тебя недолёт», «А вот здесь немножко поиграй с текстом». Актеры впитывали все, что он давал, точнее дарил: знания, эксцентричный артистизм,

Роберт Ляпидевский, артист Театра кукол...

культуру речи. Он всегда был готов куда-то бежать и что-то делать. Лень для Гердта была понятием незнакомым и неизвестным. Он был настоящим учителем, хотя никогда не ставил себе задачи кого-то чему-то научить. Он подходил и говорил буквально две-три фразы: «Попробуйте так», «А что если вот так?» — и все вставало на свои места.

Когда я поступил в театр кукол Образцова, у меня было ощущение, что я попал в необыкновенное общество. Все улыбаются, здороваются, очень трогательно заботятся о молодежи. Мне казалось, что я попал в настоящий храм искусства.

Мы были младше Зиновия Ефимовича, но он был нашим другом и валял дурака вместе с нами. Он не требовал никакой дистанции по отношению к себе. Был абсолютно доступен, но не любил панибратства. Любил шутить, балагурить, но когда перегибали палку, он сразу же делал так, что человек сам осекался.

Сколько раз мы занимали у него деньги! Это было святое — получить зарплату (шестьдесят рублей, с вычетом всех налогов — за бездетность и прочих) и тут же занять у кого-нибудь еще трояк, пятерочку или десятку. Мы были молоды, спиртное стоило дешево, мы брали литр и ехали к кому-нибудь в гости, где уже как раз была готова закуска. Смех, анекдоты, танцы, философские разговоры... Гердт, едва уловив в глазах кого-нибудь из нас еще только

мысль о том, чтобы попросить займы, всегда сразу же спрашивал: «Сколько и до какого?» И всегда был очень щедр. Никогда не отказывал.

Он любил женщин. Эта страсть присуща всем нормальным мужчинам, но в нем она существовала в каком-то другом коэффициенте, в другом эквиваленте. Он был элегантен и даже экстравагантен по отношению к женщинам и абсолютно бескорыстен. Больше всего он ценил в женщине именно женщину, очаровательное создание, несмотря ни на возраст, ни на ее жизненные обстоятельства, ни на ее недостатки. В любой женщине он видел прежде всего хрупкое существо, которое нужно охранять и оберегать, ухаживать, как за цветком. Внешность ни о чем ему не говорила. «Женщина, — говорил нам Зиновий Ефимович, — это не мы с вами. Это другое создание. Она несравненно выше мужчины».

Однажды с Гердтом случилась очень смешная история. У нас в театре работала администратор Цецилия Михайловна Вортман. Она была всеобщей любимицей. Мы ее звали Цилей, и она была добрая до абсурда. Она была уже в годах, но очень любила себя, холила, была полненькой и невероятно обаятельной. Однажды мы приехали на гастроли в Ярославль. Наша Цецилия Михайловна как администратор всегда выезжала вперед труппы, подготавливала гостиничные номера по заказанному списку и так далее.

И вот наш автобус подъезжает к гостинице. Мы высаживаемся, разгружаем чемоданы, кофры и через стеклянные стены гостиницы видим Цилю, оживленно беседующую у окошечка администратора. Мы ее видим, а она нас еще нет. Гердт, двинувшись вперед, вдруг оборачивается и подает знак, чтобы мы все остановились и заткнулись. Подкрадывается сзади к Циле и хватает ее обеими руками за очень объемные ягодицы. Циля обычно на такие невинные вещи реагировала очень спокойно, типа: «Ой, кто это?» Здесь к нам поворачивается незнакомая женщина (как оказалось, профессор-химик, приехавшая на какой-то симпозиум) и... Прежде чем она успела что-либо вымолвить, Гердт трагически схватился за голову и замахал руками: «Боже мой!!! Господи!.. Простите меня, умоляю!.. Какой кошмар!» Мы все расхохотались, а дама, как ни в чем не бывало, говорит Гердту: «Ну что такого? Я понимаю, просто ошиблись жопой!»

Когда нашей Цецилии Михайловне рассказали эту историю, она, рассмеявшись, сказала Гердту: «Это я тебе отомстила. Как ты мог перепутать?!»

Когда театр был на гастролях в Баку, стояла дикая жара, сушь несусветная, дули песчаные ветры. До спектакля актеров кто-то пригласил в гости. Там они пирнули как следует — пили вкусное вино, произносили тосты. Но жара сделала свое дело. Гердта развезло так, что он буквально лыка не вязал. А спектакль вот-вот. До начала — около сорока минут. Администрация в панике.

Гердта раздели, посадили на стул во дворе и начали ведрами лить на него ледяную воду. Жаль, что никто не додумался сделать фотографии! Просто все были в такой растерянности, никто не ожидал что Зяма (!) может так напиться. Он пришел в себя и вот в этом страшном состоянии искусственного отрезвления от начала до конца сыграл спектакль — гениально! Что бы ни случилось — какая-то неприятность, неполадка, что-то не так с куклой, дурное настроение, простуда, температура, вино или грузинская чача — Гердт всегда играл на высшем уровне. Таких актеров — единицы.

Когда Зиновий Ефимович брал в руки куклу, она у него жила и работала. С мастерами он обсуждал каждую деталь: рычажки, педальки рта, всякие тяжести — одним словом, всё, каждый миллиметр тела куклы — он стремился к тому, чтобы из куклы она превратилась в продолжение его собственной руки. Чтобы нигде не терло, не мешало, чтобы рука чувствовала себя как в отлично сидящей перчатке, чтобы не было никакого сопротивления. От этого очень сильно зависит игра актера.

Своего Адама в «Божественной комедии» он сделал особенно роскошно после того, как ему смертельно надоело играть всяких чертей и дьяволов. Роль эта была настоящим алмазом. Как он произносил каждое слово! Его Адам был не просто юношей, первым мужчиной на Земле. Гердтовский Адам был человеком, которому безумно интересно

Роберт Ляпидевский, артист Театра кукол...

жить, познавать себя и окружающий мир. Познавать Еву, искушение через нее... Эта роль у Гердта получилась как нить. Как путь.

Конечно, талантливому человеку живется намного труднее, чем среднеодаренному. И недаром существует поговорка: «Таланту надо помогать, а бездарь и сама пробьется». На самом деле так оно и есть. В нашем театре были актеры очень талантливые, но они не умели за себя постоять. Гердт всячески старался поддерживать таких людей. Из-за этого у Зиновия Ефимовича частенько случались конфликты с Образцовым — на художественных советах, собраниях, обсуждениях. Он часто вставал и говорил: «Вот этого человека нужно обязательно поощрить, наградить. Посмотрите, как он делает свое дело! Талантливым людям нужно помогать, их нужно любить».

Помню, мы должны были выезжать куда-то за границу. И вдруг в списке не оказалось фамилии человека, у которого была в спектакле своя партия, который всегда делал свое дело честно и добросовестно и который раньше всегда выезжал с нами. Выяснилось, что его заменили на очень посредственного актера, которого кому-то надо было «вывезти». Гердт пошел к Образцову, положил на стол свой загранпаспорт и сказал: «Я никуда не поеду, если не поедет вот этот человек». Сергей Владимирович, конечно, не смог никуда деться. Справедливость была восстановлена.

Конечно, Сергей Владимирович Образцов по своему характеру не мог терпеть таких акций Гердта. Он понимал их по-своему, и в 1982 году Гердта вызвали в Министерство культуры. Там, в кабинете, тогдашний министр пересказал Зиновию Ефимовичу ультиматум Образцова: «Или Гердт, или я».

Пережил это событие Гердт спокойно и красиво, как мужчина. Переживания как такового видно, естественно, не было. Он жалел только об одном — что теряет любимую профессию, любимых партнеров, своих зрителей — после тридцати шести лет работы в этом театре. Он ушел тихо и благородно, не хлопая дверью, не предъявляя никому никаких претензий. Ушел за то, что защищал людей, за то, что при всех говорил правду, где бы это ни происходило — в театре, за границей или в советских посольствах разных стран. Он мог публично высказать свое мнение обо всей выездной системе, которая царила тогда не только у нас в театре, но и, наверное, во всей стране.

Уже задолго до своего изгнания Гердт знал, чувствовал, что его ждет, чем все закончится для него. Он даже иронизировал по этому поводу и вслух иногда размышлял: кто будет руководить группой актеров (в театре существовала система групп), когда он уйдет. А когда большинство актеров вникли в суть противостояния Гердта и Образцова, в группе моментально началась анархия.

Гердт был стержнем своей группы, очень строгим и требовательным при всей своей немного-

Роберт Ляпидевский, артист Театра кукол...

словности, и актеры остерегались делать ошибки при нем. Все как бы внутренне струнилось. Он был «культурой» коллектива во всех отношениях, и все боялись сфальшивить, никто не выкаблучивался, не выпячивался. Были люди, которые презирали Гердта и по углам шушукались, но при нем никто не открывал рта. Злопыхатели его боялись, потому что он всегда мог им ответить. Боялись его как по-настоящему талантливого человека. А врагов у Гердта было предостаточно. И в нашем театре тоже.

Зиновий Ефимович всегда был человеком рискованным. Он всегда что-то пробовал, не боялся идти наперекор. Он вообще ничего не боялся. Любил жизнь и очень хорошо понимал, что смерть — ее естественное продолжение, и при всем том, что уходить никому не хочется, бояться смерти — неумно.

Сергей Герасимов, режиссер и актер

Я не раз смотрел «Необыкновенный концерт» в Москве, в обычной обстановке, из зала. Но однажды — это было в Западной Германии, в Дортмунде, где я оказался во время гастролей Театра кукол, — мне случилось увидеть тот же спектакль из-за кулис.

Для меня всякого рода искусство, творчество равно интересно как своим результатом, так и процессом. И иногда даже больше процессом, чем результатом. Наблюдать за работой Гердта было огромным удовольствием. То, что он делал, было поразительно. У него необычайная приспособляемость к ситуации, умение откликаться на реакцию зала.

Кукле дает жизнь движение. У Гердта это движение удивительно разнообразно. Прodelывая за ширмой множество движений, которые, кажется,

ни проделать, ни описать невозможно, он одновременно ведет поиск интонаций, этих незабываемых интонаций своего конференсье. Вникая в жизнь куклы, он сохраняет и отчужденность от нее. Или это лишь кажущаяся отчужденность? Ведь только благодаря его прекрасному участию она живет на сцене. Он отдал кукле все — жизнь, опыт, иронию. Он словно бы становился рабом созданного им феномена.

Гердту было дано прекрасное свойство — все открывать заново. В его игре слиты воедино дар воображения, опыта и глубокого психологического всматривания. Он был человеком высокой одаренности души и интеллекта. У Гердта была счастливая актерская судьба. Он был избалован любовью, вниманием. Так и должно было быть. Он это заслужил.

Татьяна Правдина, жена Зиновия Гердта

Кто бы мог подумать, что я стану его женой! Впервые увидела его на концерте в Колонном зале Дома союзов в 1945-м. Мне было семнадцать, только окончила десятый класс. В 1958-м пришла получать медсправку для водительских прав. В очереди стояло человек двести — и все мужики. А мне нужно было через полтора часа кормить шестимесячную дочь. Обошла всю очередь в поисках знакомых — и увидела Гердта. Но подойти к нему не пришло в голову. К счастью, кто-то сказал: «Среди нас единственная женщина — неужели не пропустим?» И пропустили. Когда я эту историю позже рассказала Зяме, он возмутился: «Дура какая! Если бы ты тогда подошла, мы бы уже два года вместе жили!»

Когда меня повели знакомиться с Зиновием Ефимовичем, он посмотрел на меня и почему-то спросил: «Дети есть?» — «Есть», — ответила я.

«Кто?» — «Дочка». — «Сколько лет?» — «Два года». — «Подходит», — утвердил Гердт. Поначалу все было очень по-деловому. Когда мы улетали, то меня провожал муж, его — жена. В поездке Гердт за мной ухаживал, что производило на меня в высшей степени негативное впечатление. Я думала: обычные гастрольные номера. Естественно, что по всем человеческим качествам Зиновий Ефимович мне нравился, и надо признаться, я была, что называется, готовенькая, потому что, живя с мужем в одной квартире, уже давно не была ему женой. Но именно в том, что Гердт актер и это гастроль, был для меня вульгарноватый флер. Единственное, о чем мы договорились, возвращаясь обратно, — через день встретиться. Почему-то у Киевского райкома партии. Он подъехал на машине, распахнул дверцу, я сказала: «Ну это просто какое-то шпионское кино». — «Абсолютно не шпионское, — сказал Гердт и добавил: — Я свободный человек». Мы ни слова не говорили о том, что будем жить вместе. Мне не предлагалось: «Выходи за меня замуж». Мы просто поехали к его друзьям. И когда вечером я вернулась домой, то решительно сказала мужу: «Вот теперь я тебе сообщаю, что я тебе не верна, и повторяю: я тебе не жена».

Он считал, что люди без чувства юмора — они как ангелы, бесхитростны и наивны. Таким человеком для него была моя мама. Например, Зяма ей рассказывает анекдот, который начинается так: «У молодого человека умерла жена». Она тут же

спрашивает: «От чего?» Совершенно не понимая, как можно в конце такого анекдота смеяться. А Зяму это смешило. Разыгрывал и меня. Однажды вместе собрались лететь на гастроли. Зяма позвонил мне на работу и сказал: «Билеты взяли, я вылетаю первым классом, ты — экономическим». — «Сволочь!» — крикнула я в сердцах. Оказалось, он так шутит. Бывало, мы ссорились. В основном из-за вождения. Но ни разу наши размолвки не растягивались больше, чем на пару часов.

У нас в доме всегда праздновался Татьянин день — 25 января. Когда нечем было особо угощать — подавали один винегрет. Но приходили люди. И именно в нашем доме Гердт увидел Москву, которой не знал, — маминых и папиных друзей еще с двадцатых годов. Он был потрясен. Зяма знал актерскую среду. А тут — совсем другое общество, со своими устоями, но очень открытое. Он влюбился в маму, у них были свои отношения. Он на своих творческих вечерах очень много о ней рассказывал. Он говорил: «Мама моей жены», — и зал начинал высчитывать. А он добавлял: «Да-да, вы правильно поняли, теща, теща. Я не хочу употреблять этого слова, потому что в нем есть налет. Так вот, у меня этого налета нет». Знакомство их произошло так. Театр Образцова уезжал на майские гастроли, и я сообщила маме, что еду с ними. «Ты знаешь, мне неспокойно, — сказала она. — Я даже не знакома с этим человеком». Я вышла, на улице меня ждал Гердт. «Пошли», — сказал он решительно, и мы тут

же вернулись в дом. Познакомились, Зяма сказал: «Я буду вашу дочку жалеть». Потом последовала пауза, после которой он произнес: «Я очень устал от монолога, я хочу чая». Сели за стол, и возникло такое ощущение, что он был здесь всегда. Когда через сорок минут мы уходили, я спросила: «Мам, ну что? Тебе стало спокойнее?» — «Абсолютно», — ответила она.

Мы жили небогато, потому что дедушка, мамин отец, безоговорочно принял революцию. Он был очень прогрессивный капиталист. После революции, конечно, отняли все. Но дед был действительно настолько прогрессивным, что рабочие Московского водкоразливочного завода обратились с ходатайством к Ленину, чтобы его сделали директором завода. И его назначили. Все, что осталось с дореволюционных времен, — три серебряные ложки с инициалами моей бабушки. Столовая, десертная и чайная. Остальное продали в 1931 году, когда моего отца арестовали.

Сколько было денег — на столько и жили. Зиновий Ефимович всегда смеялся, что зарплата у меня выше, чем у него. Зарабатывал он, естественно, немало, но номинально мой оклад был больше. Очень долго мы жили с долгами. Ни одной крупной вещи не приобрели так, чтобы накопить денег и купить. Брали в долг, потом отдавали. Дачу купили, когда Зяма заработал по тем временам сумасшедшие деньги. Он снялся тогда в «Фокуснике» и «Золотом теленке». Две большие

Друзья о Гердте

роли — две большие суммы. Дача стоила ровно в два раза больше. Я ныла: «Мы опять без копейки. К чертовой матери эту дачу!»

Некоторые вещи его раздражали. Например, жил поэзией и страдал, когда кто-то помпезно декламировал стихи. Уважал мастерство и терпеть не мог непрофессионализма. Сам был очень «рукастый»: на даче до сих пор живут вещи, сделанные Зямой. Ему не нравилась невкусная еда — говорил, она его унижает. Когда отправлялся в гости, всегда спрашивал: «А у них вкусно?» Но вообще был широкодушный человек. Влюблялся в людей, а потом нередко разочаровывался.

До последнего Зяма сохранил ясный ум. Я не запрещала ему выпивать, курить. Считала, не нужно отравлять человеку последние дни на земле. Правда, курить он сам бросил еще в 1993-м. Встал утром, потянулся по привычке к пачке сигарет — и вдруг передумал. Доктора сказали, что это очень плохой признак.

Катя Гердт,
режиссер, приемная дочь
Зиновия Гердта

Когда мои родители поженились, мне было два года. В глаза я звала его Зямой, а за глаза папой. Жизнь была веселой, с одной стороны. С другой — достаточно трудной, потому что у нас не было квартиры, и мы снимали разные углы. Мне было как раз два-три года, но я помню, как мы постоянно переезжали с места на место. Поживем где-нибудь два-три месяца, потом собираем все вещи и, как цыгане, переезжаем в другое место.

И вот после долгого периода бездомья нам наконец сказали: «Вот, есть квартира». Квартира была у черта на куличках и жуткая. Родители поехали ее посмотреть и не нашли ни одной зацепки, чтобы отказаться, потому что знали ответ: «Ну и кочуйте дальше». Мама — в отпаде: хрущоба, 4-й этаж, в общем, жуткая жуть. Ходят родители в полной безнадежности и понимании безвыход-

ности ситуации. И Зяма зашел в туалет, присел, а нога...

— Дверь не закрывается! — кричит он радостно начальникам месткома, исполкома, профкома. — Все, ребята, ни фигя подобного, дверь не закрывается. Поэтому не берем.

Еще помню из раннего детства вот что. Я больна, сижу с нянькой, а родители ушли в гости. Их долго не было. И вот просыпаюсь утром, смотрю в окно, а во дворе стоит огромная снежная баба двухметрового размера. Оказалось, что это родители поздно ночью пришли и для меня, для больной, лепили эту бабу до шести утра. Даже Зямин шарф завязали, чтобы я из окна увидела. Вот такие ничего не значащие эпизоды сопровождали меня всю жизнь.

Нет, он никогда меня не наказывал. Максимальная степень Зяминого возмущения — это хождение по комнате огромными шагами и возгласы: «Это возмутительно!» Но для меня это было пострашнее, чем другие угрозы. И никакого специального воспитания у меня не было. Оно осуществлялось самим ходом нашей жизни. Вот мы едем в машине — а мы каждый год отдыхали в Прибалтике на турбазе Дома ученых — и Зяма начинает стихи читать. Все было в ткани нашей жизни, а не «давайте поговорим о прекрасном».

Эдуард Скворцов, племянник Зиновия Гердта

То, что у меня есть необыкновенный дядя, я усвоил с далекого детства. Первую встречу с ним помню довольно смутно. Проездом из госпиталя на костылях приковылял веселый человек с усиками, похожий на Чарли Чаплина. Следующая встреча — уже много позже, в Москве. Мой дядя оказался действительно актером, причем широкоизвестным, несмотря на то, что большую часть своих ролей проводил за ширмой. У него был уникальный, мгновенно узнаваемый тембр голоса, богатые интонации, которыми он легко и изобретательно распоряжался, зрителей и слушателей он покорял своим юмором и доброй иронией. А еще он — один из авторов уморительного кукольного «Необыкновенного концерта».

Как-то в пятидесятых годах мне повезло прокатиться с ним в трамвае. И я ощутил, что такое народная слава — пассажиры принялись нашеп-

тывать друг другу: «Смотрите, смотрите – Гердт!»
А ведь эпоха была еще дотелевизионная.

Сейчас мало кто это помнит, а тогда на правительственных концертах, транслируемых по радио из Колонного зала Дома союзов, завершающим номером, как правило, выпускали Зиновия Гердта. Гердт клал всех на лопатки своими остроумными, смешными пародиями, которые были отнюдь не пересмешничеством, не подражанием, а талантливыми шаржами на любимых народом персонажей. Позднее в кругу семьи он обычно уклонялся от воспоминаний об этом периоде своего творчества, но нет-нет да и запевал вдруг знакомым утесовским баритоном: «Вот уж стосимидиситипитилетие управляю я четверкой лошадей...»

В 62–63-м годах Зяма взял меня с собой, отправившись в «писательский» дом на Аэропортовской улице – в гости к своему старинному другу Михаилу Львовскому. За разговорами засиделись допоздна, вышли из подъезда в тихую звездную ночь, и Зяма немедленно начал:

Тихо над Альгамброй,
Дремлет вся натура,
Дремлет замок Памба,
Спит...

Тут я едва сдержал острое желание закончить до боли знакомые прутковские строки – и правильно сделал, – потому что Зяма после небольшой

Эдуард Скворцов, племянник Зиновия Гердта

паузы величественно завершил декламацию своим неповторимым рокотом: «...литература!»

Финал был непредсказуем и ошеломляюще точен, не говоря уж о том, что Зямина рифма оказалась более богатой, чем в оригинале. В этот момент Зяма помог мне понять, что такое творческое отношение к жизни. Способность творить, подобно фокуснику, вытаскивающему курицу из пустоты, Зяма мог продемонстрировать когда и где угодно. В чистом виде этот фейерверк мысли и радости жизни легче всего было наблюдать за утренним домашним кофе, обычно превращавшимся Зямой в брекфест-шоу. Шутки, розыгрыши, мгновенные мизансцены сменяли друг друга, все это было смешно и неизменно свежо — возникало у тебя на глазах.

Вот Зяме по ходу дела понадобился известный анекдот — и анекдот звучит ново, подобно классической пьесе в постановке талантливого режиссера. Вбрасываю на поле показавшуюся забавной рифму «Бертоллучи — лучче». Зяма пробует ее на зуб и, не раздумывая, чеканит:

Быть Гайдаем — хорошо.
Бертоллучи — лучче.
В Бертоллучи б я пошел —
Пусть меня научат!

Едем в гости к Рине Зеленой. Открывает дверь хозяйка, приглашая войти. Зяма шагает через порог и вдруг, схватившись обеими руками за

щеку, с мучительным стоном начинает медленно вытягивать нечто из уголка рта. «Что с тобой, Зямочка?» — в ужасе восклицает Рина. Он мотает головой и продолжает тянуть из своих недр нескончаемую змею, оказывающуюся... стальной рулеткой. Мгновенное облегчение и напоминание: с Зямой, как с петергофскими фонтанами, нельзя расслабляться!

Зяме суждено было родиться свободным. Обстоятельства жизни — давление советского режима, тяжелое фронтовое ранение и многое другое — разумеется, на него воздействовали, но это фундаментальное свойство его личности они изменить не смогли.

Придя в театр кукол и став актером, Гердт формально влился в среду лиц, по рукам и ногам повязанных текстом и волей режиссера. Но эту рабскую актерскую зависимость он с удивительной легкостью и естественностью преодолевал. «Необыкновенный концерт» оказался необыкновенно популярным, его играли более пятисот раз. Зяма превратил рутину в пятьсот вариаций Гердта на собственную тему, как классный джазмен, не повторяясь ни разу.

Зямина свобода лезла из него отовсюду. В глухие советские годы, выезжая с театром за границу, он в составе труппы во вне рабочее время не бегал по магазинам в поисках дешевого ширпотреба, а бродил по улицам, смотрел кино, потягивал

аперитивы в кафе — словом, наслаждался нормальной жизнью. На худсоветах в театре мог высказаться нелицеприятно и жестко в адрес кого угодно. Жил без оглядки. Шутил как хотел. Не задумываясь встречался за кордоном с опальным Виктором Платоновичем Некрасовым. Дома у него на ночном столике обычно вперемешку со свежими номерами «Нового мира» и «Знамени» лежали последние «самиздатовские» книжки. Борцом-диссидентом не был, но, скажем, Роя Медведева я видел у него в квартире не раз.

Свобода сказывалась и в его позиции по традиционно щекотливому для страны вопросу о «пятом пункте». Эту нашу неизбывную проблему для себя он решил раз и навсегда. К антисемитам относился со смесью гнева и брезгливости. Помню его строгое выражение лица, когда они с женой тщательно одевались к официальному приему в израильском посольстве. Но никогда не приходилось слышать от него конструкций вроде «мы, евреи». Он жил не среди представителей той или иной национальности, а среди людей, тем самым приглашая их относиться друг к другу так же.

Все годы, которые мне довелось общаться с Зямой, прошли передо мной чередой его неустанного интенсивного труда. Зяму постоянно рвали на части какие-то люди, бесчисленные звонки, телеграммы. Он всегда куда-то торопился, но никогда не опаздывал. Не припомню, чтобы он когда-либо пожаловался на усталость, сказал, как ему все об-

рыдло и как хочется забыть это «должен, должен» и просто всласть поваляться.

Зяма был мужественным человеком, настоящим мужчиной. Его правила исключали подробное изложение того, как и что у него болит. Только близкие и посвященные знают, какие адские муки он выдерживал, чтобы не сорвать последние выпуски «Чай-клуба». Он все умел делать руками, любая задумка по хозяйству завершалась у него всегда ладно, ловко. Любо-дорого было наблюдать за тем, как он упаковывает вещи. Талант проявлялся во всем, за что бы он ни взялся.

Нельзя не сказать о том, что тем Зиновием Ефимовичем Гердтом, которого все мы знаем и любим, он стал под воздействием многих лет общения с женой, Татьяной Александровной Правдиной. Нашли они друг друга не сразу. Помню ту радостную и подлинно творческую атмосферу, в которую я окунулся, очутившись впервые в их скромной квартирке, где они радушно предоставляли мне кров и ночлег буквально в ногах своего ложа. Наши вечерние разговоры о Солженицыне, о бурных событиях театральной и литературной жизни велись без каких-либо скидок на мое юношество и затягивались до двух-трех часов ночи. А утром — подъем, запах хорошего кофе, бодряя интеллектуальная зарядка за завтраком и — вперед!

Таня в строгом соответствии со своей фамилией высказывалась прямо, по существу и высоко

держала нравственную планку. Очевидно, что их супружеская жизнь проходила во взаимном обогащении. У них быстро выработался общий эстетический и этический вкус, стиль жизни. Он проявлялся во всем: в оценках явлений и событий, в естественной манере поведения, в одинаковой открытости людям, в понимании природы и смысла юмора, в простоте и продуманности обстановки в доме — размер квартиры при этом не имел значения, в функциональности и элегантности одежды, в мелочах быта, даже в едином пристрастии к сигаретам. В их дом люди всегда стремились — там было свободно, интересно, весело, вкусно есть, пить и жить.

Не надо думать, что при этом Зяма и Таня полностью растворялись один в другом. Они представляли собою яркие индивидуальности, и их соприкосновение, а порой и столкновение, неизменно являло собой биение жизни.

Характерен эпизод из семейной хроники Гердтов, свидетелем которого я быть не мог, но представление о его содержании имею из рассказов непосредственных участников. Обсуждая некую проблему, эмоциональные супруги достигли такого накала беседы, что дружно пришли к выводу: пора разбежаться. Все слова уже были сказаны. Таня нервно ходила по комнате. Зяма стоял, отвернувшись к окну. И тут Таня задумчиво произнесла: «Так, что же мне надеть...» Зяма расхохотался, и инцидент лопнул, как мыльный пузырь.

Появляясь у Гердтов два-три раза в год, я заставлял обычно одну и ту же картину: «Центр управления добрыми делами» в действии. Руководитель Центра (Таня) отдает короткие команды оператору (Зяме), сидящему за пультом (телефоном): устроить заболевшему А. консультацию профессора, оставить для Б. испрашиваемую сумму, организовать В. и Г. билеты в Большой театр, пригласить к себе на жительство провинциала Д., помочь мне же заготовить мясо для отправки в голодную Казань — и так далее. Все это совершалось как бы играючи в те немногие паузы между напряженной работой, когда Зяма оказывался дома, причем процесс, раз и навсегда отлаженный, шел с высоким КПД. Самодовольством или гордостью за содеянное благо у Гердтов никогда и не пахло — наоборот, для них такой режим, со стороны казавшийся тяжеловатым, был будничным и привычным. Один Бог знает, сколько им в течение долгой совместной жизни удалось сделать для других людей.

Как бы ни сложился день, около пяти вечера Зяма приезжал домой, усаживаясь за стол, говорил что-нибудь вроде: «Ну, на обед я сегодня заработал!» — и с аппетитом истинного гурмана поглощал всегда отменно вкусно приготовленные домработницей Нюрой или хозяйкой блюда. Засим, довольный и благодушный, затягивался сигаретой и, отдохнув немного, снова исчезал допоздна.

Курил он с нескрываемым наслаждением — по всей квартире в разных местах были расставлены бесчисленные пепельницы, привезенные со всего света в качестве сувениров. «А вот эту вещицу я попросил разрешения взять на память у распорядителя в знаменитом отеле. Он вежливо ответил, что у них подобное не принято, но, когда мы уходили, незаметно сунул ее мне в карман». Для обаяния Зямы границ не существовало.

Главным предметом в квартире, без сомнения, был телефон. Домой Зяма в течение дня звонил при первой возможности, вникал в мельчайшие детали текущей обстановки, меняющейся с каждым часом. Первое, что делал, когда прибывал в любой пункт на земном шаре, — а ездил он постоянно, — дозванивался до Тани и докладывал, что с ним все в порядке.

Как-то я попытался представить себе, каким мог бы быть памятник Гердту: еще не бритый Зяма сидит в халате за круглым столом, в левой руке сигарета, правая — на телефонной трубке.

Когда Ильф и Петров утверждали, что автомобиль — не роскошь, а средство передвижения, они, очевидно, имели в виду Зяму. Наследуя у отца с матерью их хромосомы, дальше каждый хромает сам. Неудивительно, что для Зямы автомобиль стал вторым домом, где он провел заметную часть своей жизни. И обращался он с автомобилем так же уважительно и бережно. Забавно было наблюдать постоянные разборки супругов — завязтых

автомобилистов по поводу их индивидуального поведения за рулем. Случилось так, что, направляясь на консультацию Зямы с доктором, они подвезли и высадили нас с сыном возле храма Христа Спасителя. Дверца захлопнулась, и под взаимное ворчание Гердты укатили, а мы переглянулись, отчетливо понимая, что видим Зяму живьем в последний раз.

Уход со службы в театре подействовал на Зяму благотворно: у него буквально освободились руки, что в его возрасте послужило заметным облегчением, он стал еще меньше актером и еще больше Зиновием Гердтом. Предложения следовали одно за другим, и было из чего выбирать. Я не раз подступался к Зяме с вопросом: почему бы ему не взяться за книгу воспоминаний — позади водоворот жизни, столько встреч с легендарными людьми, да и мастерское владение словом при нем. Он неизменно отнекивался, никак не объясняя свое равнодушие к этой теме. Наконец я понял, что, действительно, сидя за столом, исписывать страницу за страницей — не для него. Он должен просто жить. А кто-то обязан догадаться фиксировать эту жизнь.

Говорят, в соборе, где служил Мессиа́н (Оливье Мессиа́н — французский композитор, органист, музыковед), автоматически включалась звукозаписывающая аппаратура всякий раз, когда маэстро садился за орган. Только так и надлежит обра-

щаться с национальным достоянием. А Зяма без преувеличения был им.

Установить бы видеокамеру и снимать, снимать Зяму — прежде всего дома, за бесконечными телефонными разговорами, беседами с друзьями, великолепными импровизациями за праздничным столом, наконец, просто на кухне за трапезой с женой. Долгая совместная жизнь привела к такой диффузии супругов, что в их пикировках, остроте которых позавидовали бы лучшие сценаристы, стороны нисколько не уступали одна другой.

Вот сцена, увиденная уже глазами моего сына, внучатого племянника Гердта. Таня хлопчет у кухонной стойки, Зяма устроился поодаль на кушетке и подозрительно затих. Таня подымает на него глаза и лицезреет такую картину: Зяма, нацепив на самый кончик носа очки и слегка высунув язык, ползает пальцем по строчкам рекламной газетки — на сей раз изображает из себя старого маразматика и ждет не дождется, когда же на него обратят внимание. «Зяма! — с экспрессией говорит Таня. — А я и не знала: да ты, оказывается, актер!» Эффект достигнут — и все удовлетворены.

Идея фиксации Зяминой жизни, пусть и в сильно урезанном виде, все же воплотилась в его «Чай-клубе». Тот, кто получил возможность наблюдать эти чаепития, думаю, согласится, что при всем великолепии собрания приглашенных гостей именно ведущий создавал неповторимый аромат и вкус передачи.

О голосе Гердта можно писать отдельно. Скажу лишь, что для меня его тембр, интонации так же необходимы, как голоса Армстронга, Фитцджеральд, Рэя Чарлза, Утесова и Кима. Доведись этому человеку жить в иные времена и в ином пространстве — он не потерялся бы в людском муравейнике. Но нам повезло: Гердт оказался нашим соотечественником и современником. Избери он профессию слесаря или токаря — это был бы Гоша из фильма «Москва слезам не верит». Из него мог бы получиться прославленный учитель или замечательный музыкант. Но он стал актером — и это еще одна удача для всех нас.

Принято считать, что у него было мало выдающихся ролей, — и единодушно делается исключение для роли Паниковского. Действительно, бесспорно, Зяма достиг в его образе чаплинских высот. Но, не называя здесь других серьезных актерских работ, берусь утверждать, что главную роль, к которой Зяма долго шел, он сыграл всего один раз. Это — уникальная роль Зиновия Ефимовича Гердта в пьесе его жизни.

Воздействие личности Гердта на окружающий мир заметно выросло в последние его годы, когда он часто появлялся на телеэкранах не в обличье очередной роли, а сам по себе. Как-то получалось, что всем было понятно: вот талантливый и порядочный человек, который делает нас добрее и чище. Гердт превратился в глазах людей в нрав-

ственный эталон. И отношение к нему от бывшего радостного узнавания поднялось до подлинной всенародной любви.

Последняя Зямина осень в Пахре. Сидя с очередными гостями на веранде во главе стола, как обычно, выпивает рюмочку, оживленно ведет беседу, шутит, пускает свое знаменитое «ха-ха-ха». И вдруг внутри него щелкает какой-то тумблер — мгновенно уходит в себя, лицо абсолютно отрешенное, незнакомое. Пока гости курят, уединяется на диване. Сажусь рядом. «Мало сделал», — произносит Зяма. Говорю: «Подумайте, а много ли найдется в Москве людей вашего возраста, с которыми молодых талантливых ребят так тянуло бы пообщаться?» Он молчит, потом отвечает устало: «Пожалуй, ты прав». Но мысли где-то далеко. Подведение итогов — дело тяжелое.

Свою миссию, как и Зяма, Таня тоже исполнила до конца. Когда обсуждался сценарий вечера, посвященного его восьмидесятилетию, Зяма упрямо требовал, чтобы Таня была рядом с ним на сцене. Когда же она от этой не свойственной ей роли категорически отказалась, разразился жуткий скандал, режиссер был в шоке, а программа висела на волоске. В конце концов разум взял верх, Зяма признал свою неправоту, а Таня за кулисами осуществляла его физическую и психологическую поддержку.

Те, кто смотрел передачу по ТВ, очевидно, поняли, что прощаются с Гердтом, а когда в конце

Друзья о Гердте

вечера он, уже никем не поддерживаемый, вышел на сцену, это выглядело чудом.

Да оно и было чудом, потому что никаких сил стоять на ногах у него не было, а держался он, как выразилась Таня, «на кураже». И подобно олимпийскому чемпиону, концентрирующему всю свою энергию перед решающим полетом над планкой, Зяма, твердо стоя на авансцене, пронзительно завершил встречу словами своего любимого друга Дезика Самойлова:

О, как я поздно понял,
Зачем я существую,
Зачем гоняет сердце
По жилам кровь живую...

Мало кому это удастся, но Гердту удалось: он ушел на своей высшей точке.

Валентин Плучек, режиссер

В тот знаменитый ТРАМ меня пригласили из театра имени Всеволода Мейерхольда поставить спектакль. Я поставил «Свадьбу» Зоценко, и в этой пьесе на сцену выходил ребенок — очень худенький мальчик в трусиках и матроске. Это был Зяма Гердт, впервые вышедший на сцену в этой роли. Ему было лет 14–15, и он был такой худенький, такой трогательный... В 1938 году, когда мейерхольдовский театр был закрыт, я вместе с Арбузовым организовал свою студию, в которую вошли все мои ученики.

Помню, на юбилейном вечере нашего театра Зяма однажды встал и произнес пламенную речь о том, что в его жизни я сыграл решающую роль. Я хотел бы такую же пламенную речь произнести и о нем — об очень чистом, целеустремленном, честно воевавшем человеке. О человеке, жившем

Друзья о Гердте

в искусстве, — политически, нравственно, художественно. Бескомпромиссному, бесстрастному к пошлости, предательству, дурному вкусу, карьеризму.

Елена Махалах-Львовская, подруга юности

Одним из любимых развлечений у нас были розыгрыши, остроумные и пикантные. Зяма Гердт в те времена работал в кукольном театре Образцова и часто выезжал за границу, почти каждый год. Тогда, кроме Большого театра, образцовский театр был почти единственным «выездным». А Зяма был главным артистом, без него ни одна гастроль не обходилась. Привез он из одной такой поездки... магнитофон! В те времена это чудо техники было редкостью, пожалуй, даже большей, чем теперь Интернет.

Однажды к нему приехал за репертуаром из Саратова Горелик, конферансье местной эстрады. «Что это?» — спросил он, указывая на Зямин «Грюндиг». «Это приемник, — говорит Зяма, — давай сейчас послушаем «Московские известия». И замечательно, как это умеет Гердт делать, он

включает пленку с заранее записанным своим измененным, якобы диктора, голосом и вещает: «Вчера ткачихи камвольного комбината «Красная Роза» выполнили план на 120 процентов!» Затем шли какие-то дикторские сообщения очередных «новостей»... Горелик совершенно не узнает голос Гердта, внимательно слушает, и вдруг еще одно сообщение: «Вчера вечером из Саратова в Москву приехал за новым репертуаром конференсье саратовской эстрады Александр Горелик! На вокзале его встречала дружина 31-й школы Фрунзенского района. Пионерка Нюра Кошкина сказала: «А на кой... ляд вы сюда привалили?» Бедняга Горелик, который вначале абсолютно поверил, что это настоящий эфир, просто за голову схватился, а потом, конечно, слегка нервно смеялся, разобравшись наконец, что это Зямина шутка. Ну, а затем Гердт объяснил ему, конечно, что представляет собой магнитофон.

А как весело и прекрасно умели отдыхать, провести свои святые 24 дня законного отпуска с удовольствием! И не на каких-нибудь Канарских островах, засиженных, как мухами, полуживыми туристами, страдающими от жары и непривычной пищи, — нет, ездили на Волгу или на озера в Прибалтику.

В один из таких отпусков на стареньком гердтовском «Москвиче» мы вчетвером как раз в Прибалтику и отправились. Выехали на прекрасное Минское шоссе и понеслись. Распределили меж собой роли-обязанности: Зяма — командор пробе-

Елена Махалах-Львовская, подруга юности

га, Миша Львовский — почему-то квартирмейстер, Таня, Зямина жена, — вдохновитель и организатор всего, а я — кассир! Мы, как дураки, сложили в одну кучку, а точнее в мою сумочку, все наши отпускные деньги. И я, не вспомнив пророческие (для нас!) стихи известного поэта:

Ходит птичка весело
по тропинке бедствий,
не предвидя от сего
никаких последствий! —

довольно легкомысленно поступила со своей сумочкой, сунув ее вместе с прочими дорожными мелочовками к заднему стеклу машины. Так вот, едем мы себе и едем, усталые, но довольные, приближаемся к городу Вильнюсу. «Сумерки тихо сгущались, в баре зажглись огни», — распевали Зяма и Миша какую-то приבלатненную уличную песенку. Мы въехали в город, сумерки действительно сгущались, но мы и не подозревали, что они сгустились над нами довольно зловеще. Остановились у центральной гостиницы, где были заказаны номера, вылезаем из машины, вокруг нарядная публика прогуливается, я хочу выдать деньги на гостиницу, но... не тут-то было, нет сумочки! Обыскали всю машину, даже сиденья вытащили на тротуар, — сумочка с нашими отпускными деньгами исчезла! Я, конечно, рыдала, обливаясь слезами, ощущая свою вину и ответственность. «Боже мой, что с нами теперь будет!» — причитала я в отчаянии.

Зяма и Таня обращались со мной довольно сурово: «Как не стыдно, — говорили они. — Это позор — плакать из-за денег!» Пошарив в карманах, мы нашли какие-то монетки, их хватило на батон хлеба и бутылку кефира. Очевидно, от безысходности ситуации мы вернулись километров на двадцать обратно по шоссе, Зяма включил фары, и мы всё старались рассмотреть, не валяется ли где-то на шоссе сумочка... Дело в том, что мы запомнили место, где делали по пути остановку на обочине, и даже запомнили телеграфный столб, у которого, представьте себе, обнаружили следы нашего пребывания, но... увы, не сумочку, в которой «деньги лежали».

Потом мы все же поселились — в долг — в гостинице. Телеграфировали в Москву, чтобы нам прислали деньги. Наутро спускаемся, голодные и непонятно на что надеющиеся, в кафе. Зяма Гердт диктует официанту: он заказывает икру, салаты, какую-то рыбку, блинчики, взбитые сливки и так далее. А в конце заказа строго говорит: «Но прежде принесите жалобную книгу!» Официант, конечно, в панике. Приходит администратор с книгой, пытается выяснить — что не так?! Зяма молча берет книгу и своим крупным четким почерком пишет (как мы потом узнали) благодарность официанту и всему персоналу кафе за отличное обслуживание и вообще всякие хвалебные слова в адрес их прекрасного заведения, о том, что он побывал с гастрольными поездками во многих городах России и даже за границей, но такого приема гостей,

Елена Махалах-Львовская, подруга юности

как у них, такой вкусной еды не видывал нигде! И подпись. И число. Можете себе представить, как в течение трех дней, пока мы жили тут, дожидаясь, пока пришлют нам какие-то деньги, нас кормили, как обслуживали — по-моему, даже музыканты для нас что-то играли.

Шли годы. Сворачивались многие события в нашей жизни. Но иногда, во время какого-нибудь разговора или даже спора на любую, даже самую серьезную тему, например проблема очередных выборов президента или обсуждение новой театральной премьеры, Зяма совершенно невозмутимо спрашивал: «Так где же сумочка?»

Эдуард Успенский, писатель

Зиновия Гердта знала и любила вся страна. Знал его и я. И как актера театра Образцова, и как киноактера, и как прекрасного телеведущего, но познакомиться как-то не доводилось. И вот однажды меня неожиданно включили в состав культурной делегации для поездки в Литву. Тогда такие поездки не очень были загружены мероприятиями, и участники делегации большую часть времени тратили на прогулки, болтания в гостинице, сидения в ресторане или кафе. И, будучи предоставленными сами себе, мы познакомились с Зиновием Ефимовичем и провели очень много времени в разговорах и беседах.

В то время я имел огромное количество всяких конфликтов с горкомом партии, с ЦК КПСС, с киностудией им. Горького, с Госкино СССР, с Комитетом по делам печати, со всякими выездными

и невыездными комиссиями. Допустим, меня приглашает финское издательство, а из страны не выпускают. Получив отказ, я сразу писал письма во все инстанции с просьбой объяснить: почему меня не выпускают? Если я шпион — то какой разведки? И в эти игры я играл довольно долго. Чтобы добиться своей цели, я целыми днями был занят письмами в газету «Правда», в Госпартконтроль и прочие инстанции. Не знаю почему, но Гердту было интересно слушать про все эти мои похождения и сражения. Ему жутко понравились эти истории, и он мне предложил: «Эдик, в следующий раз, как только вы начнете какую-нибудь акцию, вы меня втягивайте!»

Мне это, разумеется, очень понравилось. Вроде бы такой человек... известный и вполне благополучный, и вдруг хочет каких-то скандалов в жизни, борьбы за правду. Одним словом, меня это приятно удивило, потому что даже друзья и приятели всегда осуждали меня за мои скандалы. Мол, чего тебе нужно от жизни, сиди тихо, помалкивай. Иногда я сам чувствовал себя сумасшедшим. А Гердт вдруг все это дело искренне одобрил и поддержал. И когда бы мы с тех пор ни встречались, он всегда очень живо и нефальшиво интересовался: «Эдик, ну как у вас дела? Расскажите, что у вас нового, какой очередной скандал, какая еще история с вами приключилась?».

Когда мы с Элеонорой Николаевной Филиной задумывали передачу «В нашу гавань заходили корабли», то жизнь нас поставила в условия (денег не

было ни копейки, радио платить не хотело, и все в том же духе), когда нужно было придумать такую форму передачи, чтобы привлечь к участию в ней людей самых высоких. Характер нашей передачи был сомнительный — возвращать народу песни типа «Маруся отравилась», песни беспризорников и так далее. Хотелось, чтобы участвовали серьезные, известные люди, а платить мы не могли никому ни копейки. И когда на свой страх и риск мы все-таки начали работать, то стали всех брать на азарт.

Звоню: «Зиновий Ефимович, здравствуйте. Это Успенский говорит... Мы вот тут старые песни собираем. И вот знаете, только одну одесскую песню вспомнили — «Одесса зажигает огоньки»...» — «То есть как это только одну?! Да вы что! Я вам сейчас... А как же вот это: «До пяти часов утра лампочка горела»?!» Гердт тут же начал вспоминать, усердно диктовать. Потом решил прийти и исполнить «собственноручно».

Уже в студии мы вместе пытались точнее вспомнить мелодии, он наигрывал на пианино. В общем, мы его втянули в эту игру, и он приезжал к нам потом много раз, притаскивая всё новые и новые песни.

Однажды в Москве был страшный гололед — ни проехать, ни пройти. Гердт звонит по телефону, так грустно и переживательно, как ребенок: «Ну, Эдик... не смогу я сегодня к вам приехать. Вся Москва стоит...» Я ему говорю: «Зиновий Ефимович, не волнуйтесь, за вами приедет водитель экстра-

класса. Через двадцать пять минут спускайтесь». Он насторожился, поскольку сам, даже при своей ноге, был водителем высшего класса. Я посылаю за ним Костю Демахина, каскадера, мирового чемпиона, водившего машину ну просто гениально. Гололед, лысые шины, когда на шипованных-то люди не справляются, — Косте всё было нипочем. Он водил машину как фокусник и поэтому, везя самого Зиновия Гердта, не мог не выпендриться. Через какое-то время в дверь стремительно вошел Гердт, злой, как собака: «Думал отдохнуть по дороге — такого натерпелся!»

Гердт обладал сногшибательным вкусом, безукоризненным чувством меры, а посему совершенно свободно мог переделать текст песни по ходу: «Что-то не нравится мне этот куплет... Чьи слова? Народные? Не-е-е, народ так плохо написать не может. Ерунда какая-то! Давайте попробуем вот так...» И сочинял новый куплет «народной песни». А если не получалось переделать слова, он просто отказывался от него вообще. Чутье у него было фантастическое, и благодаря ему я из своей памяти вытащил уйму песен. Я пытался напеть Гердту какую-нибудь песню, а он подбирал мотив на пианино, поскольку про меня совершенно справедливо говорят: «Если Успенский поет песню, то ее можно узнать только по словам».

Однажды мы дали Гердту песню «Господа офицеры», которую некогда исполнял Александр Малинин и к которой Звездинский на самом деле не

имеет никакого отношения. Зиновий Ефимович ее исполнил, передача вышла в эфир, после чего к нам в редакцию пришло письмо из какой-то станции, в котором утверждалось, что эта белогвардейская песня исполнялась по радио в интерпретации, а ее родной текст звучит несколько иначе. К письму прилагался текст песни, который нас просто потряс красотой и проникновенностью. Там не было пошлостей про девочек, которых комиссары ведут в кабинет. Там была безумная тоска по потерянной земле, безысходность, поскольку офицеры оказались прижаты к Дону и ничего у них не осталось, кроме веры в Бога и друг в друга, и вот завтра у них будет наверняка последний бой... И заканчивалась эта песня словами «поскольку я русский — я дворянин». А Зиновий Ефимович ведь был еврей и сначала очень смутился: «О, черт возьми, а как же это нам-м-м-м...?» — «Зиновий Ефимович, — отвечаю я ему, — это песня гражданская, песня «русского человека», а вы — абсолютно «русский человек», и от того, что вы ее исполните, она прозвучит только в сто раз сильнее». Я его уговорил, и он потом сам себя слушал и радовался как ребенок оттого, что все замечательно получилось. Растрогался до слез.

Когда работаешь с великим мастером, то начинаешь у него все чаще и чаще как бы получать уроки, даже непонятно почему. Ты видишь, как он относится к работе, как он укладывает папку с материалом в сумку, чтобы поработать еще дома. Ты

видишь, что человек не позволяет себе опоздать ни на минуту — короче говоря, планка поднимается все выше и выше. Не раз я наблюдал, как рядом с ним буквально на глазах становились другими людьми туповатые полковники, откормленные чиновники и тому подобная публика.

Он очень любил своих друзей и защищал их. Я помню, как однажды он сказал: «Вот все говорят, что Ширвиндт — пижон... А я его знаю как очень нежного и заботливого человека. Если Шура узнаёт о том, что у какой-нибудь его тети Маши или у бабушки (а семейство немаленькое) стряслась беда, если нужно какое-то лекарство, он бросает все дела и достает это лекарство. Он едет и сам начинает ухаживать. Никакой он не циник! Он очень нежный человек...»

Однажды Зиновий Ефимович позвал меня к себе на чаепитие, в «Чай-клуб». Была такая беседа на троих: Гердт, Берестов, с которым мы были очень близки и дружили домами, и я. Разумеется, мы воспользовались случаем и приехали всей нашей командой, всей «Гаванью». Ну, думаем, сейчас заставим его петь и тут же снимем, поскольку Татьяна Александровна, жена Гердта, разрешила нам свалиться на голову к ним домой (съёмки проходили дома у Гердтов) с аппаратурой.

Когда телевизионщики ушли, Гердт посреди разговора, вдруг сильно разволновавшись, сказал: «Черт возьми! Сейчас ведь совсем другое время...

Совсем другое! Сейчас мы можем говорить все, что хотим, а я всю жизнь не мог себе позволить этого! Я тоже врал! Когда мы с театром Образцова выезжали на гастроли за границу, к нам приставляли стукачей, и мы всех их знали в лицо. С нами проводили политбеседы, и мы всегда отвечали иностранцам, что живем хорошо, что у нас такая прекрасная страна. Я сам все это повторял тысячу раз! Какая подлость, как это все чудовищно... Я ведь врал, врал, да и сам начинал верить в это вранье! — причем Гердт все это говорил со слезами на глазах. — Как нас изуродовали! Какое счастье, что я дожил до сегодняшних дней, когда все могут говорить то, что хотят, что чувствуют».

Почему с ним было легко работать? Ведь он же был дорогостоящий актер европейского класса. Это сейчас каждый второй на любое приглашение отвечает: «Мой выход на сцену стоит столько-то сотен долларов, а рабочий день — столько-то тысяч», Гердт же принимал приглашение, если это была умная, интересная игра. Всегда. Его было очень легко завести. Вы можете представить себе, чтобы Гердт согласился занимать зрителей, пришедших посмотреть кинофильм? А такое было.

Однажды мне позвонили из киноредакции и попросили занять чем-нибудь кинозрителей. Я тут же вспомнил, как это делалось раньше: третьесортные актеры исполняли куплеты, читали миниатюры, выступал фокусник или играл маленький оркестрик. Я звоню Гердту: «Зиновий Ефимович,

вы сможете исполнить роль третьесортного актера, развлекающего публику в фойе кинотеатра?» Мне даже уговаривать его не пришлось. Таким образом роли третьесортных актеров исполняли Зиновий Гердт, Кира Смирнова, Ирина Муравьева, Владимир Меньшов. Нам сделали эстрадку, я вышел и объявил начало маленького концерта, и все с удовольствием сыграли в эту игру.

Как-то раз он меня определил так: «Эдик, вас планировали на 127 вольт, а включили на 220... И вообще, Эдик, вы удивительно смелый человек — вести передачу про песни при по-о-о-олном отсутствии слуха!»

Александр Ширвиндт, актер

В эпоху повсеместной победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаичным и неправдоподобным. Гердт — воинствующий профессионал-универсал.

Я иногда думаю, наблюдая за ним: «Кем бы Гердт был, не стань он артистом?» Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником или хирургом. Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, — умелые, сильные, мужские (вообще Гердт «в целом» очень похож на мужчину — археологическая редкость в наш инфантильный век). Красивые гердтовские руки — руки мастера, руки артиста. Мне всегда казалось, еще тогда, в театре у Образцова, что я вижу сквозь ширму эти руки, слившиеся с куклой в едином живом организме.

Не будь он артистом, он был бы поэтом, потому что он не только глубокая поэтическая на-

тура, он один из немногих знакомых мне людей, которые не учат стихи, а впитывают их в себя, как некий нектар (когда присутствуешь на импровизированном домашнем поэтическом джем-сейшене — Александр Володин, Булат Окуджава, Михаил Козаков, Зиновий Гердт — синеешь от белой зависти).

Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона «своих» двойников Леонид Осипович Утесов обожал Гердта.

Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнавура, с той только разницей, что у Гердта еще и хороший голос.

Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом: что бы ни писал Гердт — будь то эстрадный монолог, которыми он грешил в молодости, или журнальная статья, или текст для фильма, — это всегда индивидуально, смело по жанровой стилистике. Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом.

Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гердтовский закадровый голос — эталон этого еще мало изученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь ни с каким другим по тембру, по интонации, по одному ему свойственной герд-

товской иронии: будь то наивный мультфильм, «Двенадцать стульев» или рассказ о жизни и бедах североморских котиков. А как бы он танцевал, не случись эта беда — война!

Не будь он артистом... Но он Артист! Артист, Богом данный, и славу этому Богу, что при всех профессиональных «совмещениях» этой бурной природы Ему (Богу) было угодно отдать Гердта Мельпомене и...

Диапазон Гердта-киноактера велик. Поднимаясь до чаплинских высот в володинском «Фокуснике» или достигая мощнейшего обобщения в ильфовском Паниковском, Гердт всегда грустен, грустен, и все тут, как бы ни было смешно все, что он делает.

Его костюмер в одноименном спектакле — это чудеса филигранной актерской техники, бешеного ритма и такой речевой скорости, что думалось: вот-вот устанет и придумает краску-паузу, чтобы взять дыхание, — не брал, неся дальше, не пропуская при этом ни одного душевного поворота.

В нем было очень много детскости, хотя внешне он всегда имел такую... мудро-ироническо-снисходительную мину по отношению к людям, которые на него случайно набрасывались.

Поехал он как-то раз с творческими вечерами не то в Иркутск, не то во Владивосток. Было ему лет семьдесят пять (возраст в его

жизни никогда ничего не означал, потому что он всегда был бодрый и поджарый). Возила его заместитель администратора, девочка, которой было что-то около восемнадцати лет. Она его возила по клубам, сараям, воинским частям, рыбхозам и так далее, где Зяма увлеченно и стремясь увлечь, читал Пастернака, Заболоцкого и Самойлова, а люди, из уважения к нему, все это слушали, выпучив глаза. Потом Зяма над ними сжаливался и начинал рассказывать какие-то байки и анекдоты. Они просыпались и смеялись от души.

Так вот, эта девочка, зам. администратора, где-то на четвертый день гастролей сказала Зяме: «Вы знаете, Зиновий Ефимович... Я вас так патологически обожаю, что хочу выйти за вас замуж». На что Зяма ей ответил: «Деточка, это вопрос очень серьезный. Спонтанно это не решается. Во-первых, ты должна познакомить меня со своими родителями. Кто у тебя родители? (Далее следует ответ девочки, кто у нее родители, типа: папа — в порту, мама — экономист.) Во-вторых, ты должна сообщить им о своем намерении и все честно сказать — за кого... кто... Сколько папе лет? (Следует ответ, сколько папе лет.) Ну так вот, обязательно скажи, что твой жених (пауза)... в два раза старше папы».

Этот случай для Зямы типичен, потому что влюблялись в него глобально. Как он это делал? В том-то и дело, что Зяма не делал для этого ничего.

В Мировом океане существует закон, сформулированный людьми как «запах сильной рыбы». Выражается он технически очень просто: тихая, штилевая, солнечная, невинно-первозданная гладь Мирового океана — сытые акулы, уставшие пираньи, разряженные электрокаты, растаявшие айсберги; вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего все приходит в волнение. Это где-то, может, вне черты осязаемой оседлости, появилась «сильная рыба», даже не она сама, а только ее «запах»... И идиотская безмятежность Мирового океана моментально нарушается.

В воспоминаниях Черчилля есть описание его встречи со Сталиным и Рузвельтом. Черчилль дал себе слово, что когда войдет Сталин, он не встанет, а будет приветствовать его сидя. И вообще он про себя решил, что придет немножко позже. В назначенный час Черчилль вошел, припоздав, — Сталина нет. Через какое-то время вошел Сталин, и Черчилль через секунду понял, что он стоит. Я, разумеется, ни в коем случае не сравниваю Зяму со Сталиным, но... Магнетизм исходил от него всегда, и это свойство не актерское.

Актеры — животные довольно странные. Я своим студентам уже 42 года говорю: «Чем актер глупее — тем лучше». Мне, конечно, возражают: мол, как это так? Если у актера мозгов нет, что же тогда он сможет сказать зрителю со сцены? Да и сколько актеров-философов! Но ведь недаром же говорят, что переиграть на сцене или в кино собаку, кошку

или маленького ребенка почти невозможно. Для того чтобы это получилось, нужна определенная степень наива. Многие актеры играют мудрость, но это все равно видно.

Нельзя сказать, что Зяма был мудрец, но... в нем была такая бездна интуиции, титанической памяти и способности увлекаться, что суммарно получалось, что он — очень умный актер. Потому, что он был необыкновенно свободен, как ребенок, что, на мой взгляд, представляет собою в искусстве более весомую ценность, чем ум мудреца.

А вот мы с Зямой идем по Пахре. Навстречу идет писатель Икс. Мы идем с речки. И Зяма говорит: «Я не подам ему руки...» И так он это сказал, что мне даже ответить-то на это было нечего. Идем. Молчим. Приближается. Зяма: «Сволочь, гнида, антисемит... Не подам ему руки!» Я иду, молчу. А ведь когда долго готовишься к тому, чтобы не подать руки, то обязательно подашь ее. Писатель Икс шага за четыре говорит елеинным голосом: «Боже мой! Какие лю-ю-юди...» Зяма как-то замедленно касается его руки своей, убирает ее, словно уже больную, в карман, и мы молча уходим. Молча, потому что оба знаем, что не подать руки легко, если это процесс взаимный, а вот если человек говорит «счастье мое»...

Мы много отдыхали вместе. Самым любимым организованным отдыхом у нас был отдых не на курорте в хороших гостиницах, а отдых от Дома

ученых — палаточный городок со столовой под навесом, на море, озере или в лесах.

Каждый день в столовке дежурило по двое отдыхающих — подметали пол, накрывали столы, подавали еду и так далее. Нам с Зямочкой выдавали фартуки. Нужно было резать хлеб, орать на всех, чтобы убирали за собой. Когда мы дежурили, было весело. В основном там были ученые (потому что отдых от Дома ученых), а нас (меня, Зяму и Булата Окуджаву) туда пускали из сострадания. Сережа и Таня Никитины бывали много раз. Частенько пели песни у костра вечерком. И даже Булат, который делал вид, что терпеть этого не может, много пел. Зямка читал стихи. И все было замечательно.

Контингент там был постоянный. У нас была своя компания, но Зяме как воздух нужны были новые инъекции собеседников и поклонников. Есть актеры, как, например, покойный Папанов, которые носят огромные черные очки, кепку до бровей, чтобы ни-ни, никто не узнал и не приставал с автографами. А есть люди, которые стоят открытыми и голыми и ждут: когда же их заметят?.. когда набегут? Этакая паническая жажда круглосуточной популярности. Зяма искал не того, кто будет просить у него автограф, не того, кто будет хлопать ресницами и повторять: «Смотрите, живой Гердт!» — нет. Он искал новую аудиторию. Мог устать от нее через секунду, потерять интерес. Но все равно шел к людям сам, в надежде на неслыханное.

Нижнее Эшери. Недалеко от Сухуми. Красота невообразимая. У нас с женой и сыном какой-то сарай, Зяме с Таней и Катей досталось какое-то подобное жильё с комнатой чуть побольше. Над кроватью Зямы огромный портрет Сталина, вытканый на ковре, правда, Таня его завесила занавесочкой. И вот такая картина: невероятных размеров завешенный Сталин, а под ним маленькое тело Зямы, испытывающего патологическую «любовь» к этой фигуре. А фамилия хозяина дома, где жил Зямка, как сейчас помню, была Липартия. И вот Зяма жил у Партии, под Сталиным.

Море было недалеко. Но для того, чтобы до него пройти, требовались и силы, и нервы, поскольку дорога представляла собой каменную россыпь из булыжников, голышей и маленьких острых камешков. Это сейчас придумали шлепанцы и сандалии на толстой и мягкой подошве, а тогда... Но Зямин оптимизм побеждал.

«Никаких курортов и санаториев! Только чистая природа, натуральные продукты, натуральные поселяне...» Вдобавок к натуральным поселянам в первую же ночь мы поняли, что через нас проходит железная дорога. Это было волшебство... каждую ночь мы «тряслись» в поезде, и нас увозило из этого села то на юг, то на север. Но каждое утро мы просыпались опять в Нижнем Эшери.

На заре советской автомобильной эры у всех нас, естественно, была мечта купить машину. А это

по тем временам было дикой проблемой. Нужно было ходить, кланчить, подписывать бумажки, чтобы тебя поставили на очередь... Мы с Зямой записывались в очередь, а потом жгли костры по ночам вместе с другими алчущими, чтобы ее (очередь) не проворонить, чтобы тебя (не приведи господи) не забыли в лицо... И продавали мы машины тоже всегда вместе.

В Южном порту была знаменитая автомобильная комиссионка. Там было несколько отсеков. Первый — для очередников на «Москвича», на которого ты стоял в этой очереди четыре года (то есть для простых смертных). Второй — содержал в себе машины, на которых можно было ездить: списанные с посольств, с дипкорпуса... А потом... в самом конце... был третий отсек, представлявший собою такой маленький загончик, в котором стояли машины, доступ к которым имели только дети политбюровских шишек, космонавты — в общем, люди, достойные во всех отношениях... Там стояли (как тогда говорили с придыханием) иномарки.

Большинство нормальных советских людей вообще не знали, что это такое. Зямина пижонская мечта была — добраться до этого заветного третьего отсека. И он до него добрался. Но, как оказалось, там тоже все было дифференцировано. Здесь — машины для космонавтов, здесь — для сыновей и тому подобное.

И вот, уже пройдя все кордоны и заслоны в виде подписания бумаг в ВТО, в Союзе ветеранов-

инвалидов, почему-то в Министерстве торговли, где-то еще, собрав целую папку бумаг и подписав ее у очередного-последнего управленческого мурла, Зяма таки получил смотровой талон в этот третий отсек. По этому талону можно было в течение двух недель ходить туда и смотреть на иномарки. Там были какие-то вялые поступления... но если ты за эти две недели так и не решился купить что-то из предложенного, то действие талона просто истекло и право посещения смотровой свалки аннулировалось. Поэтому была такая страшная нервотрепка... Зяма, проехав туда дней двенадцать, занервничал.

Звонит мне оттуда: «Все! Я ждать больше не могу. Я решился. Я покупаю «Вольво-фургон». Я ему: «Зяма, опомнись... Какого она года?..» — «Думаю, 1726-го...» (Ей было лет двадцать...) — «Ну, она хоть на ходу?» — «Да, все в порядке, она на ходу, только здесь есть один нюанс... Она с правым рулем». Я столбенею, представляя Зяму с правым рулем, но не успеваю представить до конца, потому как слышу из трубки: «Приезжай, я не знаю, как на ней ездить».

Я приперся туда. Вижу огромную несвежую бандуру... И руль справа. «Давай, садись!» — бодро говорит мне Зяма, подталкивая меня на водительское место. Я, изо всех сил преодолевая довольно неприятные ощущения (ну всю жизнь проехать за левым рулем, а тут!), сел за этот самый правый руль, и мы поперлись... С меня сошло семь потов, пока мы добрались до дома, потому что в машине

был еще один нюанс. Эта бедная машина стала сыпаться, как только мы выехали за ворота. В общем, когда мы добрались до улицы Телевидения, где тогда жили Зяма с Таней, она рассыпалась окончательно.

И стали мы все вместе ее чинить. А там каждый винтик нужно было клянчить либо в УПДК (Управление дипломатического корпуса), либо покупать в четыре цены, либо заказывать тем, кто едет за границу (где таких машин уже просто никто не помнит), записав на листочке марку, модель, точное название детали и так далее. В общем, ужас. Но все-таки Зяма упорно на ней ездил (он все-таки почти сразу научился ездить с правым рулем).

Зямина езда на этой «Вольве-Антилопе гну» подарила мне несколько дней «болдинской осени». Осенью Зяма немножечко зацепил своей «Вольвой» какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то оказался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виновным. Нависла угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции. Мы с Зямой взялись за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и каялись. Но... Размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались наконец до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советского ГАИ.

Приняла она нас сурово. Ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит, так: сочиняете два-три стихотворных плаката к месячнику безопасности движения. Если понравится — будем с вами... что-нибудь думать».

Милицейская «болдинская осень» была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы, которые даже сегодня, в наш бесконтрольный век торжества неноменклатурной лексики, печатать неловко. Но с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял (стоял на плакате, разумеется) пятиметровый идиот с выпученными глазами и поднятой вверх дланью, в которую (в эту длань) были врисованы огромные водительские права. А между его широко расставленных ног красовался наш с Зямой поэтический шедевр:

Любому предъявить я рад
Талон свой не дырявый,
Не занимаю левый ряд,
Когда свободен правый!

Это все, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15–20 заготовок типа:

Зачем ты делаешь наезд
В период, когда идет
Судьбоносный, исторический
24-й партийный съезд?

Зяма всегда и все в жизни делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не «перехватывал» в театре, между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин.

У Тани Гердт фамилия не Гердт. У Тани Гердт фамилия — Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия, от папы. Трудно поверить, что в конце XX века можно носить фамилию из фонфизинского «Недоросля», где все персонажи: Стародум, Митрофанушка, Правдин... стали нарицательными. Наричательная стоимость Таниной фамилии стопроцентна. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная. С ее появлением в жизни Зямы возникла железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться. Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно «возвращаться на базу» и падать к Таниным ногам. Что он и делал всю жизнь. Таня — гениальная дама, она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни.

Зяма был дико «рукастый». Такой абсолютный плотник. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе, у палаток — скамейку, стол, лавку, табуретку; всё это он сбивал за одну секунду.

Александр Ширвиндт, актер

Я тут недавно вспоминал Зяму, когда у себя в Завидове пытался построить сортирный стул, чтобы была не зияющая дыра, а чтобы всё было удобно. Я мучился, наверное, двое суток над этой табуреткой. И когда я забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак с другой стороны, — вся семья была в истерике. И я вспомнил Зяму. Он бы соорудил все это за две минуты, и это был бы самый красивый и удобный уличный сортир в цивилизованном мире. Он сделал бы трон.

Галина Шергова,
режиссер, журналист,
ПОЭТ

Виночерпий на пиршестве победителей. На празднике жизни. На котором он, в отличие от известных персонажей, не был чужим.

Разумеется, я должна тут одернуть себя — больно уж ударилась в восточно-вычурную стилистику повествования. Но не буду ее менять. Во-первых, потому, что Гердт сам любил подчас роскошества речи. А во-вторых, и главных, потому, что нет в таком зачине никаких излишеств и метафор. Просто он именно так вошел в мою жизнь. На празднике. Самом великом празднике нашего поколения — 9 мая 1945 года.

В тот день, ошалевшие от долгожданной радости, мы целый день блуждали по Москве, целуясь и братаясь с незнакомыми людьми, а вечером собрались на квартире моей подруги. Приходили самые разные посетители. И кто-то привел его.

Тоже узнанного только что. В комнату вошел маленький, худой человек на костылях. Вместо приветствия он отшвырнул костыли и, прискакивая на одной ноге, провозгласил: «Все! Они с нами уже ничего не смогут сделать!» И в этом ликующем утверждении была не только констатация окончания войны, беспомощности побежденного врага. «Они» вмещало в себя всех и вся, кто когда-либо попытается совладать с нашей жизнью, надеждами, порывами.

И вправду: все последующие полвека нашей дружбы я знала Зяму стойким оловянным солдатиком, которого не могли повалить ни трудности, ни покушения на свободу его выбора и человеческое достоинство. А доставалось ему достаточно всяких испытаний.

В тот вечер были извлечены все запасы водки, которую мы долго собирали, выменивая на хлеб, получаемый по карточкам. Очень хотелось этот хлеб съесть — мы все были молодые и голодные. Но мы копили водку к этому дню, который ждали так долго. И на этом пиршестве Гердт как-то естественно стал виночерпием. Не Саша Галич, не Семен Гудзенко, не те, другие, кто вернулся с войны, а он. Самый праздничный из всех. Он стал не разливайкой, а виночерпием.

Не было привычных уже военных кружек и граненых стаканов. Откуда-то были добыты бабушкинские дореволюционные бокалы, и водка в гердтовских руках не плескалась, не бухала в емкости, а почтительно ворковала с хрусталем,

подгоняемая Зяминными тостами, вроде бы и не подходящими к поводу питья: «За что же пьем? За четырех хозяек, за цвет их лиц, за встречу в Мясо-ед. За то, чтобы поэтом стал прозаик и полубогом сделался поэт!» Все мы, присутствующие там, были у истоков своей будущей поэзии или прозы. Всем нам верилось, что именно День Победы знаменует рождение будущих книг. Или фильмов. Или спектаклей. Откуда нам было знать, что дорога этих книг и фильмов к читателю и зрителю будет столь же трудной, а порой и смертельной, как и наши военные кочевья...

Но тогда пиршествовал праздник жизни, и все мы, самонадеянные и подвыпившие, верили безоговорочно: мы, и прозаики и поэты, станем полубогами. Недаром же тосты высокопарны, а виночерпий — великодушный хромой бес.

Что-то и впрямь не будничное, лукаво-бесовское было в его повадке. Даже имена реалий, окружавших его. Смотрите, как звучал адрес его жилья: Пышкин огород, Соломенная сторожка. Не какие-нибудь механические Метростроевская или Автозаводская. Там, на окраине с загадочным названием, Зямина семья жила в кособокой хибаре. Жалкой и немощной. Как-то, подведя меня к этой лачуге, Зяма сказал: «Вот тут будет висеть мемориальная доска: «Здесь жил и от этого умер Зиновий Гердт».

Обряжать притерпевшуюся обыденность в карнавальные одежды-шутки — удел избранных.

Галина Шергова, режиссер, журналист, поэт

Не хохмить, не тужиться в остроумии по каждому поводу, а вот так — обряжать с легкостью — Гердт умел.

Однажды Зяма, Леша Фатьянов и я поехали в Ленинград. Денег у нас почти не было, но так как всем нам светили питерские гонорары, мы, шикаря, поселились в «Астории». Но дни шли, а денег нам не платили. Мы уже таились от администрации гостиницы. Но в один прекрасный вечер нас ухватила съемочная группа: герою фильма актеру Хохрякову требовалось для съемок пальто. А найти такой огромный размер они не могли. И вдруг — Фатьянов, высокий, могучий. «Дайте, пожалуйста, пальто в аренду. Мы оплатим».

На доходы со съемок фатьяновского пальто мы протянули три дня до получения первых гонораров. Гердт окрестил спасительную одежду «труппа из тулупа» и каждый вечер разыгрывал мини-спектакли, где в разных амплуа выступало это самое пальто. И так во всем.

Даже о своих многочисленных браках он рассказывал, чувствуя веселую плоть слова. Один из его тестей был крупной шишкой в Средней Азии. Зяма отзывался о собственной жизни: «Влачу среднезятьское существование». Другая его жена была скульптором. Лепила фигурки, игрушки. Он называл это «детский лепет».

Да, женитьбы были многочисленными. Признаюсь, я со своими однолинейными вкусами, направленными на красавцев, не очень понимала

причины его оглушительного успеха у женщин. Хотя ценила и ум его, и талант, и непобедимое обаяние. Но, так или иначе, свидетельствую: Гердт нравился женщинам, пожалуй, больше других известных мне мужчин. Все они любили его самоотверженно и бескорыстно.

Меняли жен многие жрецы искусств. Помню разговор на Пушкинской площади драматургов Полякова и Прута. Оба они многократно уходили от жен, всякий раз строя квартиру для каждой. Тогда Прут, оглядевшись по сторонам, сказал задумчиво: «А неплохой городишко мы с тобой, Володя, отстроили!» Когда я рассказала эту историю Зяме, он грустно произнес: «На днях одна маленькая девочка сказала мне: «Мы получили комнату — семнадцать квадратных метров. Понимаете, квадратных!» А я даже обыкновенного метра никому не мог вручить. Обидно».

Действительно, настоящий собственный дом у него появился поздно. Вместе с настоящей женой. Когда Гердт женился на Тане и познакомил нас, я спросила его (Таня куда-то отошла):

— Ну, и какой срок отпущен этой милой даме?

Даже не улыбнувшись, он отвечал:

— До конца жизни.

— Что, как у Асеева, «из бесчисленных — единственная жена»? — Мы любили разговаривать строчками.

— Отсюда — в вечность. Аминь. А может — омен, возможны варианты.

Зяма сказал так. Так оно и произошло. Все предыдущие браки были как бы романами под общей крышей. Жизнь с Таней была семьей, домом, заботой, нерасторжимостью. И любовью. Не притушенной временем любовью.

Профессия настоящей жены — это множество ипостасей, порой вроде бы взаимоисключающих друг друга. Ведомый и поводырь, защитник и судья, подопечный и опекун... Таня — блистательный профессионал в этой старинной неподатливой должности.

Когда Зяма был уже безнадежно болен и терзаем болями, отхлынувшими силами, сомнениями, только она умела сказать: «Зялочка, надо». И он собирался. И, как гумилевский герой, «делал что надо». Она «учила его, как не бояться и делать что надо». Хотя этот маленький, хрупкий и немолодой человек и сам был мужественным до отваги. Но ведь и отважных оставляют силы...

За три месяца до кончины Зяма снялся в фильме по моему сценарию. Как? Это непостижимо — ему уже был непрост каждый шаг. Видимо, Таня сказала: «Зялочка, надо. Ты должен оставаться в форме». А может, и сам он решил, что нельзя потакать недугу. Да и дружбе он оставался верен, как умел это делать всегда. Он вышел на съемочную площадку, и никто даже не заподозрил, чего это ему стоило. И в перерывах он был Гердтом — праздником для всех, виночерпием общей радости. Ночью после съемок я мысленно перебирала

подробности, детали нашей многолетней дружбы. «Детали», — произнесла я про себя. Детали. И их великий бог.

Подробности — понятие перечислительное. Деталь — самооценность каждого атома бытия в сложнейшем взаимодействии этих частиц, которыми правит их бог. Только исполненный деталей многозначный мир может стать искусством. Или любовью. Родство с этим богом — посвящение в художники.

Гердт был из посвященных. Во всех его работах детали звучания, смысла, жеста были бесчисленны и единственны для того жанра, в котором он в данный момент творил.

Жест — особый инструмент в его мастерской. Руки Гердта, красивые, разговаривающие и ваяющие. Именно ваяющие нечто из пространства, из плоти пустоты. С их помощью слово обретало вещественность, зримость. Действо наполнялось бытием и событием деталей. Да, он работал не только в разных жанрах, но и в разных видах искусства. Гётевскому Мефистофелю не претило рассказать о повадках морских котиков. В собственном закадровом тексте документального фильма, а захочется — о них же киплингскими стихами. Оставаясь тем же, особым Гердтом, и всякий раз иным. Потому что управление деталями ему по плечу.

Стихосложением, мастерским жонглированием рифмами он тоже владел. Причем, чуткий к

Галина Шергова, режиссер, журналист, поэт

феномену стилистики, был и прекрасным пародистом. Играл в чужую манеру, играл звукосочетаниями.

К юбилею Леонида Утесова он сочинил музыкальное поздравление. Знаменитого утесовского извозчика приветствует возница квадриги на Большом театре:

«Здесь при опере служу и при балете я...» И поребячьи был горд найденной рифмой, упакованной в одну строку: «В день его семи-деся-ти-пяти-летия...» Леонид Осипович был в восторге. А вот Марк Бернес однажды на гердтовскую пародию обиделся... Впрочем, нет, не буду, не буду тасовать байки про Зяму. А то выходит какой-то дед Щукарь с изысканным мышлением и живописно-интеллигентной речью. Но и без баек — Гердт не Гердт. Точнее, без притчей, ибо в каждой забавной истории о нем заключен его способ общения с миром. Веселый и дружеский. Жизнь таких, как он, всегда потом расходится в апокрифах.

То, что ему бывало трудно, невыносимо больно, что в каждой работе он проходил через борения и сложнейшие поиски, было известно только ему. Да, может быть, еще Тане. Однажды он сказал мне: «Я вот что обнаружил: бывает так паршиво на душе, чувствуешь себя хреново, погода жуткая — словом, все сошлось. И тогда нужно сказать себе: «Все прекрасно», гоголем расправить плечи и шагать под дождем как ни в чем не бывало. И — порядок». Господи, какой простейший рецепт!

Юлий Ким,
ПОЭТ

ЗИНОВИЮ ГЕРДТУ
(СЫГРАВШЕМУ МЕФИСТОФЕЛЯ)

Вам дьявола играть не надо.
А почему?
А потому.
Вы человек такого склада,
Что не сыграть вам сатану.
В какой бы форме небывалой
И как бы ни велась игра,
Вас выдаст голос ваш лукавый,
Всегда желающий добра.
У вас такое порученье
От наших сереньких небес:
Свечи поддерживать свеченье
Меж Днепрогэсов и АЭС,
Чтоб я на свете жил и думал:
А все ж во мгле текущих лет
Есть этот бархат,
Этот юмор,
И грусть, и негасимый свет!

Юлий Ким, поэт

* * *

А не напрасно,
Не напрасно
Я записал Ваш адресок!
Ударил час, и грянул срок:
Вновь к Вам пишу.
И так же страстно.
Как в предыдущие разы,
Желаю всяческой тревоги,
Грозы, заразы и слезы,
Бузы,
Насильственной лозы,
Гюрзы, и бешеной козы,
И несчастливой полосы,
И слишком жирной колбасы
Избегнуть на своей дороге!

З.Е. ГЕРДТУ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Изо всех наилучший Зиновий
(Да простит мне товарищ Паперный)!
Среди множества Ваших любовей
Я не самый, наверное, первый.
Но зато, даже если я мальчик
По сравнению с Давидом-Булатом,
Я – первеющий Ваш воспевальщик!
Остальные хотят – да куда там...
Ну, напишут они фамильярность
Про «Божественную субботу»,

Друзья о Гердте

Под фальшивую высокопарность
Подпуская еврейскую ноту.
Ну, срифмуют, там, «замок» и «Зямок»,
Открывая ворота для прочих
«Обезьянок», «Козявок» и «Самок»
И других параллелей порочных.
И ведь все это как бы в обнимку,
Под закусочку и четвертинку,
Опустив, невзирая на совесть,
Вашу значимость,
вес
и весомость!
Ведь нема никого, кроме Кима,
Кто вставлял бы во все сочиненья
Ваше радио-, теле-, и кино-,
И театро-, и просто: значенье!
Кто бы ставил бы Вас неустанно
Рядом с Байроном и Тамерланом,
А не с Дьяволом и Паниковским!
Им же сравнивать Вас все равно с кем.
Им же к Вам бы заехать да выпить,
Да в обнимку еще половинку,
Да на съемку согласие выбить
На рекламку про рыбку-дельфинку.
Нет!
Когда я лобзаюся с Вами,
Я не с Вами лобзаюся, Гердт!
Я к Великой касаюся Славе
В виде Ваших обыденных черт!

21 сентября 1995

Юлий Ким, поэт

Зяма связан у меня с триумфом, который выпал на мою долю, когда я лежал в больнице. Он навещил меня, а потом я пошел провожать его до лифта. Из всех палат высыпали больные и смотрели, как он ко мне пришел и как я с ним рядом иду.

Олег Табаков, актер

Его голос я впервые услышал, будучи школьником в Саратове. Зиновий Ефимович пародировал Розу Баталову — по тем временам не менее знаменитую певицу, чем Людмила Зыкина. Он так легко и изящно проделывал это на волнах радиоэфира, что я веселился чрезвычайно. «Ой, Самара-городок, беспокойная я...» — забавлялся он, а вслед за ним и все радиослушатели. Впоследствии я попал на спектакль Театра кукол «Необыкновенный концерт» и удивился, как из обыкновенного шаржа на конференсье он создал живой характер. И в этом характере мог свободно рассуждать обо всем — от проблем Апокалипсиса до вопросов получения или отсутствия жилья.

Мы с Зиновием Ефимовичем вместе озвучивали и комментировали фильм «Если бы Ильф и

Петров ехали в трамвае». Часто встречались и в компаниях после спектаклей или съемок. Он был неизменно умен, остроумен и интеллигентен. Я могу вспомнить очень немногих людей, которые одновременно обладали всеми этими тремя достоинствами!

Он был удивительно красив, хотя его нельзя было назвать ни Робертом Рэдфордом, ни Рудольфом Валентино, ни даже Вячеславом Тихоновым. Но он всегда был удивительно мужественен и элегантен, чем сильно воздействовал на женский пол.

Я всегда дивился его запасам жизнелюбия, бесконечному юмору. Бывало так, что мы подолгу друг друга смешили. Я нежно любил его и люблю.

Константин Райкин, актер

Я помню его с раннего детства. Он дружил с моими родителями. Всегда веселый, остроумный, очень обаятельный, очаровывающий, праздничный, артистичный, с умным завораживающим голосом... хромой, но невероятно элегантно двигающийся и превративший хромоту чуть ли не в достоинство своей походки. Он всегда естественно и на равных со мной разговаривал – не было сюсюканья и поддавок, столь обычных при общении взрослых с чужими детьми. Я почему-то, будучи еще ребенком, сразу поверил, что ему со мной очень интересно. Он действительно увлеченно со мной беседовал, внимательно слушал, а больше всего мне нравилось, как он хохочет от каких-то моих рассказов и показов. Наши отношения всегда, с моего раннего детства до последнего телефонного разговора, были одинаково сердечными.

Спустя много лет, когда я уже был актером, он любил напоминать мне о моих детских фантазиях. «Помнишь, — говорил он, — как ты показывал соревнования по прыжкам в воду с вышки высотой десять тысяч метров? Как прыгун сначала страшно боится, долго с ужасом смотрит вниз, потом, закрыв глаза, отчаянно бросается и летит. Потом потихоньку привыкает к полету, расслабляется, начинает смотреть по сторонам, летит то боком, то вверх ногами, то как будто развалившись на диване, — в общем, уже совершенно развязно и нагло, потому что судейская бригада сидит гораздо ниже самой воды и до нее еще далеко. И только подлетая к воде, он собирается, вытягивается в струнку и проносится мимо судей в идеальном виде. Я тогда сказал Аркадию: «Ты бы не смог такого придумать. Ты бы смог показать прыжок со стометровой вышки, ну, с пятидесятиметровой, но с вышки в десять тысяч метров тебе бы не пришло в голову».

Он очень поддерживал мою веру в себя. Особенно в начале моего актерского пути, когда я, измученный самоедством, придавленный тяжестью отцовской фамилии, все-таки пытался выжить и так нуждался в поощрении. Думаю, что он всегда понимал, как мне сложно заниматься этой профессией, будучи сыном Райкина.

Он приходил ко мне за кулисы после спектакля и говорил: «Никто в мире не сыграл бы эту роль так, как ты». Мне кажется, он всегда это делал специально, чтобы меня поддержать. Так же как и то,

что строил свои отношения со мной подчеркнуто отдельно от отношений с моим отцом. Мы с папой очень любили друг друга и были чрезвычайно близкими людьми, но я навсегда благодарен дяде Зяме за независимую оценку моей личности. Для меня это было необходимо, особенно учитывая его собственный огромный авторитет. А уважение и восхищение, которые он вызывал своим талантом, остроумием, интеллектом, трудно передать словами. Он был интеллектуальным символом времени. Его магический голос, переводивший фильм «Возраст любви», придавал картине едва ли не большее обаяние, чем сама Лолита Торрес, исполнительница главной роли. А когда он, переводя текст песни героини, запел вместе с ней, это производило на меня неизгладимое впечатление. Кино казалось лучше, чем было без перевода. Вообще, если в фильме звучал голос Гердта — фильм не мог быть пустым.

А его знаменитые фразы, шутки, остроты, каламбуры... Зрителям на своем творческом вечере, сочувствовавшим его хромоте и предложившим ему присесть на стул на сцене, он говорил: «Ничего, ничего... Вы сидите за свои деньги, а я стою — за ваши». Ощупывая у себя чуть появившийся животик: «Комок нервов»... Подпись под очень вежливым посланием негодяю: «Искренне преданный Вами Зиновий Гердт». Встретившись со своим тезкой Зиновием Паперным: «Сколько лет, сколько Зям!»

А знаменитые застолья у него на даче или в московской квартире! За столом собирались Булат Окуджава, Орест Верейский, Александр Твардовский, Петр Тодоровский, Михаил Козаков, Александр Ширвиндт, Валерий Фокин... У Гердтов всегда было очень вкусно, жена дяди Зямы Татьяна Александровна готовила замечательно. Но еда и выпивка — повод. Мне не столько елось и пилось, сколько слушалось и смотрелось. Какая плотная насыщенность таланта, юмора, ума возникала за этим столом! Какие замечательные звучали стихи!

Дядя Зяма совершенно уникально, неповторимо читал стихи. По моему ощущению, он читал Пастернака, Твардовского и Самойлова лучше, чем кто-либо другой. Вообще поэзия была его стихией. Он становился прекрасным, от него нельзя было оторвать глаз. Он говорил мне, что знает наизусть все стихи Пастернака. Рассказывал, что однажды на своем творческом вечере в ленинградском Доме искусств играл с залом в игру, когда ему называли первую строчку из любимого стихотворения Бориса Леонидовича, а он наизусть читал его до конца. И все же не это самое главное и удивительное. Главное — КАК он их читал! Он это делал абсолютно ясно по мысли, без шаманств и подвываний, при этом невероятно лично и эмоционально. Одновременно высоко и просто.

Кто он был, дядя Зяма Гердт? Конечно, замечательный артист. Уникально одаренный человек. Он олицетворял собой духовную элиту нашего

Друзья о Гердте

времени, был общепризнанным аристократом духа от актерского цеха. Конкретно для меня он был человеком, который помог мне почувствовать себя полноценной личностью, поверить в собственную творческую состоятельность. При нем я чувствовал себя талантливym.

Я помню наш последний телефонный разговор. Я уже знал, что он очень болен, но счел необходимым пригласить его на вечер нашего театра, посвященный памяти отца. Его 85-летию. Он быстро, как-то вскользь поблагодарил и сразу стал говорить мне необыкновенно ласковые, нежные слова про меня, мой театр, мои роли. Я слышал, что физически говорить ему трудно, но говорил он как-то внутренне покойно, светло и возвышенно. С незабываемой добротой. Тогда я понял, что он со мной прощается.

Владимир Конкин, актер

Когда я учился классе в пятом-шестом, мы с папой и мамой, приезжая в Москву, частенько заходили в Театр кукол. «Необыкновенный концерт» я смотрел, наверное, раз семь! Тогда и заметил удивительного человека, который, выходя на поклон, чуть-чуть возвышался над ширмой. С грустной, иронической, добродушной улыбкой и печальными, как у саниеля, глазами. Мы встретились в Одессе на фильме «Место встречи изменить нельзя», где Зиновий Ефимович сыграл небольшую роль моего соседа. Я рассказал ему о том, как, будучи ребенком, смотрел «Необыкновенный концерт», и был поражен: он чуть не расплакался!

Зиновий Ефимович никогда не ранил своими шутками, не шутил обидно, не трунил над внешностью — это было не в его характере. Людям,

Друзья о Гердте

которые пытаются публично «юморить», стоило бы поучиться такту, деликатности и истинному юмору, каким владел Зиновий Гердт.

Однажды он меня подвозил. Одновременно вел машину и умудрялся быть внимательным и ко мне, и к двум дамам, сидевшим на заднем сиденье. Удивительно деликатный был человек! Для меня он всегда оставался воплощением актерского и человеческого достоинства. При том что он был покалечен на фронте и пребывал на положении инвалида...

Елена Коренева, актриса

В 1982 году я вышла замуж и собиралась ехать к мужу в Америку. Естественно, официальное общественное мнение было против меня. Поэтому, сидя в Москве в ожидании визы, я чувствовала себя одиноко. И однажды возле Тишинского рынка встретила Зиновия Ефимовича. Я поздоровалась и побежала дальше, понимая, что он вряд ли захочет со мной разговаривать. А он остановил меня, хлопнул по плечу и воскликнул: «Ну что? Какое приключение в жизни, а? Вот здорово!»

Николай Бурляев, актер

Всего один раз Бог дал мне радость партнерства с Зиновием Ефимовичем. Это случилось на фильме «Военно-полевой роман». Он был занят всего в трех сценах, но эти три дня съемок прошли под знаком Гердта. А незадолго до ухода из жизни он подарил мне фото и написал: «Мы нашли друг друга. Не оброните меня, а я-то вас уж точно не оброню!»

Лидия Федосеева-Шукшина, актриса

Однажды я участвовала в его программе. С тех пор у меня остался подарок – очень красивый чайничек. Мне было вдвойне приятно это приглашение, потому что Гердт снимался у Шукшина в «Печках-лавочках». У них была удивительная взаимная привязанность, ведь Зиновий Ефимович был гениальным рассказчиком, а Василий Макарович – гениальным слушателем. Для Шукшина порой было достаточно одной фразы, чтобы написать на ее основе рассказ.

Аркадий Арканов, писатель, драматург

В те послевоенные годы, когда я впервые увидел Гердта, я испытал восхищение вперемешку со священным трепетом, которое испытывает юноша, сидя на трибуне и глядя на какого-нибудь футбольного кумира, и ему кажется, что никогда в жизни ему не удастся встретиться с этой знаменитостью... Все это происходило со мною, когда я смотрел игры с участием великого русского футболиста Константина Ивановича Бескова, ставшего потом замечательным тренером. Мне казалось, что дистанция, которая нас разделяет, невероятна, как от солнца до меня. Через годы мы с Константином Ивановичем незаметно оказались друзьями, и выяснилось, что возрастная разница между нами всего десять лет. Точно так же, глядя на Гердта, я понимал, что между нами вселенная, что мне никогда не оказаться рядом с этим человеком.

Я был скромным школьником, затем стал студентом медицинского института, где и оказался в замечательном самодеятельном театрально-эстрадном коллективе. Там все делалось на таком высоком уровне, что мы завоевали серебряную медаль на Международном фестивале молодежи и студентов в 1957 году. Успех нашего коллектива был огромен, и распространялся он, как теперь говорят, не только на Москву, но и на регионы. Нас приглашали на ноябрьские праздники, на майские вечера, на новогодние концерты и так далее. Короче говоря, нас знали. И в первую очередь нас знала артистическая общественность Москвы по нашим концертам в ЦДРИ (Центральный дом работников искусств) и ВТО (Всесоюзное театральное общество). И вот на одно такое представление пришел Зиновий Ефимович. Еще перед началом мы знали, что сегодня в зале Гердт.

Я выступал со своими миниатюрами и как автор, и как исполнитель и читал все ему в глаза. Его реакция просто ошеломила меня. Его неповторимый хохот звучал совершенно отдельно от общего смеха. Так лучезарно, так добродушно и любя он смеялся, что мы все чувствовали себя буквально обласканными гердтовскими флюидами. После концерта он прибежал к нам за кулисы: «Роскошно! Это было потрясающе! Дико смешно!» При этом он тут же сам начинал заразительно смеяться. Каждому он пожал руку, для каждого нашел какие-то добрые слова, и вот тогда-то мы и познакомились.

В это время мы уже подружились с Шурой Ширвиндтом, а он, в свою очередь, уже давно дружил с Зиновием Ефимовичем. Мама Шуры, Раиса Самойловна, была прекрасным администратором и известным театральным деятелем, работала в Москонцерте и ВТО, ее знали и любили все. Знал и обожал ее и Гердт. А когда состоялось знакомство семьями, то тут же немедленно возникла дружба Гердта с тогда еще первокурсником Александром Ширвиндтом. Сначала Гердт относился к Шурику как к Шурику, затем постепенно Ширвиндт вырос в самостоятельную и очень яркую творческую личность, разница в возрасте сглаживалась, и они стали, наверное, самыми близкими друзьями. Благодаря Шуре и началось мое сближение с Гердтом.

У меня язык не повернется сказать, что мы с Гердтом были друзьями. Я входил в круг его близких приятелей, подчеркиваю. В первый эшелон входили Львовский, Тодоровский, Ширвиндт, Рязанов... Я существовал во второй орбите окружения Зиновия Ефимовича.

Он помнил обо мне и всегда звал на семейные торжества — я этим очень гордился. С женой Гердта Татьяной Александровной я общался на «ты», а вот его самого я называл, естественно, на «вы». Для меня было невозможным назвать Гердта Зямой. Хотя он сам всегда представлялся новым людям именно так. Однажды он мне сказал: «Что такое, Аркадий, что это такое? Что за Зиновий Ефимович?» Под напором я переходил на «Зяму»,

но затем тихо и незаметно снова вводил в нашу беседу «Зиновия Ефимовича».

В работе как таковой я с Гердтом не встречался, у нас не было никаких совместных проектов. Мы пересекались с ним только на концертных площадках, то есть выступали в одних и тех же представлениях. Я наблюдал его за кулисами, мне было просто интересно изучать процесс его подготовки к выступлению.

Каждый актер ведь готовится по-своему: кому-то нужно прийти за полтора часа перед спектаклем, кто-то влетает в гримерную за пять минут до начала. Минут за десять перед выступлением Гердт, разговаривая с вами, был уже не в разговоре. Он мог что-то рассказывать, шутить, смеяться, очень внимательно слушать вас, но... Гердт был уже не с вами, а там, на сцене. Он уже мысленно разглядывал публику, прислушивался к ней, к ее настрою, внутренне выбирал тон... но при этом совершенно нормально разговаривал с вами. И только за две-три минутки до своего выступления он реагировал на разговор автоматически. И когда одним ухом Гердт улавливал, как конференсье уже заканчивает свою репризу, он непременно говорил: «Аркашенька, не забудь, пожалуйста, что ты мне хотел рассказать, потом обязательно доскажешь. Я сейчас уже бегу».

Я оставляю за скобками его талант, его индивидуальность — это и так понятно, но он еще к тому же был профессионалом высочайшего класса. Не с

точки зрения ремесла, а в самом высоком смысле слова — с точки зрения отношения к своей работе. Неважно, выступал ли он на сцене или стоял за ширмой в театре Образцова, снимался ли в кино или работал на телевидении. Он был железным профессионалом, хотя при этом был абсолютно земным человеком. Любил пображничать, любил вкусно поесть, посидеть за столом, побалакать. При этом он мог выпить очень много, но все знали, что если завтра у него спектакль, концерт или съемка — он будет свеж и элегантен, как всегда. Никаких следов дружеских возлияний, никаких недомоганий или болей никто и никогда не видел на лице Гердта, пришедшего на работу. Ни один режиссер, ни один коллега ни разу не засомневался в Гердте как в партнере, потому что на него можно было положиться всегда: он непременно будет вовремя, у него все будет в порядке, он будет точен и нигде никого не подставит.

Находясь в преклонном возрасте и будучи уже больным человеком, Гердт выдерживал чудовищные нагрузки. Последние годы он уже выступал с воспоминаниями о своих друзьях, стоя по два часа на сцене. Стоя, подчеркиваю. Рассказывал, показывал, пел и выдерживал жесточайший график гастролей. Ведь когда закончилась «эра Москонцерта», администраторы, пользуясь тем, что фамилия Гердт в любом городе обеспечивала полный аншлаг, делали на нем очень хорошие деньги. И эксплуатировали они Гердта нещадно. Они заряжали такое количество концертов, ко-

торое было не всем молодым актерам по плечу. Гердт выдерживал все, без единой жалобы. И что меня больше всего поражало — Гердт очень любил комфорт, чтобы все было чисто, аккуратно, чтобы все было удобно, чтобы все было под рукой, чтобы еда была вкусной. Но при всем при этом он никогда не выставлял каких-то особенных условий администраторам, как это случается сейчас с едва оперившимися актерами, поп-певцами, которые требуют «Мерседес» определенного цвета и модели, охрану, определенный интерьер апартаментов и тому подобное. Для Гердта всегда было достаточно, чтобы в номере было тепло, светло и чисто.

Гердт всегда очень внимательно наблюдал за тем, что делают его друзья. Он был первым читателем всех моих рассказов, миниатюр, повестей и очень почтительно отзывался о том, что я делаю. Для меня это было как награда. Прочтя один из моих рассказов под названием «Соловьи в сентябре», он сказал: «Аркадий, вы знаете, что в советской литературе последних лет есть только два рассказа, которые могут быть поставлены на пьедестал. Это «Случай на станции Кречетовка» Александра Исаевича Солженицына и ваш рассказ «Соловьи в сентябре». Такого я про себя даже подумать не мог...

Он мне частенько звонил и спрашивал: «Аркашенька, ты что-нибудь написал новое?» Я не успевал ничего ответить, как он тут же продолжал: «Зна-

чит, так, сейчас три часа, в пять Таня накрывает на стол. У меня есть совершенно потрясающие напитки, ты приезжаешь ко мне и читаешь все, что ты написал». На любые попытки возражать (иногда ведь у меня были заранее назначены какие-то важные дела, встречи) он отвечал: «Ты запомнил, Аркадий? В пять часов, я сказал. Не в пять тридцать, а ровно в пять я тебя жду».

Я приезжал, мы бесподобно вкусно ужинали, прикладывались к напиткам, и я читал ему свои новые вещи. Никаких профессиональных советов он мне никогда не давал. Он мог высказать свое впечатление, какое-то замечание, не более того. Когда я сам в чем-то сомневался, когда что-то не клеилось, я ехал к нему и читал то, в чем сомневался, и его реакция говорила мне обо всем. Я моментально понимал, чего же у меня здесь не хватает, в чем загвоздка. Но если Гердт говорил «это хорошо», меня взвинчивало до самого потолка. Я был счастлив.

Как-то раз я приехал к нему, одевшись по-рабочему, не выпендриваясь. На мне была телогрейка, какая-то ушанка... Он открыл дверь, и я ему сказал таким басом: «Хозяин, где читать будем?» Он был в восторге.

Я видел его за три недели до смерти. Он проводил «Чай-клуб» у себя на даче. Он был очень слаб. Его вывозили к столу в кресле, но он смеялся и шутил, он держался. Потом он лег. Все участники этой застольной съемки продолжали выпивать, разго-

варивать, вспоминать. Кто-то пытался наведаться в комнату Гердта, но Таня охраняла его покой, как всевидящий сфинкс. Он не хотел, чтобы его видели в такой немощи, с такими муками на лице, он хотел, чтобы вечер закончился так же радостно, как и начался. Я тоже пытался сказать Тане, как, мол, так, мы здесь все сидим, выпиваем, отлично себя чувствуем, а он там лежит... Она мне ответила: «Аркадий, сейчас он должен быть один. Если он вернется за стол, ему будет плохо от того, что он не сможет вам соответствовать». Когда я уезжал, зашел к нему. Он не спал, а просто лежал в темной комнате. И все время вздыхал. Мы с ним поговорили, я ему подарил свою новую книгу. Он мне обещал обязательно прочесть. Я его спросил: «Зяма, ну что вы все время вздыхаете? Вам больно?» — «Ах, Аркаша... — ответил Гердт. — Да не больно мне. Как бы тебе это объяснить... Ну, не хочется мне уходить из этой жизни...» Я не спрашивал, почему. Думаю, потому, что он не сделал чего-то главного в этой жизни, и потому, что очень любил эту жизнь и умел жить. Когда он поднимал бокал, он всегда говорил: «Вот мы все здесь свои за столом... Шурик, Аркаша... Поверьте, я нисколько не боюсь того, что мы все называем смертью, нисколько. Я готов к этому. Я просто хочу, чтобы мы все жили хорошо, благополучно, в нормальной стране. Я хочу, чтобы все эти негодяи и козлы сгинули. И я не хочу, чтобы вы стали козлами».

И к себе, и к другим людям он всегда был честен. Он никогда никого не подставил, не заложил

Друзья о Гердте

и не продал. Перед Богом он был чист. Оттого и не боялся ничего. И что его поддерживало в жизни? Его потрясающее окружение. Люди, с которыми он дружил на протяжении всей своей жизни, не давали ему ввинчиваться в ту воронку, откуда уже нет выхода. Ведь у каждого человека бывают минуты, когда он задумывается: «А стоит ли вообще дальше жить?» В такой ситуации к Гердту (даже уже глубоко больному) мог войти Шура Ширвиндт и сказать с порога: «Зяма, ты что, обалдел? Ты что здесь разлегся?! Сегодня же вечеру этого!» И тогда Гердт резко оживлялся. Он вскакивал, собирался и несся на этот вечер.

Весь ужас заключается в том, что когда такие люди, как Гердт, уходят, то для нового поколения людей не остается никаких переходных мостиков, никаких связей. Да я даже не знаю, возможно ли для новой генерации преодолеть этот разрыв, который остался после того, как не стало Гердта. Вряд ли. Для того чтобы снова возникли такие «могикане», нужны многие и многие годы. Они должны самозародиться опять, как самозародился и сделал себя сам Зиновий Гердт.

Инна Чурикова, актриса

Я очень гордилась тем, что он меня привечал. Каждый раз говорил мне комплименты, а я каждый раз рдела. К тому же он был, мне кажется, очень привлекательным мужчиной. Мужского рода, что очень важно. Обладал всеми теми качествами, в которые влюбляется женщина, и владел тайнами, которые нам так дороги.

Он не раз читал мне Блока, и делал это бесконечно талантливо и умно. Настоящий аристократ, ведь аристократизм — это чувство равенства со всеми. Он сохранял достоинство и с представителем власти, и с простыми людьми. При том что многие наши деятели культуры пригибаются перед людьми власти: головка уходит вниз, вырастает горбик...

Не сочтите за каламбур, но он учил людей прямо и верно ходить. Все его друзья в той или иной степени на него похожи. Да он просто солнышко! Просто очень светлый человек.

Михаил Козаков, режиссер

— Зиновий Ефимович! Куда ты лезешь? Тебе почти семьдесят лет! Я боюсь за тебя!

— Нахал! Здесь дамы. Что за бестактность!

Перепалка эта произошла на съемках телеспектакля «Фауст», в котором Зиновий Ефимович исполнял роль Мефистофеля. А лез почтенный артист на самый верх декораций, чтобы там, сидючи, как на насесте, на самом верху деревянной стенки, сколоченной из планок, спеть, обращаясь к находящейся внизу толпе, заключительный куплет из гётевской баллады «Крысолов»:

Все покоряются сердца
Искусству дивного певца...

Был трудный день, и в первую очередь для Гердта.

Фонограмму музыки наш композитор принес только утром. А с четырех дня начиналась съемка этого эпизода. Гердту предстояло выучить красивую, но чрезвычайно непростую мелодию и тут же записать под фонограмму чистовой вариант. Все это мне, режиссеру спектакля, представлялось абсолютно нереальным. Однако Гердт выучил, осмыслил и спел несколько раз, чтобы у нас была возможность выбрать нужный вариант. А затем в тот же день произошел описанный выше эпизод, когда Зиновий Ефимович в буквальном смысле полез на стенку. «Что за человек! — думал я. — Откуда у него силы, энергия? Какое виртуозное мастерство!»

Строчки стихов Бориса Пастернака, которого Гердт так любит и часто читает с эстрады на своих сольных концертах, «цель творчества — самоотдача...» — для артиста не красивая фраза, а выстраданный смысл жизни.

Как Зиновий Ефимович Гердт за 29 съемочных дней сумел сыграть, спеть главную роль — Мефистофеля, роль в стихах, в двухсерийном телеспектакле, длиной в два с лишним часа экранного времени? Он был готов к решению этой задачи всей предыдущей жизнью. Мы снимали эпизод «Кухня Ведьмы» из «Фауста», задыхаясь от пиротехнического дыма. Мы вообще задыхались от этого дыма все 29 съемочных дней в маленькой студии на Шаболовке. Дым был нам необходим как воздух, не меньше чем воздух. Дело в том, что бедность оформления (учебная программа не

Друзья о Гердте

предусматривает постановочных средств!) нужно было чем-то закамуфлировать. И тогда приходила на помощь вся наша коллективная фантазия — художника, оператора, и первыми помощниками были пиротехник и его дым.

Мефистофелю — Гердту пришлось сниматься с животными — две обезьяны и петух. К середине смены обезьяны сникли, а петух не выдержал удушья и упал в обморок. По счастью, у петуха был «дублер» — другой петух. Гердта дублер не страховал, Зиновий Гердт у нас один. Я подошел к нему: «Зяма! Смотри, а ты живой!»

Алексей Веселовский, тележурналист

Зиновия Ефимовича пригласили на российское телевидение прочитать одно из рождественских стихотворений Бориса Пастернака. Тогда-то он и поделился своей мечтой — почитать стихи со сцены, с экрана. У руководства канала подобная идея энтузиазма не вызвала, и съемочной группе пришлось действовать на свой страх и риск. «Нас поддержал тогда лишь Анатолий Лысенко, — вспоминает автор передач Ирина Кленская, — хотя сам он к тому моменту на РТР уже не работал — перешел на ТВ-Центр». И они снимали. Приезжали к тяжело больному Гердту и снимали. Боялись опоздать, не успеть.

Не успели. Да и нельзя было успеть. Всегда что-нибудь остается недосказанным, неделанным. Гердт читал стихи, и каждый из них становился новеллой о его собственной жизни. Он не хотел

Друзья о Гердте

читать любовную лирику, говорил, что его это сейчас мало интересует. Ему было интересно состояние человеческой души.

Гердт был еще жив, когда кассеты с передачами легли на стол тогдашнего художественного руководителя телеканала РТР Игоря Угольниково. Он их в эфир не выпустил. Ирина пробовала объяснить важность снятого, необходимость показать эту сию минуту, но натыкалась лишь на стену молчаливого отчуждения. Сейчас она не знает, было ли тогда ошибкой то, что она перестала таранить стену. В душе осталось лишь ужасное чувство чего-то навсегда упущенного. «Я не обижаюсь, люди такие, какие они есть. Главное — не разозлиться. Как только ты разозлишься — ты исчезнешь, ты потеряешь себя».

Преступление, что таким большим артистам не дают высказаться. Полагают, что это для немногих, для меньшинства. Но когда нормально говорят о любви, о жизни, об отношениях человеческих — это понятно каждому. Неправильно, когда говорят: культура для немногих. Я считаю, некультура должна быть для немногих. Есть передачи, которые всегда будет смотреть меньшинство. Пусть их ставят ночью, но пусть им дадут возможность существовать.

Гердт не помнил своих врагов и не пожимал руки подлецам.

Сара Погреб,
ПОЭТ

ЖАЖДА

З. Г.

Не знаю за что, но за что-то в награду
Внимательный блеск мимолетного взгляда.
А голос от Бога. Сбывание снов.
Стихов водопад,
И поток,
И прохлады,
И нет утоленья!
Бесценен улов,
Но нет утоления... Шторы раздерни:
Просторы апрельскую пьют тишину.
А голые ветки похожи на корни,
Из неба сосущие голубизну.

Друзья о Гердте

ПОСВЯЩЕНИЕ

3. I

Счастливей и грустнее всех.
А небо машет синим флагом,
И звать тоскою просто грех
Порывистую эту тягу.
Дотягиваюсь —
Чтоб отдать.
Туманностями поделиться.
И суеверно угадать,
Что раз болит, то, значит, длится?

* * *

Зиновию Гердту

Есть медицина лирики высокой.
Летит спасать — ты только позови.
И привитые в отрочестве строки
Целебно циркулируют в крови.

Мне кажется, мы составляем братство.
Нам выдан был без векселя заем.
Врачует дух подспудное богатство,
И мы друг друга всюду узнаем.

Звучит пароль: «Я — с улицы, где тополь...»
И отзыв, точно выдох: «...удивлен».
И будто где-то скрещивались тропы,
И нас качал в пути один вагон.

Сара Погреб, поэт

«Вошла ты». Отзыв: «Резкая, как «нате!»
То облако над нами навсегда,
Как будто был один у нас фарватер.
Одни созвездья. Общая беда.

Пароль: «Как это было! Как совпало...»
И отзыв: «Это все в меня запало».
Поэзия. Сама душа России.
Снега. Дожди.
Как правило, косые.

* * *

З. Г.

Он не дождался в этот год метели.
Без нас уплыл к невыразимой цели
И, в немоту укутанный, плывет..
Но Брамс,
Но баритон виолончели
Напомнил мне нетленный голос тот.
Пока живу, покуда чудо длится,
И под дождем олива шевелится,
И я в тиши губами шевелю,
В любимых строчках —
Все презрев границы —
Он здесь. За всех твержу ему: люблю.

Ноябрь, 1996

Валерий Фокин, режиссер

Я часто думаю, откуда в нем эта тонкость, элегантность, умение получать удовольствие от жизни? Наверное, эти качества свойственны преимущественно людям, немало пережившим, многим переболевшим душевно и физически. Для Зиновия Ефимовича это прежде всего война, ранение, два года почти полной неподвижности. Он жаден до людей, но «коллекционировать» их предпочитает не по рангу, а исключительно по душевным качествам. Для него важен не род занятий человека, а то, какой он «пробы». Но были случаи, когда Зиновий Ефимович обманывался, тут же мысленно для себя этого человека зачеркивая. Хотя об этом Гердт предпочитает умалчивать. И можно предположить, что изысканный, самого высокого класса юмор был необходимым средством самозащиты.

Впервые мы встретились с ним в 1977 году в работе над спектаклем «Монумент» по пьесе Энна Ветемаа в театре «Современник». Он жутко боялся после такого большого перерыва выходить на драматическую сцену, но тем не менее сыграл достойно. Потом мы сделали с ним на телевидении бальзаковского «Кузена Понса» — очень хорошая, но все-таки традиционная работа для Гердта, которого все привыкли видеть либо ироничным, либо жалковато-трогательным. Несколько лет спустя в Германии я нашел пьесу Танкреда Дорста «Я, Фейербах», и сразу же возникло желание сделать телевизионный спектакль с Гердтом в главной роли. Мы репетировали и снимали в Новгороде, на сцене местного драматического театра. Было тяжело, обстановка там не всегда располагала к творческому процессу, да и сам Зиновий Ефимович был не в самой прекрасной физической форме. Но я был поражен тем, как он работал: пять дублей — пожалуйста, шесть — пожалуйста, столько, сколько нужно. А роль-то была огромная, ведь по существу «Фейербах» — монопьеса. Его невероятная самоотверженность была примером для всей группы.

Гердт учил остальных, как надо работать. На него можно было засмотреться: каждое замечание он пропускал через себя, пытаясь добиться того, что нам всем было нужно. Он существовал «на разрыв аорты», совершенно не жалея себя. Знаете известную фразу Михаила Ромма о том, что «каждый

кадр нужно снимать, как последний»? Красиво сказано, но мы-то знаем, что в жизни не всегда так получается. Случай с Гердтом — исключение, подтверждающее это правило.

На съемках «Фейербаха» я узнал Гердта как серьезного артиста, с мощным трагическим багажом. В процессе репетиций мне вдруг стало казаться, что я вижу его в иной роли. Потом я понял, что тот другой — король Лир. В Гердте раскрылся целый набор свойств, способных стать основой для шекспировской роли. В знаменитом фильме Григория Козинцева он дублировал Лира — Ярвета. Зачастую бывает, что дублирующий актер играет нечто свое, а голос Гердта абсолютно совпал с игрой Ярвета, в какой-то степени укрупнив образ, возвысив его.

Внезапная догадка помогла мне тогда по-новому взглянуть на Зиновия Ефимовича, на его редкую артистическую природу, сочетающую внешность «маленького» человека и героическое нутро. Это несоответствие внешнего и внутреннего придает необычайную манкость его индивидуальности. В этом смысле его, конечно, «пропустили» режиссеры. В свое время Петр Тодоровский попытался разрушить привычный взгляд на Гердта, дав ему главную роль в володинском «Фокуснике». Его долго не хотели утверждать, но он сыграл там едва ли не лучшую свою роль в кино. В нем была нетрадиционная для советского времени элегантность — красивый человек, с каким-то белым шарфом, рядом с красивой женщиной...

Я очень жалею (это моя вина), что не успел поставить с Гердтом «Короля Лира». Я видел Лира не могучим героическим стариком, а вот таким вот «гердтовским», в котором есть и сила, и детскость, и резкость, и заблуждения. Я стал думать об этой постановке только в последние годы, когда Гердт был, увы, уже болен.

Сам же Гердт все время подчеркивал, что он не артист. У него действительно не было глупого актерского самолюбия и мелкого тщеславия, но раз он всю жизнь этим делом занимался, то стало быть, чуть-чуть лукавил. Вспоминая сегодня то бесстрашие, с которым он «вкалывал» на «Фейербахе», хочется повторить слова Мейерхольда о том, что «в театре надо служить, а не работать». Это служение Гердтом никак не формулировалось, он просто каждый раз тратил себя, порой сжигая дотла. Пожалуй, это мне в Зиновии Ефимовиче дороже всего. Он — живое воплощение тех заветов, о которых мы привыкли читать в книгах и думать, что из реальной жизни они навсегда ушли.

Он замечательно писал, но, увы, никто, в том числе и я, не смог убедить его напечатать что-нибудь.

Думаю, Гердт занимает в нашей среде место, которое принадлежит только ему. Он, как некий мостик, осуществляет связь между поколениями людей, с которыми общался в тридцатых годах,

во время Великой Отечественной войны, и теми, кто его окружает сейчас. Один исторический пласт перешел в другой, в третий, образовав своеобразный «многослойный пирог». Сегодня мало осталось людей, которые видели живым Мейерхольда, и Гердт — один из немногих. И дело, конечно, не в том, что он его ярко показывает, гораздо важнее, что Зиновий Ефимович впитал в себя его природу: с одной стороны, очень актерскую, с постоянной жаждой быть у всех на виду, и одновременно с этим гениальную. Почему-то мне часто вспоминаются свидетельства очевидцев о том, как Мейерхольда в последние годы жизни называли «молодым человеком». Валентин Николаевич Плучек рассказывал, как однажды после какой-то репетиции они с приятелем стояли около театра, шел дождь, и настроение было неважное. Вдруг вышел Мейерхольд, взглянул на них и воскликнул: «Дождь! Туман! Мопассан!» — и пошел по улице, в дождь, без зонта. Мне кажется, что это ощущение «прекрасное» — неповторимости каждого мгновения — было и в Гердте.

Несмотря на опыт, многочисленные звания и регалии, в нем напрочь отсутствовала абсолютная уверенность в себе, каждый раз он был готов все начинать с нуля, мучиться и переживать, словно новичок. А по убеждению Мейерхольда, это и есть самое прекрасное в искусстве — на каждом жизненном этапе, вновь и вновь чувствовать себя учеником.

Если он во что-то верил — то верил. Он обладал безукоризненным чувством правды. Совестью. Это редкий случай. Много людей вам известно, кто в период известных событий вышел на Красную площадь и выразил протест? А вот Гердт вышел и сел на мощные камни. А когда чуть ли не сам Лужков подошел к нему и сказал: «Пойдемте, Зиновий Ефимович, не нужно здесь сидеть. Нас могут защитить...» — он ответил: «Я просто хочу посмотреть им в лицо, как они меня, ветерана войны, еврея, будут убивать». Не каждый может совершить такой Поступок. А между тем мы сами воспринимали его по большей части как остроумного собеседника, как Зяму, который всегда шутит, который всегда элегантен и шампанистый.

Так же его воспринимал я сам. Чаще всего я пропускал его настоящего — это я теперь понимаю. Понадобилось какое-то время. Несколько лет мы вместе отдыхали, жили в одной палатке в палаточном лагере и говорили обо всем.

Однажды я случайно вошел в комнату и увидел Гердта, корчащегося от боли. Он никогда не демонстрировал (ни специально, ни случайно) свои мучения с ногой. Несмотря на то, что ранение доставляло ему адские боли, он был мужественным и сильным.

Я видел Гердта одиноким, грустным, но одиночество не было свойственно ему длительно. Он получал наслаждение, когда в его доме собиралось

много народа. Но это не было просто застолье. Он очень любил раскрывать людей, любил их обнаруживать. Бывает так, что за столом человек все время себя демонстрирует, «берет площадку» и уже не отпускает, «тамадит», иногда хорошо, иногда плохо. А Гердт любил, задав тон, незаметно отойти в сторону и с наслаждением вслушиваться в человека, в его рассказ, в то, как он реагирует.

Он никогда не хохмил ради того, чтобы хохмить, хотя большинство соотечественников знают и помнят Гердта именно великолепным рассказчиком, автором многих и многих остроумных крылатых выражений, собирателем всяких смешных историй, баек и анекдотов. Но это всего лишь маленькая (крохотная!) часть такого «айсберга», как Гердт. Он очень любил людей. Он коллекционировал людей. Ему действительно было интересно то, что говорили и рассказывали люди о себе, о своих друзьях, о каких-то давних или недавних событиях, — и это, опять же, очень редкое качество. Если он избирал человека в друзья, то ценил и защищал его как мог, насколько хватало сил и возможностей. А друзья у него были не только из артистического круга. Были ученые, врачи, профессора.

Он обожал Катю и считал ее своей дочерью. Он был глубоко убежден, что она человек по-настоящему одаренный, талантливый, которому Господь отпустил очень много сил и возможностей. Еще больше он обожал моего сына — своего

внука — и даже немножко сходил с ума. Бывает у некоторых дедушек такой перебор по отношению именно к внукам. Они не так любят своих детей, как внуков. Он мог двадцать раз на дню позвонить: «А что он сейчас делает? Он мне сегодня ни разу не звонил... А?» Это было уже такое дрожание. И это замечательно, потому что когда к тебе в детстве прекрасно относятся, это рано или поздно потом отзовется, даст свои чудесные плоды.

В его доме я встречал людей, которые мне по молодости казались... ну, вовсе не интересными! Ну что там физик? Или химик? Ну, наверное, они прекрасные люди, скучал я про себя, но это совсем другая среда. Я-то театральный человек — занимаюсь театром. А Гердту были интересны не профессиональные разговоры о театре, а сами люди! Человеческие разговоры о жизни, человеческие проявления. Ему было интересно, как человек мыслит, как понимает свою жизнь и жизнь вообще.

Для Гердта чужой человек мог стать ближе родственника. Он влюблялся в людей, и для этого человеку не надо было совершать какого-то грандиозного поступка. Для того чтобы Гердт влюбился в кого-то, достаточно было сделать какую-то очень простую вещь, но сделать ее честно, осмысленно, бескорыстно. Например, посадить прохожего, которому стало плохо на улице (и которого по привычке все приняли за пьяного), к себе в машину и отвезти его в больницу. Вот такой поступок

мог сразу приподнять человека в глазах Гердта, многое объяснить. Другой бы кисло скривился: «Подумаешь... Захотел — поднял, захотел — прошел мимо. Ну, посадил, ну, отвез. В конце концов, это его личное дело — сажать к себе в машину первого встречного...» А для Гердта такой поступок был знаком талантливости. Талантливости не творческой, а человеческой.

Он никогда не пропускал хамства. Никакого. Он отвечал на него, обрывал человека. Я помню эпизод, когда мы ехали куда-то и водитель, здоровенный мужик, позволил себе оскорбить кого-то. Гердт, не испугавшись, стал выяснять с ним отношения, причем достаточно активно. Можно расценивать это как ерунду, как обыкновенную бытовуху. Однако это не так. Выступить против хамства, которое в три раза больше тебя и в пятьсот раз сильнее, способен далеко не каждый, а уж сегодня этот «не каждый» вообще стал одним на миллион. «Размеры» хамства никогда не могли остановить Гердта вступить, неважно за кого.

Гердт патологически не мог отказать. Соглашался сниматься в плохих картинах, хотя можно было уже не надрываться, и в результате Таня его отчитывала: «Ну зачем ты согласился сниматься в этом ...?» — «Да, я согласился. Человек плакал, умолял. Что мне было делать, Таня?» При этом, снимаясь у не очень умных режиссеров, он не суетился и старался не поддаваться раздражению,

которое неизбежно при встрече профессионала с дилетантами, а старался честно отработать, сделать все, что от него зависит, по высшему разряду (иначе он просто не умел) и поскорее уйти.

На чужие спектакли он всегда приходил с желанием, чтобы ему понравилось. Не с желанием, так сказать, про себя свериться: «Ну, я так и знал, что это будет полная ерунда», а с тем, чтобы обязательно получить удовольствие. Он вдруг начинал хлюпать, становился очень сентиментальным, начинал переживать, как ребенок, хохотать. Я очень любил звать его на премьерные спектакли, потому как знал, что зову зрителя чрезвычайно благодарного. Если он что-то советовал, то делал это крайне деликатно, одновременно как бы проверяя — не ранит ли это тебя, близко ли тебе то, что он тебе предлагает. Если не близко — то замечание моментально снималось.

Он был независим. Не выделял человека по иерархической лестнице, регалии для него ничего не значили. Был такой министр сельского хозяйства Полянский, член Политбюро в свое время, сосланный потом послом в Японию. Театр Образцова приехал на гастроли в Японию. В посольстве прием, банкет... И вот все здороваются с этим Полянским, и очередь доходит до Гердта. Полянский доносит до Гердта свою руку и сверху вниз зычно сообщает: «Полянский». Гердт прищурился, задумался и, пожевав губами, сказал: «Полянский...

Друзья о Гердте

Полянский... Кажется, это что-то по сельскому хозяйству?» Тот-то преподносил себя как «заслуженного деятеля искусств»! Вот Гердт очень хорошо умел опустить человека на землю. Вроде пошутил, а шутка-то оказалась очень увесистой.

Гердт обладал внутренней трезвостью, которая, с одной стороны, не позволяет человеку быть восторженным идиотом, а с другой — учит понимать, что жизнь хоть и тяжелая штука, но замечательная. И это, опять же, черта «чеховского» человека.

В Кракове я поставил спектакль «Бобок» по Достоевскому, где действие происходит на кладбище. На сцене стояли запущенные и свежие могилы. Открывался пол, и зрители видели артистов, лежащих в могилах. Гердт смотрел этот спектакль в Москве. И вот спектакль уже закончился, а Гердт все смотрит в одну из могил как-то заворуженно. Я оторвал его от раздумий: «Ну, чего ты так туда смотришь?» — «Очень не хочется туда...» Меня так «дернула» тогда эта его фраза, он так серьезно это сказал. Когда ты еще не близко стоишь к этой черте, то для тебя это только слова. Я вздрогнул, почувствовав, что слова эти были сказаны вроде тихо, почти про себя, но осознанно.

Александр Володин,
драматург, сценарист, поэт

З. Гердту

Правда почему-то потом торжествует.
Почему-то торжествует.
Почему-то потом.
Почему-то торжествует правда.
Правда, потом.
Но обязательно торжествует.
Людам она почему-то нужна.
Хотя бы потом.
Почему-то потом.
Но почему-то обязательно.

1973

На встрече в Ленинградском университете студенты спросили нас: «Что для вас главное в образе

фокусника?» Я забормотал что-то невнятное, а он сказал просто: «Человек, который остается собой в уродливой стране». Последовали благодарные аплодисменты студентов.

Ехал поезд из Петербурга в Москву. И в вагоне было почему-то много американцев. Экскурсия, что ли? Было понятно, что американцы, потому что я знаю по-английски: «Ай доунт спик инглиш». И вдруг! Все они сразу встали и запели! И это был, как у них называется, День благодарения или что-то в этом роде. (Пишу «американцы» с маленькой буквы, потому что у них слишком большие амбиции.) Тогда как Россия, как раз наоборот, Сверх-сверх-держава. Да еще вместе со всеми фашистско-коммунистическими странами — Хусейном, Китаем, Северной Кореей, Юго-Западом и Северо-Востоком, Кубой — вы представляете, что получается? И все же, несмотря на свое духовное ничтожество, эти американцы встали и поют! Мы-то, разумеется, сидим.

И вдруг один человек из наших тоже встал! И кто бы вы подумали? Это был киноартист Гердт! И скажу больше: он пригласил их всех к себе домой в гости! Тут надо пояснить. Он, как одержимый, любит всех своих друзей, а имя им сонм! Назвать их — ахнете! Да что там, русско-еврейский человек! Так вот, все они, американцы, как один, в назначенный день явились. И это было прекрасно, не поверите! Несмотря на то, что все-таки американцы.

Александр Володин, драматург, сценарист, поэт

Он захлебывался сумбурным счастьем общения с людьми. Он неистово любил людей, близких ему по духу, по сердцу. Он так же неистово ненавидел чуждых – продавшихся, предавших.

Михаил Швейцер, кинорежиссер

С Зямой меня познакомила моя жена Софья Милькина, у которой были с ним братские отношения. Они оба были студийцами у Арбузова, она его и привела на «Золотого теленка». Как только Зяма вышел на съемочную площадку, сел, вздохнул, начал кряхтеть, мне стало ясно, что это не просто актер, который подходит на роль Паниковского, а нечто взятое прямо из жизни. Он был немедленно утвержден на роль, и мы мгновенно подружились. Ходили в гости друг к другу, встречались на общих торжествах. Наша дружба питалась общими интересами к искусству, литературе и поэзии. У нас всегда существовали предметы, вокруг которых возникали беседы, суждения, споры, что и делало нашу дружбу насыщенной. В любое время мы могли прийти друг к другу за сочувствием, материальной и душевной помощью.

Зямочка был очень отзывчивым человеком. Он любил людей и сильно переживал за них, всегда помогал чем мог. Мог пойти похлопотать за кого-то, дать денег, поговорить, утешить, успокоить. Думаю, что для него самого многолетним и единственным прибежищем была его жена Таня Правдина. Жизнь ведь состоит из мелочей и каждому из нас каждый день, многие месяцы и годы прибавляет проблем и сложностей, иногда житейских, иногда духовных. А Таня — человек очень сильный, доброжелательный и здравомыслящий. Они дружили с Соней.

У меня на стене висит Сониная скрипка, на которой она играла еще в спектакле «Город на заре», где Зяма исполнял роль Вениамина Альтмана. Поскольку Зяма играть на скрипке не умел, то на сцене он просто водил смычком, а за кулисами играла Соня.

Думаю, что звание «артист» несколько сужало бы человеческие и художественные возможности Зиновия Гердта. Чем бы он ни занимался, он во всем был одарен. Та степень жизненной правды и достоверности, которая излучалась им в ролях, в кино или в театре, была настолько на грани документальности, что действительно могло создаться впечатление, будто Гердт — не актер и что пользовался он вовсе не средствами общепринятого театрального искусства и мастерства. Чудо Гердта и заключалось в том, что в его рабо-

тах совершенно не было видно так называемого «искусства». Была просто яркая жизнь. При том что сам Гердт был доверху полон искусством. Я не знаю другого такого человека, который так хорошо знал, любил и понимал бы поэзию. Он дружил с поэтами, прекрасно знал литературу и вообще не мог без нее. Брался только за любимые литературные вещи и делал их скрупулезно, входя в полноценные соавторы. Он обладал настолько удивительным дарованием, что даже такой условный персонаж, как конференсье «Необыкновенного концерта», стал для всех совершенно живым человеком.

Долгое время Гердта знали как человека, озвучивающего кинофильмы, и я считаю, что к этому нужно и должно относиться серьезно. Ведь если рассудить, то именно через Гердта мы познакомились со многими замечательными киноперсонажами, которых, быть может, без его участия и посредничества мы бы и не запомнили. «Король Лир», «Полицейские и воры», «Фанфан-Тюльпан» и даже наши с ним картины, например «Бегство мистера Мак-Кинли»... Озвучивание — сложная и ответственная работа, и здесь Гердт был не меньшим мастером.

Когда актер начинает сниматься в кино, то происходит попадание или «проходной вариант». Попадание — это когда актера жизнь навела на Вещь и он ее сыграл как Свою. И сыгранная им

роль становится некой объективной реальностью, которая начинает существовать отдельно от исполнителя. Нравится успех актеру или не нравится — неважно.

В случае с Паниковским, которого Зяма исполнил легко и гениально, вся страна его запомнила именно по этой роли, потому что он вывел своего персонажа, как мы пытались вывести всю картину, с уровня анекдотичности на уровень узнаваемой реальности. Паниковский получился в фильме таким крупным образом потому, что взят он был не из одесского анекдота, а из российской жизни. Никакой одесский анекдот не просуществовал бы так долго, если бы за всем этим не проглянула бы некая судьба времени. Не знаю, правда ли то, что Зяма не был доволен тем, что страна его запомнила прежде всего Паниковским, но в любом случае бесполезно сетовать или не сетовать, быть довольным или не быть довольным тем, что твоя популярность складывается на материале менее серьезном, чем тебе хотелось бы, что ты прославился не в Шекспире и не в Достоевском.

Как там ни говори и ни рассуждай, а все решает уровень той литературы, которую берет себе на исполнение артист. А когда происходит стык двух крупных художников — драматурга и артиста, то высекаются искры и рождается талантливое произведение, которое начинает жить в людях как самостоятельный объект памяти.

Когда у Гердта начались нелады в образцовском театре, он был в несколько выбитом состоянии. Но, тем не менее, нашел в себе силы и принял решение покончить с этим делом. У Образцова он больше не имел возможности проявлять себя так, как хотел, и уже перерос рамки этого вида искусства. На мой взгляд, условность кукольного театра, его формы и границы давно теснили Гердта, поскольку он был человеком огромных возможностей, огромного полета мысли и фантазии. Он глубоко чувствовал реальную жизнь и обладал огромной силы природным юмором. Гердт не был остряком, он просто был весь пропитан юмором жизни, замечал его и не упускал. А возможность взгляда на жизнь и ее проявления сквозь юмор помогает человеку жить и преодолевать любые сложности. Я бы назвал гердтовский юмор «юмором со знаком плюс». Если он говорил о каком-то предмете или, например, об известном человеке с юмором, то это никогда не роняло ни предмет, ни человека. Напротив, поднимало, подсвечивало и подкрашивало каким-то особым светом.

Кинорежиссеры очень зависимы от стечения обстоятельств, в смысле работы. Когда мы работали в Ленинграде, у меня по бедности не было пальто. Ходил в чем попало. И вот Зямка подарил мне шубу. Такую роскошную, бежево-белую, из искусственного меха. Она была не просто необыч-

ной, а жутко пижонской! Зяме она была велика, а мне пришлось в самую пору. Но эту шубу ожидала жуткая участь. Примерно через год я поехал в ней в Магнитогорск собирать материал для документального фильма о металлургах. И пока я ходил в этой шубе по литейному и доменному цехам, она из бежевой превратилась в черную. Но не в благородно-черную, а в беспризорно-страшное одеяние. Ни одна химчистка ее, разумеется, не взяла. Таким образом, Зяма, как Паратов, как щедрый русский купец, бросил с барского плеча шубу, а я, как бестолково-нелепый Карандышев, угробил ее почем зря.

Иногда Зяма впадал в большой и настоящий гнев. По поводу чьего-то подлого поступка из круга знакомых. Вот тут он был беспощаден и неумолим и разрывал отношения немедленно. Но иногда это возникало по недоразумению. Например, по поводу поэзии такие недоразумения могли подняться на очень высокий градус выяснения отношений. Я помню, как мы сидели у нас в большой комнате, пировали. Болтали, шутили, смеялись, читали стихи. Я думаю: все что-то читают, и я что-нибудь прочту. Прочел и сказал: «Александр Блок». Что тут сделалось с Зямой! Сначала он затрепетал, как будто его родного дедушку или бабушку обозвали матерным словом, а потом разразился криком: «Как Блок?! Это Пастернак!» А я-то, слегка выпимши, начал на свою дурную

голову с ним спорить: «Нет, это Блок!» И тут же почувствовал, что не прав, а Зяма уже завелся всерьез: «Ноги моей больше не будет в этом доме! Пусть здесь путают Блока с Пастернаком!» Конечно, он был прав. Через полторы минуты, за которые я успел залезть на книжную полку и проверить свою ошибку, я уже проклинал себя: «Осел! Кретин!.. Как же это я так?!» Зяма меня великодушно простил.

Вообще рядом с Гердтом действительно все ощущали, что существует нечто недозволенное, некрасивое, нелепое, чего не должно возникать в его обществе. Люди, впервые попадавшие в дом к Гердтам, четко понимали, что́ может не понравиться хозяевам. Причем это никогда не было таким... чопорным диктатом поведения, боже сохрани. Все было как полагается. Гердты очень любили гостей и хорошую компанию. Просто Зяма был очень чувствителен к несправедливости. Когда обижали друзей или хороших знакомых, когда предавали или даже когда в общественной жизни случалось какое-то хамство, он всегда «вставал на дыбы». И реагировал он так, а не иначе, всего лишь потому, что был воспитанным и в высшей степени порядочным человеком. Это сейчас мы уже не понимаем, что делает наше государство, чего нам еще ожидать, какой оплеухи. Предательство стало настолько обиходным и обычным, что люди просто-напросто перестали его замечать, и узнавать, и понимать его как

Михаил Швейцер, кинорежиссер

необычайно опасную для людей сущность. К сожалению, наша жизнь все сильнее пропитывается идеей предательства. Но еще более мне жаль, что почти не осталось людей, у которых еще хватает сил оставаться честными и порядочными. Гердту для этого не требовалось никаких сил. Он просто был таким, вот и все.

Софья Милькина, режиссер

Когда наш Зяма был еще худеньким юношей и уже очень талантливым, интересным человеком искусства, мы с ним работали и учились в московском театре-студии под руководством Валентина Плучека и Алексея Арбузова. Знаменитый «Город на заре», спектакли в Театре на Малом Каретном, репетиции, учеба мастерству.

Гердт, еще не Зиновий Ефимович, а просто Зяма, тогда еще не хромал. В первый же месяц войны Гердт и еще много наших студийцев ушли добровольцами. Прошли годы. Многие не вернулись. И вот в Москве, поздней осенью 1946 года я увидела Гердта. В шинели, тяжело хромающего. Нелегкие годы выпали на долю народа. Мы разделяли с ним горькую радость Победы.

Тогда уже Зиновий Ефимович Гердт решил связать свою творческую судьбу с театром Образцова,

и с тех пор много лет он был на сцене в блестяще сыгранных ролях. Его счастливым куклам достались весь его юмор, сарказм, обаяние и душевное тепло. Поклонник и знаток поэзии, Гердт собирал на свои поэтические концерты и телевыступления огромные аудитории любителей и знатоков литературы и поэзии, приобщал к истинному искусству множество людей.

В 1966 году мы начали ставить «Золотого теленка». Я уговорила Михаила Швейцера пригласить на роль Михаила Самуэлевича Паниковского (человека, как оказалось, без паспорта) Зиновия Ефимовича Гердта. Михаил Швейцер уже попробовал на эту роль одного знаменитого артиста. И вот пришел на кинопробу наш друг Зяма Гердт. Боже, что это было! Неотразимая правда жизни. Совсем без старания и напряжения.

Был Паниковский — часть живой русской жизни. Вобравший в себя всю эту многосложную киевскую жизнь (Киев тогда был тоже — Россия; и Российская империя сверкала серебряным самоваром на столе Михаила Самуэлевича). Была яркость, была мера, была сама жизнь, но еще ярче, еще живее самой жизни. Ни грамма притворства, ни грамма «игры», ни миллиграмма нажима. Была высокая эксцентрика, ни на йоту не переступающая границ достоверности. Гердт аристократически естествен. Просто Зиновий Гердт близко знал этих людей и эту жизнь, подлежащую воскрешению из литературы обратно в реальность.

Друзья о Гердте

Точно так впоследствии он воскресил на телевизионном экране героев бабелевской литературы. А роль Костюмера в Театре имени Ермоловой!

Так воскрес из книги и живет и будет жить Паниковский. Так и сам Гердт будет веселить, и трогать, и утешать своей непокорной искренностью, нелживостью и печалью искусства миллионы мятущихся сердец.

Валентин Гафт, актер

Я был еще школьником лет тринадцати-четырнадцати. Матросская Тишина. Сокольники. Большая коммунальная квартира. Прошло всего несколько лет после войны. Гердта я еще никогда не видел, но уже слышал эту фамилию. «Артист! — говорили про него. — Звукоподражатель без ноги». Без ноги... — это уже вызывало интерес и сочувствие.

В коммуналке у нас было две комнаты: одна большая, другая совсем крохотная, где жила моя тетка — тетья Феня. Однажды я услышал ее пронзительное: «Валя! Быстрее сюда!.. Гердт!» Я думал, что началась война, и помчался к ней. Репродуктор старенький, слышно плохо, ручка до конца не дожимается. Я сажусь на полускатывающийся диван и беру в ухо этот репродуктор. Звук то пре-

рывается, то восстанавливается сквозь какие-то стрекотания и шуршания. Слышу голос Утесова. А оказывается, это Гердт. Вот и весь фокус. Потрясение. Вот это потрясение я запомнил на всю жизнь. Так же на всю жизнь я запомнил тетину интонацию, с которой она крикнула мне вот это: «Валя!.. Гердт!» Вот с этого и началось мое знакомство с Зиновием Гердтом.

Потом, когда я уже и сам стал артистом и увидел «Обыкновенный концерт», я понимал что Гердт — великий человек. Я даже представить не мог, что когда-нибудь с ним познакомлюсь. И вот однажды на гастролях в Риге я увидел его. К гостинице подъехала машина, из нее вышел водитель. «О!.. Гердт!» — сказал стоящий рядом Кваша. Я не представлял себе, что он такого маленького роста. Я очень хотел, чтобы он мне понравился, и это произошло мгновенно.

Он был очень складный. В этом прихрамывающем маленьком человечке с черной кудрявой головой, в синем макинтоше я сразу почувствовал что-то очень сильное, мужское. Как он вышел из машины, как он хлопнул дверцей, как поздоровался с Игорем, потом со мной, — я запомнил его руку, это крепкое рукопожатие, никак не сочетавшееся с его размерами. Казалось, все должно было быть наоборот при этом маленьком теле, странно посаженной голове, хромоте. Он был похож на Азнавура, даже еще лучше. Потому что он был наш. Мой.

А потом наш режиссер Валерий Фокин, в спектаклях которого я многократно участвовал, женился на дочери Зиновия Гердта, и он стал часто бывать у нас в «Современнике».

Он осыпал меня комплиментами. Он называл «большим артистом». Но не в ответ на это я буду говорить о нем прекрасные слова. Если бы меня спросили: «Часто ли вы встречали в жизни красивых мужчин?» — я бы ответил: «Нечасто». Обычно в рассуждениях о красивых мужчинах немедленно упоминают Алена Делона, Марлона Брандо. Для меня одним из первых по-настоящему красивых мужчин был Гердт, в котором было сконцентрировано настоящее мужское обаяние, включающее в себя голос, кисти рук, реакцию на то, что он слышит, юмор, достоинство. Красавец... Совершенно неотразимый... Гердт.

Снимаемся мы в картине «Воры в законе». Ужинаем. Большая компания. Приходит Гердт. И через пять минут все женщины стола около него. И, как я понимаю, влечение их к Гердту было настолько сильным, что дело доходило до самых откровенных предложений со стороны девушек и дам. Затем же столом сидят мощные люди, но никого из них женщины просто не замечают — просто потому, что в эту минуту рядом Гердт. Что он делал для этого? Да ничего, в том-то и дело.

На гастролях в Америке едем в одной машине. Неудобство с ногой. Задирает ее вверх, до по-

толка, сидя на переднем сиденье, рядом с водителем. Не усталый, не капризный. Веселый и легкий. Либо засыпает, никому ничего не говоря, либо шутит, смеется. Захотел спать — постелил себе газету прямо на пол, улегся и заснул (бывали такие перебивки между городами). И все это делается красиво, элегантно и просто. Без единого слова.

Канада. Мы втроем (Гердт, его потрясающая жена Таня и я) живем на частной квартире какого-то конферансье (по-моему, эмигранта). Вкус хозяина квартиры, как мы поняли, очень тяготел ко всему, что блестит и переливается: одежда вся в блесках, обувь вся лакированная, в доме полно всяких куколок, вазочек, шкатулочек, свечек. Я улегся спать. И вдруг открывается дверь и входит Гердт... в костюме этого конферансье. Весь в блесках, в его лакированных туфлях — и изображает этого человека. Я закатился так, что чуть не умер от смеха. Конечно, это было ужасно — лезть в шкаф чужого человека и надевать его вещи. Но Гердт просто увидел хозяина квартиры и захотел нам с Таней показать его. Один костюм был страшнее другого, но и смешнее.

С ним всегда все было пронзительно забавно. Никогда не было «просто», никогда не было «никак». Он всегда разряжал ситуацию, ничего при этом не делая, не стараясь, как это делают некоторые юмористы. Он просто ударял в свои замечательные ладони, и начиналась жизнь.

Не знаю почему, но он все время улыбался. Причем его улыбка никогда не означала «вот сейчас будет хохма». Мы говорили о серьезных вещах, о театре, об актерах, о музыке, о науке, о каком-то случае — и он улыбался. Оказывается, человек этот знает все и интересуется всем! И образование у него не календарное, но все, о чем он говорит, даже если это термоядерная физика, звучит осмысленно и увлекательно.

«Валя, давайте с вами прогуляемся по набережной. (Это мы в Риге только на днях познакомились.) Смотрите, какая хорошая погода. Походим, посмотрим, поговорим...» Я даже испугался. Думаю: «О чем я с ним буду говорить?» И говорили мы упоительно! О всякой ерунде. И даже не заметили, как прошло время.

Гердт был мощнейшим рассказчиком, каждый раз это было незабываемо. Я много раз слушал его, стоя за кулисами, и каждый раз не мог сдвинуться с места. Я бы слушал его часами, не уставая. Забываешь обо всем — даже не смотришь на него, а только слушаешь... и смотришь все, что он рассказывает, как талантливо снятое кино. Он добивался подлинного попадания, абсолютного отражения того, что читал. Только левое было правым, а правое — левым, как в зеркале. И зритель гляделся в него, как в зеркало.

Ощущение материала, времени, эпохи — это необыкновенный дар. Для того чтобы так читать, нужно очень любить искусство, нужно очень любить то, что показываешь, то, о чем говоришь.

Ему достаточно было бросить скользящий взгляд на человека или на событие, и он все понимал про этого человека, точно понимал суть произошедшего. Понимал и запоминал на всю жизнь. По какой-то одной детали он мог рассказать о незнакомом человеке очень многое. Потом, видимо, просто из любопытства, не бросал его, а следил за его судьбой, иногда даже не будучи знаком с этим человеком.

«Актер» — слово слишком вспомогательное в разговоре о Гердте. Его способ передачи — не актерский. Мне кажется, иногда он был таким дилетантом, который выше профессионала, потому что он был человеком широкого образования. Мне кажется, то, что он сделал на сцене и в кино, нельзя судить по законам актерского искусства. Как и Володю Высоцкого, например. В нем было что-то пушкинское. Все они чем-то похожи. Маленькие, кудрявенькие, черненькие.

На мой юбилей он написал мне замечательные стихи:

Он гением назвал меня, но это было днем,
А вечером того же дня назвал меня говном...
Но говорить о нем шутя я не имею прав,
Ведь он и вечером и днем был, в общем, где-то прав...

Моя последняя встреча с Гердтом состоялась на его юбилее. Я зашел в маленькую комнатку, где он лежал. С ним сидел Юрий Никулин. Увидев

Валентин Гафт, актер

меня, он приветственно взмахнул своей прекрасной кистью. Я не мог на него долго смотреть, мне было страшно... Я был потрясен этим вечером. За несколько недель до смерти, находясь уже в очень тяжелом состоянии, человек собирает друзей и гостей, выходит на сцену и улыбается... шутит... читает прекрасные стихи... проводит на сцене несколько часов (!)... Я тогда подумал: да как же это так? Тут заболит что-нибудь — и уже никуда не выходишь, не хочешь ни с кем разговаривать. А он, преодолев окончательный приговор, идет к людям, улыбаясь. Я восхищаюсь этим человеком. Он останется у меня в памяти на всю жизнь. Я просто не смогу его забыть.

Таких, как Гердт, больше не может быть. Никогда.

Матвей Гейзер, литератор и публицист

Осенью 1992 года я ездил по местечкам Украины, собирая фотоматериал для своей книги «Еврейская мозаика». Недавно я нашел запись, связанную с этой поездкой. Местечко, вернее — бывшее местечко, в Подолии. Брожу по улочкам, переулкам и вдруг вижу окно, в котором, как в магазинной витрине, висят фуражки (среди них даже одна военная), кепки какого-то особого покроя. Я, конечно же, остановился, постучал в дверь (то, что в доме живет мастеровой-еврей, у меня сомнений не вызывало). Мой стук, даже настойчивый, ни к чему не привел. Я постучал в окошко. Выглянула пожилая женщина, которая сказала: «Если вам что-то нужно, зайдите в дом». Она открыла дверь и, даже не пригласив меня войти, с порога сообщила, что сегодня суббота и ничего продаваться не будет. «Если вы хотите приобрести себе что-то

на голову, приходите вечером или завтра утром. По вашему виду я вижу, что вы не ямпольский и даже не шаргородский, но вы точно еврей. Вокруг осталось так мало евреев, что я знаю всех в лицо. А вы откуда будете?» Я сообщил, что когда-то жил в Бершади, сейчас фотографирую оставшиеся еврейские местечки. Мое сообщение особого впечатления на хозяйку не произвело. «Но в нашем доме вас, наверное, заинтересовали головные уборы? — спросила она, окинув меня внимательным взглядом. — Я вижу, что вы, скорее всего, из Одессы. Я угадала? Ах, из Москвы! Залман, иди сюда! Здесь пришел интеллигентный покупатель из Москвы. Он что-то хочет».

В комнату вошел старый человек высокого роста с огромными «буденновскими» усами. Не поздоровавшись, он стал говорить: «Вы хотите иметь кепку моей работы. Я вас хорошо понимаю. Я не только последний «шаргородский казак», но и последний шапочник в местечке. Многие уехали в Палестину, кто-то просто умер. Палестина сейчас называется Израиль, но мой папа, мир его праху, называл эту землю Палестиной и очень хотел туда поехать... Э, да я вас заговорю. Если вы что-то можете выбрать из готового товара, пожалуйста. Если нет — приходите завтра утром, я сниму мерку с вашей головы, и пока вы почитаете «Винницкую правду», у вас будет готов замечательный головной убор. Когда вас спросят в Москве, где вы его взяли, скажете, что у Залмана из Шаргорода, на улице Советской. Так вы сами

будете из Москвы? В прошлом году у меня был один интересный клиент, тоже еврейский человек из Москвы. Он был такой маленький, что я нагибался вдвое, чтобы с ним говорить. Он был с женой, высокой красивой женщиной. Когда этот человек узнал, что меня зовут Залман, он очень обрадовался и сказал, что в детстве его тоже звали Залман. Я пошил ему такую кепку, что ни в Ямполье, ни в Виннице, ни в Москве нет второй. И денег у него не взял. Вы еще можете подумать, что я богатый человек и мне не нужны деньги? Еще как нужны! Я стал местечковый бедняк. Бывает, проходят недели, что нет ни одного клиента. Но у этого маленького человека из Москвы я денег взять не мог, потому что он имел большую и умную голову. Когда мы разговорились о жизни, о смерти, он сказал мне такое, что я запомнил, как вирш (поукраински – стихотворение. – *Ред.*): «Вся жизнь человека проходит в поезде, который везет нас в лучший из миров. И идет этот поезд только в одну сторону. Есть ли жизнь за последней остановкой – я не знаю. Не уверен. Но жить надо так, как будто за последней остановкой начнется новая, вечная жизнь, и тогда не страшно умирать... Ну, скажите, после таких умных слов я мог взять деньги за свою работу? Конечно, нет!»

Почему-то в этом «клиенте» моего нового знакомого мне почудился Зиновий Ефимович Гердт, хотя, как попал он в эти места, зачем и почему, в тот момент я понять не мог. Перечитав свои записи, я позвонил Татьяне Александровне – вдове

Зиновия Ефимовича. К моей радости, я оказался прав! Татьяна Александровна рассказала мне, что летом 1991 или 92-го года она с Зиновием Ефимовичем была на съемках фильма «Я Иван, а ты — Абрам». Фильм снимал французский режиссер в местечке Чернивцы, затерявшемся где-то между Ямполем и Шаргородом. От кого-то из местных жителей Зиновий Ефимович узнал об одном еврее, знаменитом мастере по пошиву кепок. В свободный от съемок день Гердт с женой отправились в Шаргород. А остальное было примерно так, как рассказано выше.

Геннадий Трунов, ХИМИК

Впервые народный артист РСФСР Зиновий Гердт оказался в нашем Пермском филиале Государственного института прикладной химии по приглашению Пермской организации ВОК (Всесоюзного общества книголюбов). В конце семидесятых годов в России был страшный дефицит книг. Дефицит хороших книг, а не партийной «макулатуры», сочинений генсеков и книг по идеологии, которыми были забиты все полки книжных магазинов. Купить хорошую книгу можно было только в двух случаях: если ты оказался в магазине, когда был «привоз» (тогда ты — счастливчик, баловень судьбы!), либо ты был близко знаком с продавцом, который мог «попридержать» для тебя книгу или альбом по искусству. И вот по «указанию сверху» было принято решение учредить Всесоюзное общество книголюбов, одним из видов деятельности

которого должно стать распределение среди его членов новых книг. Кроме этого, городским организациям ВОК было разрешено осуществлять, говоря современным языком, «коммерческую» деятельность определенного вида — проводить платные мероприятия: концерты и праздничные вечера, организовывать встречи с артистами и тому подобное.

Все, кто любил книги (примерно половина взрослого населения страны), поголовно вступили в это общество. Взносы небольшие, а гарантия получения хорошей книги — сто процентов! Естественно, что я и мои друзья тоже вступили. Но меня еще выбрали в правление районной организации ВОК, где назначили ответственным за проведение культурно-массовых мероприятий. Организовав с помощью моих друзей несколько тематических вечеров районного масштаба, я предложил пригласить в Пермь столичных артистов. Руководство меня поддержало и уполномочило провести переговоры в Москве. Мне часто приходилось ездить в командировки в столицу, где я останавливался у своего двоюродного брата — известного московского художника Николая Недбайло. Накануне моего отъезда из Москвы в гости к Николаю зашел его хороший знакомый Александр Бурмистров, артист театра кукол Образцова. Во время беседы за чашечкой кофе и чарочкой других сопутствующих напитков Александр предложил мне пригласить в Пермь Гердта.

Я тотчас написал Зиновию Ефимовичу письмо с приглашением выступить перед пермскими книголюбями. Это письмо Бурмистров обещал незамедлительно передать адресату. Через два дня в Пермь позвонил Николай и сказал, что Зиновий Ефимович принимает наше приглашение и просит позвонить ему домой. С большим волнением я набирал номер домашнего телефона Гердта, но когда услышал «Слушаю вас», произнесенное знакомым голосом, мне стало легко, и мы быстро и по-деловому обговорили сроки приезда. Любопытная деталь. Я вел переговоры со служебного телефона в присутствии своего коллеги Валерия Сойфера, такого же, как я, активиста-книголюбца. Он попросил меня спросить у Гердта, не может ли тот привезти с собой куклу-конферансье Апломбова из «Необыкновенного концерта».

«Да вы с ума... — Зиновий Ефимович не закончил фразу, которая должна была автоматически вылететь из его уст. — Нет! Что вы, это невозможно!» Реакция его была мгновенной. Услышав такое «дельное предложение», Зиновий Ефимович чуть было не произнес известное «устойчивое словосочетание» полностью, но сразу понял, что я не представляю себе тот сложный механизм, называемый куклой. Я это осознал позднее, когда со сцены Гердт рассказал о своих взаимоотношениях с Апломбовым. Об устройстве куклы, о том, что ее нельзя даже на секунду выносить из театра, что на случай отказа подлинника имеется точная копия этой куклы.

И вот я со своим другом Валерием Сойфером в аэропорту жду приземления самолета из Москвы. Естественно, мы волнуемся: к нам прилетает Гердт! Сразу разглядев Зиновия Ефимовича среди прибывших пассажиров, мы подходим к нему, знакомимся и в ожидании багажа обмениваемся свежими анекдотами. Учитывая, что аэропорт находится далеко от города, а на дороге был гололед, мы предложили Зиновию Ефимовичу сесть в машину на заднее сиденье. Но наш гость сказал, что он сам водитель-профессионал с большим стажем и поэтому будет сидеть впереди. Когда мы приехали в институт, актовъй зал переполнен. Зиновий Ефимович, пройдя под аплодисменты через весь зал, поднялся на сцену и стал читать стихотворение Бориса Пастернака, начинающееся со строчки: «Быть знаменитым некрасиво...»

В тот вечер перед нами распахнул свою душу мудрый человек и тонкий психолог, остроумный рассказчик и глубокий лирик, талантливый имитатор и необычный артист, знающий наизусть километры стихотворных строк! Все, что мы увидели и услышали, было абсолютно интересно. Зиновий Гердт «открыл» нам заново Пастернака, Самойлова, Окуджаву, Кедрина, Шпаликова, «показал» Светлова, Мейерхольда, Твардовского и других знаменитых людей, которых он близко знал. В его своеобразном моноспектакле органически присутствовали различные грани его жизни, в том числе тема

войны и очень важная тема становления человека (оказывается, Зиновий Ефимович любил наблюдать, как ведет себя малыш на детской площадке).

На прощание Гердт прочитал отрывки из поэмы Давида Самойлова «Цыгановы». А затем... Затем была овация! Весь зал стоя аплодировал Зиновию Ефимовичу в течение 15 минут! Думаю, что этот декабрьский вечер пришедшим на встречу с Гердтом запомнился на всю жизнь. Могу предположить, что многие из них, для того чтобы отвлечься от каких-нибудь неприятных мыслей, вспоминают тот концерт и теперь. Лично я всегда именно так и поступаю. Для меня тот вечер — праздник, который всегда со мной!

На следующий день после окончания выступления во Дворце культуры им. Кирова наше общение продолжилось в гостях у Блюмина, председателя районного Общества книголюбов. Застолье закончилось далеко за полночь. Конечно, было очень интересно и весело. Так, например, когда графинчики были скорее полупустыми, чем полуполными, тамада скомандовал: «Гена Трунов, давай-ка наполни те рюмочки, у которых видно донышко!» Я с бутылкой коньяка в руке несколько нетвердой походкой стал обходить сидящих за столом и наполнять их рюмки. И в этот момент Зиновий Ефимович сказал, что сейчас прочтет стихотворение Дениса Давыдова. И мы услышали такие строки:

Геннадий Трунов, химик

Под вечерок Трунов из кабачка Совы,
Бог ведает куда, по стенке пробирался;
Шел, шел и рухнулся... —

и так далее.

Все дружно засмеялись, но я твердо заявил, что это стихотворение не про меня, но не мог правильно назвать фамилию стихотворного героя. Придя домой, первым делом открыл томик стихов Дениса Давыдова и нашел стихотворение «Логика пьяного». Фамилия незадачливого героя была Хрунов. Когда я на следующий день увидел Зиновия Ефимовича, то первым делом попросил его собственноручно в этом стихотворении заменить первую букву этой фамилии на букву «Т» и сделать приписку: «Исправленному верить. З. Гердт». Так что у меня есть стихи Дениса Давыдова с правкой самого Гердта!

Григорий Горин

Люди, подобные Гердту, возникнув в твоей жизни, занимают в ней такое прочное место, что невозможно понять и вспомнить — когда же это случилось.

В мою жизнь он вошел как природное явление. Когда же это произошло? Наверное, на «Необыкновенном концерте», где я не мог опомниться от голоса конференсье и его реприз. Потом я снова услышал этот голос в «Фанфан-Тюльпане». А потом Гердт появился уже в компании общих друзей, в которой так же незаметно возникли Ширвиндт, Рязанов. Затем мы познакомились ближе и стали хорошими приятелями, несмотря на разницу в возрасте.

Когда Гердт смеялся, то в мире наступала гармония. Я как человек, пишуций какие-то забавные вещи, как только слышал, что Гердт над ними сме-

ется, уже ни о чем не беспокоился. А вот если Гердт еще и вскакивал... Помню, у Гали Волчек в театре «Современник» был праздник, и когда я прочел свое поздравление, Гердт вскочил со своего места и стал громко аплодировать. Для меня это было наивысшей похвалой – сам Гердт вскочил!

Как сказал Жванецкий (и это абсолютно точно), любой человек рядом с Гердтом умнел. Когда я был на его чаепитиях, то сочинил для него такие стихи:

Хорошо пить с Гердтом чай!
Хоть вприкуску, хоть вприглядку.
Впрочем, водку невзначай
С Гердтом тоже выпить сладко.
Пиво, бренди или брага –
С Гердтом все идет во благо,
Потому что Зяма Гердт
Дарит мысли на десерт.
Ты приходишь недоумком,
Но умнеешь с каждой рюмкой,
И вопросы задаешь,
И, быть может, запоешь!

А потом я спел ему такой романс:

Ах, ничего, ничего,
Что сейчас повсеместно
Ближих друзей сокращается круг.
Не оставляйте стараний, Маэстро,
Не выпускайте стакана из рук!..

Он относился к той части русской интеллигенции, по которой можно было сверять поступки. Не знаешь, как отнестись к тому или иному явлению, публикации, книге и даже фильму, — спроси у Гердта. Он поразительно четко чувствовал фальшь. Он мог похвалить, а мог вынести приговор, буквально убить одним словом. Я никогда не забуду, как мы были с ним на концерте рок-группы в Сочи. Мы вышли, и он сказал: «За два часа ни одной секунды искусства!» По-моему, это гениальная рецензия.

Несмотря на то, что Гердта большинство зрителей и коллег знают как добродушного, веселого рассказчика, комфортного во всех отношениях собеседника, он был естествен во всех своих проявлениях. Он мог сказать: «Мне неприятно здесь пить», встать и уйти. Вообще фразы, которые он мог бросить на прощание или сказать при встрече, вроде: «Видеть вас — одно удовольствие, а не видеть — совсем другое» — мгновенно становились крылатыми.

Он в равной степени любил шутку литературную и шутку, сказанную на ходу, в обиходе. При всей своей жесткости в оценке всего того, что происходило в театре, литературе и кино, он мог подсесть к человеку и сказать: «Я хочу выпить за вас. Вы, на мой взгляд, человек безусловно талантливый». Или: «Я считаю, что это гениально, и даже не спорьте со мною. Я говорю сразу «это гениально» для того, чтобы окончить спор и не переходить на личности». Такая милая форма старой интеллиген-

ции, когда вдруг в нюансах проскальзывало и «вы», и «ты», легко возникал комплимент, намек, шутка. Во всем этом была удивительная гердтовская гармония, подтверждением которой являлись и такие фразы: «Это — говно. Пойдемте отсюда».

Он ненавидел пошлость — условность, которую люди ставят выше смысла. Он, например, совершенно терялся, когда его спрашивали: «Зиновий Ефимович, а над чем вы сейчас работаете?» Разговор сразу же заканчивался. Терпеть не мог вранья и неправды жизни и общества, которому, он очень надеялся, станет гораздо лучше жить после падения коммунизма. Терпеть не мог коммунистов.

Однажды был какой-то митинг, и мы, выходя из Дома кино, продираясь через толпу, услышали оклик женщины, адресованный Гердту: «Туда не ходите! Там жида!» Гердт воскликнул: «Я тоже жид!» — и начал продираться туда, куда ему не советовала идти эта дама. Она пыталась его остановить: «Вас-то я не имела в виду!» — «Да нет, вы именно меня и имели в виду, — ответил Гердт. — И я этому рад!» Он вообще был довольно задирист, мог вступить за кого-то на улице, не боялся ответить на оскорбление, не боялся говорить правду.

Зяма очень любил свою машину и вообще все, что связано с бытом. Помню, я переехал в новую квартиру и думал, как ее обустроить. Поехал к Гердту советоваться по поводу шкафа. Гердт сразу же взял быка за рога: «Здесь даже и думать нечего! Нужно

заказывать вот такой-то и такой-то шкаф... Вот такой-то фабрики... Тебе нравится мое предложение?!» Я не успевал ответить «да», как он уже восклицал: «Это блестящий повод выпить!» — и уже доставал рюмки. Этот шкаф, «выпитый» с Гердтом, до сих пор стоит в моей квартире и несет свою верную службу.

Перед юбилеем Гердта я поехал на рынок и купил живого гуся, поскольку Паниковский питал известную слабость к этим птицам. Я сказал ему: «Зяма, хватит воровать гусей, пусть у тебя будет свой гусь». Этот гусь важно расхаживал весь вечер среди гостей и перекочевал вместе с Гердтом на банкет. Потом они с Таней меня долго корили: «Что ты наделал? Ты же понимаешь, что съесть мы его не можем, а жить с гусем невозможно. Мы не умеем за ним ухаживать... Он щиплется!» Они долго ходили по Пахре и предлагали гуся жителям, пока наконец его не взял к себе на полный пансион Червинский, который в это время решил обзавестись курами. Наверняка этот гусь закончил свою жизнь в один из рождественских вечеров, но если это и так, то этот гусь погиб во славу Гердта.

Не будучи одесситом, Гердт стал гордостью одесситов. Он удивительно вписался в эту часть российской культуры, в ироничную и остроумную «одесщину», чьи жители постоянно находились в состоянии конфликта с миром — как Паниковский. Просто у коренных одесситов такое свой-

ство — все время немного ворчать, тихо бурлить, регулярно как бы напоминая о собственной температуре кипения. Счастье не должно быть полным — у евреев так положено. На еврейских свадьбах полагается разбить тарелку и наступить на нее — это показатель готовности молодоженов к тому, что не все будет гладко. А если опуститься на большую глубину размышлений на эту тему, то счастье не может быть полным, пока не построен разрушенный храм царя Соломона. Это в крови еврейского народа — нельзя все время закатывать глаза от счастья. Гердту была свойственна печаль, обратной стороной которой было его, гердтовское, веселье.

Татьяна Никитина,
исполнительница авторской
песни, актриса

Нас знакомили много раз. Но, видимо, это долго не отпечатывалось в памяти Зиновия Ефимовича. Как-то раз мы были по делам в театре кукол Образцова, зашли в буфет, встали в очередь. Вдруг кто-то решительно и нагло схватил меня, извините, за попу. От ужаса остановилось дыхание, но тут же раздался оглушительный хохот — Гердт!

Пожалуй, эта встреча и была началом нашего настоящего знакомства. Потом мы не раз пересекались на даче у Эльдара Рязанова в больших шумных актерских компаниях. Но Зиновий Ефимович держался в тени, больше слушал и наблюдал. Было начало восьмидесятых годов.

Наше породнение с Гердтами началось года через два на Гауе. Более десяти лет московский Дом ученых арендовал участок леса вдоль реки Гауя недалеко от границы Латвии с Эстонией. В июле и

августе там ставились палатки человек на сто. Из Москвы приезжали повара, и начинался летний праздник. Мы присоединились к августовской смене позже других. Нам досталось место у торца большой поляны. Через две палатки обитали Гердты. Они были старожилами, поэтому, когда ставили нашу палатку, пришел Зиновий Ефимович и «контрольно наблюдал», чтобы все было в порядке. На базе отдыхали научные работники с семьями. Следовало быть не менее чем кандидатом наук, в крайнем случае академиком. Исключения были сделаны лишь для семей Гердтов и Окуджавы.

Существовал как бы негласный договор: 24 дня потакать друг другу, стараться быть милыми и добрыми. Это была хорошая игра, в которой на самом деле из-под масок все равно проглядывало подлинное лицо героя. Вопрос был в том, насколько маска отличалась от реальности. К счастью, многим не нужно было слыть, достаточно было просто быть. На базе жили коммуной, вместе ездили по грибы и ягоды, дежурили по очереди в столовой, ездили в баню и по малым городам Латвии и Эстонии.

Те, кто жил в торце поляны, организовали кафе «Вечерний звон» — длинный стол со скамьями из грубых досок и люстра — обод тележного колеса со свечками. Здесь пили кофе и чай в пять часов и собирались после обильных вкуснейших обедов и ужинов снова подзакусить и выпить по рюмочке. Директор базы, видя, что мы опять что-то жуем после столовой, в ужасе хваталась за голову.

Ясно, что не голод и не пристрастие к водочке собирало нас по пятнадцать — двадцать человек за общим столом. Центром кристаллизации, безусловно, был Зиновий Ефимович Гердт. Зяма ничего не делал специального, чтобы быть в центре внимания, все добровольно и радостно его обожали. Все, что он рассказывал, всегда было интересно, неожиданно и часто очень смешно. Рассказывать другим в его присутствии тоже было наслаждением, другого такого замечательного слушателя трудно найти. Помню, как-то раз Серега (Сергей Никитин. — *Ред.*) пытался позабавить Зямочку свежим анекдотом во время их променада. Зяма вежливо и очень внимательно выслушивал очередной анекдот почти до конца, а потом сам завершал его. И так раз двадцать. Зато как они посмеялись! Время, связанное с Гауей, оставило в душе радостный и счастливый свет. Вспоминаются моменты для других, может, и незначительные, а для нас очень дорогие — так постепенно мы входили в нашу дружбу.

Наступил очередной август, и мы двумя машинами едем с Гердтами на отдых. Погода замечательная, дорога до Великих Лук почти пустая, делаем несколько привалов с шикарной едой. Одним словом — рай! Приехали в Луки, солнце еще в небе, и сразу в гостиницу. Мужчин с багажом оставляем на лестнице перед входом. Садимся с Татьяной Александровной по своим машинам, чтобы ехать на стоянку. Все глазают на новенькую «шестерку»

Гердтов со стоп-сигналом под бампером. Машина лихо сдает назад, и этот чертов фонарик врезается в лестницу. У нас на глазах заднее крыло выгибается дугой. Ужас! Все похолодели. Растерянная Татьяна Александровна вылезает из машины, руки дрожат, глаза несчастные. Закуривает. Зяма в ярости: «Лихачка! Кто тебя просил?! Какого ...?» Вскакивает в покалеченную машину и куда-то уносится. Мы втроем молча несем вещи в номер. Грустно разворачиваем котлеты, которые так нас радовали в пути, готовим стол. Минут через двадцать возвращается сам, уже не сердится, улыбается, для порядка немного матерится: «Черт с ней, железо!» И снова все счастливы.

В российских магазинах пусто, и потому мы периодически совершаем набеги на магазины прибалтийских братьев. Как-то приехали в «культурные» города Валга, видим — среди шахмат и ракеток лежат автомобильные камеры. Решаем купить на все деньги две-четыре-шесть-восемь. К счастью, было только две. Довольные, приезжаем в лагерь, несем одну камеру Гердтам в память о недавней автомобильной карамбочке. Через пять минут приходит таинственный Зяма: «Девочка! Хочешь посмотреть, какую прелесть ты купила? — Разворачивает передо мной камеру, которая бесконечно долго раскладывается, раскладывается и превращается в нечто огромное выше моего роста. — Радость моя, это же для грузовика...» Все помираем от смеха, потом тихо прячем в кусты этих монстров.

Если вдуматься, то не так уж и беззаботна была наша жизнь на Гауе. С утра, если не льет как из ведра, все мобилизуются по грибы по ягоды. Некоторые мужчины саботируют, особенно когда холодно и сыро. Снисхождение проявляется только к тем, кто и на отдыхе продолжает что-нибудь писать. Серега обожает лес в любую погоду, но у него долг. И он, грустный, остается у палатки домучивать главу из диссертации. Зяпочка держится веселее — сачканул по недомоганию. Часа через три-четыре возвращаемся из лесу с добычей, и тихий лагерь встречает нас музыкой и ликованием. Вместо недуга и диссертации оба-два орут под гитару знаменитые джазовые мелодии. Счастливы, слились в музыкальном экстазе. Если бы мы не вернулись, они бы пропели весь день, так им было хорошо и согласно. На обратном пути в Москву часть времени нашу машину вел Зяма, и тут уж мы напелись!

Ночью в лесу тихо, и слышно все, о чем говорят в соседних палатках. Татьяна Александровна при свечах читает Зяме вслух что-то из русской классики. Мы тоже слушаем, лежа у себя. Чтение вслух — так старомодно, прекрасно и необычно, как будто из прежней жизни, которую мы не застали. Но вот она, рядом, и как от этого хорошо...

Будет скоро тот мир погублен.
Погляди на него тайком,
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Этот мир невозвратно чудный,
Ты настанешь еще, спеши!
В переулок сходи Трехпрудный,
В эту душу моей души.
(М. Цветаева)

Выяснилось, что в Москве мы соседи и так удобно дружить домами. Можно добежать до Гердтов пешком или «сделать две перегазовки», а потом дворами насквозь проехать на машине, даже немного выпив. Дом Гердтов заслуживает отдельного разговора.

Просторная московская квартира, удобная и простая, есть несколько дорогих, изысканных вещей, но в целом все очень скромно. Здесь хочется жить, гостить, сидеть под огромным низким абажуром вокруг стола, видеть подобранные со вкусом и любовью хорошие картины. Они поселились здесь не случайно, они участвуют в жизни дома и неотделимы от хозяев. Книг не особенно много, но все любимые, важные, личные, читанные-перечитанные.

В доме неукоснительно соблюдается несколько правил: хозяин подает пальто любому уходящему гостю: «Только лакеи и дети лакеев не подают друг другу пальто». Утром здесь всегда едят овсянку, а когда выпивают, то признают только водку. Других напитков не держат. Большое уважение оказывается картошке с селедкой, грешневой каше. А уж по праздникам царствуют рецепты Молоховец. Зямочка обожает капустный пирог с семгой или осетриной, фаршированную рыбу и другую вкусно-

ту. Все эти деликатесы обычно готовят человек на сорок гостей по главным праздникам. Тогда Зяма сидит под знаменитым абажуром на старинном с шелковой обивкой диванчике, где по бокам от него помещается еще два человека. Конечно, дамы. Отбирает сам.

Есть три неизменные даты: Татьянин день и два дня рождения хозяев. Главнее всех — Татьянин день, и не столько из-за самой хозяйки, а в память о маме Татьяны Александровны, тоже Татьяне (Шустовой Тане, Шуне, Татьяне Сергеевне). Рассказы о теще-Шуне были любимым занятием Зямы. Он говорил о ней с такой любовью, с таким юмором и удивлением, что возникало ощущение, будто мы сами видели и слышали ее. Кажется, что самой своей жизнью Шуня навсегда озадачила своих близких: сохранила в трудной и страшной жизни детское восприятие мира, абсолютную честность, доброту и сердечность. Конечно, это не могло не оказать глубокого влияния на Зяму, чрезвычайно чуткого к разным проявлениям души человека. До Шуни или с ее помощью Зяма, казалось, определил для себя несколько самых важных критериев жизни, которым он старался следовать и которые определяли его отношения с людьми и окружающей действительностью. Редко в наши дни можно встретить такие серьезные требования к себе и своей жизни.

Стараясь в повседневной жизни быть не артистом, а человеком, который платит по всем счетам сполна, как все смертные, он так же оценивал че-

Татьяна Никитина, исполнительница авторской песни, актриса

ловеческие достоинства других. Необыкновенная взыскательность к своей деятельности на сцене и на экране давала ему право столь же строго смотреть и на то, что делали коллеги. Чувство меры, точность интонации, вкус, подлинность — то, что искал Гердт в искусстве, литературе и людях. Он был хорошим зрителем, мог легко рассмеяться, но за этой первой реакцией, за расположением доброжелательного зрителя всегда был следующий счет — гамбургский.

Зямочка не любил театральный мир. Не приспособленный к интригам, сплетням, чуждый злобой зависти, он не увлекался этой средой. Как ни странно, Гердтов больше привлекали люди науки. Мы видели, с какой сердечной внимательностью относились в этом доме к нашим коллегам — друзьям с Гауи. Зяма входил во все подробности их жизни, летел помогать с телефоном, больницей, квартирой (это называлось «торговать лицом»), его волновали и интересовали эти люди. Он был всем сердечным другом, родным человеком.

Вспоминаются первые выборы президента. По случаю победы был устроен небольшой неформальный концерт из артистов, которых прежде не рекомендовалось приглашать на правительственные мероприятия. После концерта нас всех пригласили пообщаться с Борисом Николаевичем накоротке. Все началось хорошо, все раскованно, никакого почтенного трепета. Вдруг поднимается

восторженный господин из агитационной команды президента и, подняв фужер с шампанским, говорит: «Дорогой Борис Николаевич! Однажды во Францию пришло письмо без имени. На нем было написано: «Вручить самому благородному, самому образованному, честному и умному гражданину». Французы сразу поняли, что речь идет о Жане Жаке Руссо. Так вот, если бы сейчас такое письмо пришло в Россию...» Ну, началось! Мы все от стыда и неожиданности готовы были лезть под стол. И тут вскакивает Гердт, голова низко наклонена, голос взволнованно дрожит: «Не надо, дорогой, не продолжайте. Я все понял! Спасибо, очень рад! Спасибо, дорогой!» Ельцин бормочет: «Ну, спас, ну, просто спас...» Уж мы-то точно были спасены.

Конечно, между Никитиными и Гердтом существовали и чисто творческие отношения. Мы не раз выступали вместе с Зиновием Ефимовичем, что всегда было важным экзаменом для нас. Однако первым толчком к нашим тесным контактам был импульс скорее сердечно-человеческий. Зямочка часто говорил о нашей «общей группе крови», и этой общности невозможно вообразить без Татьяны Александровны.

Чета Гердтов никак не выглядела парой голубков. Многие считали, что Т. А. — генерал и главнокомандующий. И отчасти это было правдой. Зяма был необыкновенно к ней привязан, зависим психологически и морально. Т. А. не позволяла ему

быть старым и больным со всеми вытекающими из этого последствиями. До последних недель жизни он был художником, не знающим возраста. С ним было интересно дружить независимо от того, сколько тебе лет. Гердт сохранял молодой взгляд на жизнь, его интересовало все — от политики до домашних мелочей. Всегда элегантный, подтянутый, обаятельный и остроумный Гердт, а Т. А. за кулисами. Все было основано не на подчинении, а на неизменном взаимном интересе, дружбе, уважении, нежности и любви, которую оба никогда не демонстрировали. Невозможно вообразить, чтобы Т. А. прилюдно хвалила Зямочку, он не ходил дома в гениях. Мне кажется, что сам Зяма был благодарен за это. Все, что волновало и происходило важного и неважного с ним за день, он приносил домой к Тане. За внешней сдержанностью и строгостью скрывалась и ее огромная зависимость от Зямы, дочери, друзей, подруг и даже собаки. Никто лучше Зямы не мог оценить и почувствовать эту настоящую, глубокую сердечность Т. А., ее преданность, способность забывать о себе.

Я знаю, что некоторые побаивались прямого характера Т. А. Однажды на Гауе поздно ночью хватились некой дамы, пошли группой ее искать. Вскоре обнаружили в лесу машину, где в компании веселых проезжих латышей была и пропавшая. Открыв дверь, Т. А. произнесла всего несколько слов: «А, так ты, оказывается, б...дь?!» И все. Поиск был закончен, диагноз поставлен. Зато как мудро и дипломатично умела она найти выход в

труднейших жизненных ситуациях. Все подружки получали от нее самые умные и взвешенные советы, как не ссориться с ближайшими родственниками, как уметь подняться над собой. Все мы хоть раз в жизни, но пользовались ее советом.

Что же говорить о Зяме... Мне кажется, что я простилась с ним дважды: сначала один на один, а потом со всеми. Дело было так. Примерно за год-полгода до прощального вечера Зиновия Ефимовича 2 октября, когда мы все уже понимали, что он уходит, Гердты как-то вечером приехали к нам. Я была одна, их не ожидала. Они были после банкета и все равно пришли что-то пожевать. Расположились на кухне, Зямочка был очень грустный и усталый, да и разговор у нас был печальный. Обсуждали невеселые, горестные новости последнего месяца. У нас дома случилась беда. Видя, что Зяме неможется, мы положили его немного поспать в комнате, а сами с Татьяной Александровной остались на кухне. Пьем чай, курим, она слушает меня. Неожиданно из комнаты громкое: «Таня! Таня! Иди сюда». Татьяна Александровна бегом к нему: «Что, Зяма? Что?» — «Да не ты, Таня маленькая!» Теперь несусь я. В комнате темно, наклоняюсь к нему: «Что случилось, Зямочка?» И он вдруг крепко обнимает меня и сильно целует несколько раз, потом устало отталкивает и говорит: «Теперь иди, иди...» Что это было: сон или какой-то порыв прощания? «Теперь иди...» Во мне что-то оборвалось — я просто физически ощутила, что это начало конца.

Михаил Ульянов, актер

Зиновий Гердт был человеком удивительного, я бы сказал ренессансного, ощущения жизни. Он очень смачно жил. Любил вечеринки, любил выпить рюмку водки, очень любил анекдоты и, кажется, не бросал курить до последнего дня. Его хохот раздавался везде, где он ни появлялся. С ним невозможно было не то что заскучать, а даже подумать о том, чтобы заскучать. Он очень любил общаться и вообще не мог жить без людей. Он был открыт для всех. Недаром он придумал свой «Чай-клуб». Он меня приглашал раза три, но я все увертывался под разными предлогами.

Мне, честно сказать, эти ток-шоу ничем не интересны и по сей день. Ведь не так выразишься, чуть что наврешь или просто твою фразу вырежут из контекста — так потом на экране это вылезет в

десятикратном размере! И сам будешь плевать, глядя в телевизор. Терпеть не могу всей этой паточки. Телевидение — жуткая скотина. Оно тебя всего выворачивает наружу, и если ты дурак, то как ни наклеивай на себя глубокомысленную личину, все равно видно, что ты дурак. Трусишь ответить на какой-нибудь вопрос или просто не хочется отвечать — и начинаешь крутиться и выворачиваться. Телевидение увеличивает достоинства, но недостатки оно укрупняет в сотни раз.

Зяма не боялся всего этого, потому что был свободным и раскованным человеком. Он не был запрограммирован, а жил по велению души. Если ему хотелось поехать куда-то, он садился в машину и ехал, несмотря ни на что: ни на погоду, ни на здоровье, и с удовольствием проводил время именно так, как ему хотелось.

Есть люди, которые меняются в зависимости от того, какого калибра перед ними человек. Если это большой начальник — одна тональность, если более удачливый коллега — другая, если уборщица — третья. Гердт был естествен со всеми, поскольку никогда не делил людей на касты и сословия. Зяма был человеком умным, веселым и очень доброжелательным. Он любил людей, понимая, что «все мы одним миром мазаны».

Из состояния равновесия его могли вывести, как мне кажется, только дураки. Особенно он

ненавидел дураков номенклатурных. Ведь у нас, к сожалению, «если ты сидишь в кресле — я дурак, я сижу в кресле — ты дурак». Это даже стало какой-то притчей, сложившейся за многие годы. Подобная субординация царила везде и во всем, но Зиновия Ефимовича она ничуть не смущала. Он жил рядом с ней, но не участвуя, стараясь не тратить на всю эту глупую фальшь своего здоровья и настроения.

В нем был какой-то буквально пионерский задор. Вот у меня растет внучка — прыгает, как коза, может целый день скакать. Я ей иной раз говорю: «Лизка, ну что ты прыгаешь?!» Я-то уже, естественно, так прыгать не могу, а в тринадцать лет можно прыгать целый день сначала на одной ножке, потом на другой. Так вот Зяма до последнего дня сохранил детскость и чистоту.

Как-то на гастролях театра Образцова его спросили: «А у вас большая квартира?» А они с женою в это время снимали комнату в семикомнатной коммуналке, и он ответил: «У меня? У меня квартира из семи комнат». Он мне рассказывал эту историю хохоча: «Ну, я же не соврал?»

Все актеры, независимо от того, знамениты они или нет, вынуждены болтаться по миру и зарабатывать деньги. И вот я как-то приехал в Талдыкурган, то есть туда, где дальше ничего нет. Смотрю — на улице под солнцепеком за столом сидит Зяма.

«О-о-о! Какая встреча!» Сидит со своей ногой, такой же наглаженный, такой же веселый и неунывающий, как и дома в Москве, пьет себе чай где-то у черта на куличках...

Он был настоящим эпикурейцем, любящим жизнь во всех ее проявлениях. Он был интеллигентным, достойным и очень обаятельным. Он просто не мог сидеть в каком-то хмуром состоянии и ковыряться в нем. Мол, не подходи и не тревожь меня — я думаю о себе, о театре и о смысле бытия. Как это очень любят некоторые актеры — напустить на себя такого байроновского флеру. Зяма всегда был заряжен на общение и на тусовки, в хорошем смысле этого слова. Но не на те тусовки, где на глазах у полуголодного народа знаменитости непременно попеременно с политиками поедают омары и салаты из авокадо. Зяма был там, где за столом сидели и выпивали водочку под селедку и бутерброды его друзья, люди, близкие ему по духу. Он задерживался только там и с теми, с кем ему было интересно.

Он был первоклассным мастером. Профессионалом. Актер, не будучи таковым, никогда не сможет так потрясающе понимать и читать поэзию и литературу и при этом быть таким же земным человеком, как самый невзыскательный зритель. Он обладал таким чувством иронии, которая, если бы свалилась на актера менее талантливого, пусть даже и обвешанного званиями, то просто

Михаил Ульянов, актер

пришибла бы его, сделала из него циника и пижона. Зяма был недостижим в вершинах юмора и иронии и доступен всем одновременно. Он был скоморохом, лицедеем высшего класса. Поэтому играл и Паниковского, и Мефистофеля, а между этими полюсами лежит такая пропасть, такой длинный путь!

Евгений Миронов, актер

Я только поступил в Школу-студию МХАТ. Начал играть в массовых сценах в спектакле «Так победим». Он игрался в здании на Тверском бульваре. Однажды объявили, что на малой сцене состоится встреча с Зиновием Ефимовичем Гердтом. Все места, и сидячие и стоячие, были заняты. Чудом нашел стул в самом конце зала. Ждали час, не помню почему. Все волновались: неужели не придет? Пришел. Легкой, подпрыгивающей походкой вышел на сцену. Сразу стал своим. Тон разговора близкого тебе человека. От обилия великих имен, с кем дружил, встречался, работал, кружилась голова. Рассказывал нелепые случаи, зал от хохота лежал. И ужасно не хотелось расставаться.

Когда шел в общагу, только тогда осознал, кого видел. Гердт — живая легенда. Но почему-то величия его фигуры не ощущалось. Все просто. Убили

наповал его легкий юмор и самоирония. Много позже, когда от «успеха» ехала крыша, вспоминал гердтовскую самоиронию, и это лекарство моментально спасало от болезни. Тогда я и представить не мог, что буду не только лично знаком с Зиновием Ефимовичем, но и что мы будем работать вместе. Слово «работать» как-то не подходит. Жить. Потому что тут же попадаешь в его поле, и выходить из него не хочется.

Сергей Газаров затеял фильм «Ревизор». Предложил мне Хлестакова. Все остальные — суперзвезды. Снимали в Праге. Оказалось дешевле. Времени мало. Режиссер нервничал. Артисты, хоть и звезды, тоже. Все судорожно искали характерность. Нужно было начинать снимать, но никакой договоренности о том, что и как снимать, не было. В воздухе висел парализующий ужас. Перед съемкой к режиссеру подошел Зиновий Ефимович: «Простите, Сережа, я, кажется, придумал себе характерность. Что если я буду все время прихрамывать?» И действительно, прихрамывал всю картину. Так элегантно снять напряжение мог только он. Вокруг него всегда собирались, чтобы послушать удивительные истории, которые не кончались. Теперь жалею, что не записал ни одной.

Готовились снимать главную сцену Хлестакова — сцену вранья. Утром в гримерной собрались монстры. Все великие стали вслух обсуждать предстоящую сцену: «Ну, посмотрим сегодня, какой ты артист». Молчит один Гердт. Я поохотал с ними.

У самого от страха зуб на зуб не попадает. А нужна легкость в мыслях необыкновенная.

Подхожу к Газарову. Предлагаю снять всю эту сцену одним монологом, без звезд, а потом поднять их реакцию. Пока снимали, в павильон никого не впускал. Все так и сидели в гримерной до вечера и ждали, когда их пригласят. Единственным моим зрителем на этой съемке был Зиновий Ефимович. Ему я играл этот монолог. А он мне помогал, подыгрывал за всех. А потом вышел к великим, у которых от усталости оплавился грим и куда-то подевался утренний юмор, и что-то сказал. Что — не знаю. Но лица у них стали другие. Это была наша общая маленькая победа.

По вечерам, когда от усталости язык не шевелился, Зиновий Ефимович и Татьяна Александровна принимали у себя в номере. И опять истории, и смешные, и нет.

Я тогда не знал, что Зиновий Ефимович серьезно болен. И не понимал, каких усилий ему и его супруге стоили эти вечера.

Потом долго не виделись или виделись на премьерах. Всегда кидались навстречу друг другу. Потом узнал всю правду о болезни. Был потрясен юбилейным вечером. Смотрел по ТВ. Понятно, что осталось совсем немного, но какой дух, какие глаза, все та же ирония. Только уже грустная.

Позвонил Валера Фокин. Сказал, что надо поехать поздравить юбиляра на дачу. Сказал, что совсем плох. Ехали с замиранием сердца. Как войти? Что

сказать? А главное — страх увидеть беспомощного Зиновия Ефимовича, другого, каким я его не знал. Открыла дверь Татьяна Александровна. Держится потрясающе. Как будто все в порядке. Полный дом гостей. Я первый раз у них дома. Все веселятся. Невероятно. Даже неприятно, ведь умирает Гердт. Заходим к нему в комнату. Лежит. Рядом сидит Хазанов. Подходим ближе. И вдруг те же глаза, тот же тон, что и тогда, много лет назад. Веселый и легкий до неприличия: «Ребята, вы не видели мой орден? Нет? — Шарит рукой по столику. — Таня! Катя! Бляди, где орден?» Приносят. Положил на грудь. «Вот, Женя, орден «За заслуги перед Отечеством» третьей степени. — Помолчал и добавил: — То ли заслуги мои третьей степени, то ли Отечество!» Опять что-то рассказывает. Ловлю себя на мысли, что хочу запомнить его лицо, интонации, всего его. Устал. Подзывает меня к себе. Прижимается щекой. Я понял. Прощается.

Людмила Гурченко, актриса

Первое место в Москве, куда побежала восторженная девушка из Харькова, была площадь Маяковского. Там был кукольный театр Сергея Образцова. Аж до самого моего Харькова гремел на всю страну спектакль для взрослых «Под шорох твоих ресниц». Музыкальные пародии. А названия! «Смерть в унитазе», «Старушка в тисках любви», «Фиалки пахнут не тем». А чем? — думала я. Вот дура была. Да я и сейчас не смогла бы объяснить, чем именно не тем пахнут фиалки. Не тем, и все. Можно загадочно улыбнуться, мол, понимаете по-своему. Почему я туда бросилась? Там играли и пели, а главное, синкопировали. А какие аранжировки! «Сердце бьется чаще, чаще под хруст и шорох твоих ресниц». А «Необыкновенный концерт»! Люся, стоп! Что за голос?! Что за редкий голос прячется за куклой? Куклой, ведущей этот

необыкновенный концерт! Дура-то дура, а неординарное схватила сразу. Зиновий Гердт. Ага. Запомним. Летом, будучи на втором курсе ВГИКа, отдыхала в Евпатории. Смотрю фильм «Фанфан-Тюльпан». А голос сразу узнаю — золотой голос Зиновия Гердта. А в Москве, на эстраде, вижу его в номере, где с неизменным успехом он исполнял музыкальные пародии. А потом, видно, остыл к эстраде. Очень хотелось познакомиться с ним, близко услышать его голос. И поучиться настоящему русскому языку. В то время меня уничтожали в институте за мой несусветный харьковский диалект. Юрия Левитана я слушала по радио в течение всей войны и после. Он был моим негласным учителем русской речи: «Говорит Москва. От Советского Информбюро»... Как же все это было не похоже на наше родное харьковское: шорыте? (что говорите?). И вот Гердт, мой второй учитель. Я его выбрала. Я знала весь его закадровый текст из фильма «Фанфан-Тюльпан».

Случилось это, когда я впервые снималась в своей драматической роли у Владимира Яковлевича Венгерова в фильме «Балтийское небо», на любимой студии «Ленфильм». В это же время в Ленинграде гастролировал Марк Наумович Бернес. Я никогда его концертов не пропускала: «Темная ночь», «Шаланды», «В далекий край товарищ улетает», «Почта полевая»... С этим начиналась моя жизнь. Бернес по-своему, порой даже грубо меня воспитывал терпеливой, скромной. Учил

выбирать нужный и подходящий мне репертуар. Учил быть мягкой и несуетливой. «Знаешь, за что я тебя люблю? Ты не блядь. Глазами не рыщешь. А могла бы. Нет, ты настоящая. Приходи в «Европейскую», вместе пойдем на концерт». — «Спасибо, Марк Наумович, обязательно приду». Вот я и пришла в свою любимую «Европейскую». Вы заметили? У меня в то время все было любимое. Все любимые, все прекрасные, добрые и чудесные.

— Ц-ц, тихо! Проходи сюда. Встань спиной и смотри в окно. Ага, так и стой, пока я не скажу повернуться.

Из ванной доносился замечательный баритон. Чисто, чуть свингуя, баритон напевал Sunny boy. Я знала эту вещь.

— Ну, давай, подпой ему, — шепчет мне Марк Наумович.

В этой мелодии есть интересный полифонический ход. Я подпела. Открылась дверь из ванной, и голос зазвучал в нескольких шагах за моей спиной. По некоторым обертонам я расшифровывала диалог.

— Кто это, Марк?

— Ты пой, пой.

Голос запел увереннее, без вопросительных знаков. Я стою, смотрю в окно на здание Ленинградской филармонии и — чувствую, как голос потихоньку приближается ко мне. Я слышу, как в голосе появляются слегка фривольные фиоритуры, мол, что за чувиха, пусть повернется,

Марк, дурацкая ситуация, я хочу на нее посмотреть.

— Всё, ребята, сколько можно петь, познакомьтесь наконец, — сказал Бернес, как будто не он был инициатором всей этой сцены.

— Здравствуйте, девушка! Ваше имя?

— Ой! Я вас узнала! По голосу! Вы — Зиновий Гердт! Я вас видела, то есть, извините, слушала в ваших спектаклях, видела на эстраде в пародиях, — потрясающе! И знаю все, что вы говорите в фильме «Фанфан-Тюльпан».

— Зеленая, хватит тарыхтеть. Назови свое имя. Тебя спросили: «Ваше имя?» Отвечай.

— Извините.

— Марк, а я могу ее знать? Где-то я ее видел.

— Это же знаменитая Люся Гурченко.

— А-а, да-да... Значит, вот это и есть Люся Гурченко... Гуурчинка.

Никакого удовольствия от знакомства со мной на лице Зиновия Гердта я не увидела.

— Слышишь, Зяма, я у нее спрашиваю: «После этой твоей «Ночи» у тебя есть ну хоть «поллимона»?» Ты знаешь, что она мне ответила? Она больше любит апельсины! Что ты скажешь? Все они немного «цудрейте» (на идише — с приветом), тебе не кажется? Примитивные бутербродники.

Гердт и Бернес смеялись. А мне хотелось возразить насчет бутербродов. Мы в Харькове да и в институте больше пирожки ели. Я любила с повидлом. Но промолчала. И правильно сделала.

Позже я, конечно, узнала, что такое «бутербродники».

Потом мы еще пели из «Серенады Солнечной долины», из «Голубой рапсодии» Джорджа Гершвина, пели всё то, что можно было знать по тем временам, при жестких и суровых запретах на джаз.

Впервые мы снимались с Зиновием Ефимовичем в фильме «Тень». Зиновий Ефимович — в роли министра. Я — в роли Юлии Джули. По сюжету я любовница министра. Гердт-министр изумительно кокетничал с Юлией Джули. С таким фарсовым плюсом. Ужасно смешно. С иронией к своему персонажу и к себе, легко совмещая. Гердт прихрамывал. И это делало его оригинальным, запоминающимся. В фильме министр передвигается с помощью слуг: «Взять! Да не меня, а ее! Посадить на колени! Мне, мне на колени, идиоты!»

Зиновий Ефимович рассказывал мне, что однажды на концерте он получил записку:

«Скажите, что вы чувствовали, когда Гурченко сидела у вас на коленях?»

— Ты знаешь, что я ответил? Дай бог вам хоть раз в жизни почувствовать то, что я тогда чувствовал.

А что же чувствовала я? Много-много было партнеров, но те биотоки были наивысшими ощущениями юмора и оптимизма! Да это же здорово,

когда тебя принимают и восхищаются. После дневной съемки мы смотрели английский мюзикл «Оливер». Мы шли по вечернему Ленинграду и пели только что услышанные мелодии и пританцовывали те оригинальные «па», которые стали популярны после этого фильма.

С Андреем Мироновым у них была особая дружба. Они разговаривали на языке намеков. Когда в одной фразе: «А я стою в трусах, как мудака, и спросонья ничего не соображаю», — надо увидеть историю о том, как однажды, гуляя и кружась по Москве и не желая, не имея сил остановиться, а желая еще и еще чего-то, незнамо чего... Ну, загул, одним словом, — они с Шурой Ширвиндтом в четыре утра позвонили в дом к Гердту — догулять! Довеселиться! Не хватало Гердта, его реакции, его остроумия, его иронии. О, как они воспроизвели ту ночь! Фейерверк! Как они носились вдвоем по закоулкам загульного веселья, по вдруг вспыхивающим в памяти деталям!

«Мотор, снимаем!» — призывала их к работе режиссер Надежда Кошеверова. «Да-да, мы готовы!» — играли мастерски сцену. И как только раздавалось «Снято!» — тут же, без перехода — взрыв смеха и продолжение воспоминаний той замечательной загульной ночи. И с той самой фразы, на которой их перебили, и на той же самой высокой ноте. Это очень, очень талантливо! Хоть это происходило с ними и меня там не было, я заражалась их мятежным духом, летала с ними в той ночной

Москве, в том времени. И видела Таню, жену Зиновия Ефимовича, которая с удовольствием накрывала стол для гостей в четыре утра.

— Зяма, надень халат.

— Нет, пусть будет в трусах, это пикантно, — желает Миронов. И хохот, смех, хохот, смех...

И эти бурные, веселые воспоминания переходят в ночную «Стрелу», где истории и анекдоты перемежаются стихами. До утра! Наперебой лились стихи Пушкина, Пастернака, Лермонтова, Заболоцкого. И спать не хотелось. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. И не хотелось расставаться. Хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать. Два моих великих современника. Зяма и Андрюша. Андрюша и Зяма. Так просто. Как достичь вот такой простоты? Такой доступности на всех уровнях? Их слушали и понимали тети и тетеньки, дяди и дядечки, и дамы с господами, и леди с джентльменами, и пионеры, и товарищи. Ах! Ах, ах и ах!

В 1972 году, в марте, у меня был первый и единственный творческий вечер в Москве, в ЦДРИ. Гердт рассказывал о наших съемках в фильме «Тень». Зал очень бурно его приветствовал. Рассказывал смешно. Он меня похвалил за смелость. Я первая отважилась спеть Вертинского. У меня не было никакого страха. Страх появился потом,

когда осознала, что действительно «отважилась». Но «Маленькая балерина» прошла «на ура».

Как часто в нашей актерской жизни фильмы, концерты разбрасывают нас по разным городам, по разным коллективам. После «Тени» и «Соломенной шляпки» мы долго не встречались с Зиновием Ефимовичем. У меня началась бурная работа в кино. Виделись мы или по случаю дней рождения у общих друзей, или в праздники на званых ужинах.

Мы с Костей всегда пели, и Гердт всегда хвалил мою музыкальность.

Мне предложили принять участие в его программе «Чай-клуб» к 9 Мая. «С удовольствием». — «А с кем бы вы хотели прийти в гости к Гердту?» — «Конечно, с Юрием Владимировичем Никулиным». На даче у Гердта в кадре сидели трое — два воевавших и я, «ребенок войны». Все те песни наши. Все те стихи наши. Вся та атмосфера наша. Родное, родные, родная, родня.

После передачи за столом у Гердтов полились анекдоты и истории. Ю. В. и Гердт! Одну историю из военной жизни Зиновия Ефимовича я запомнила давно и еще раз попросила ее рассказать. У них был в роте повар. Говорил он на каком-то невероятном языке. Его солдаты провоцировали, чтобы он побольше поговорил. А они бы посмеялись. Дальше они распоясывались, и повар говорил свое коронное: «Идите вы все на ...!», ставя ударение не

на предлоге, а на том самом коротком популярном русском слове.

Дождавшись, солдаты смеялись. А мы опять, еще и еще раз смеялись за столом. Вот и сейчас я так ясно и близко слышу голос Гердта... Аж в горле защипало. «Всё, братцы, всё, — Гердт встал с рюмкой водки, — идите вы все на ... (естественно, ставя ударение на том самом популярном коротком слове) — выпьем за День Победы!»

Как важно, если в жизни тебе выпадает такой день. Его не ждешь. Он вроде случайный. Но нет. Именно такой день тебе и был нужен. Этот день уберет суету и сомнения. Он скажет: «Люся, стоп!» Не надо «под время» наспех переделывать свои манеры, походку. Не надо перестраиваться посезонно. Будь собой. Кланяюсь тому весеннему победному дню!

Как-то, спустя месяца два, сидим на кухне, завтракаем, звонок. «Люся? Это Зиновий Ефимович». Я его никогда не называла Зямой. И Зиновий Ефимович это помнил. У нас всегда в отношениях сохранялась уважительная дистанция. «Я тебе хочу сказать вот что. Я хочу, чтобы ты знала...» Нет, это писать не буду. Он сказал самые-самые те слова, которые невозможно говорить так вот прямо в лицо. По телефону они воздействуют вдвойне. После тех его слов, ей-богу, можно сойти с верной дистанции и взлететь. И стать звездой недосягаемой. Но он знал, что те слова он адресует человеку битому.

И он никуда не взлетит. Эти слова ему нужны. «...Так что никого не слушай. Всякие разговоры... В общем, это естественно. Живи и работай на радость нам, твоим друзьям и поклонникам». Тот звонок дорогого стоил.

На юбилейном бенефисе Зиновия Ефимовича желающих сказать, выступить было очень много. Мне хотелось сделать что-то емкое, чтобы в выступление вместить те самые разнообразные моменты, в которых нас сводила жизнь, судьба. Я решила спеть песню, которую слышала с трех лет по нашему довоенному репродуктору. Ее пел хор имени Пятницкого в сопровождении баяна. А папа мой так восхищался баянистом, который играл «як зверь», и народными «вольными» головами. Через столько десятилетий я осуществила затаившуюся в душе мысль: а не спеть ли мне под родимый баян «На закате ходит парень мимо дома моего»? На сцене были Ю. В., медсестра, которая вынесла с поля боя раненого Гердта, и сам герой вечера, Зиновий Ефимович. Они, конечно, знали эту песню и подпевали мне. Попала! Она внесла нужную динамику в атмосферу вечера. Как же это здорово, когда всеми фибрами чувствуешь — туда, туда! Попала! У Гердта, под лохматыми бровями, заблестели его прекрасные добрые глаза. А после песни я рассказала о том, как нас познакомил Марк Бернес. И мы спели с Гердтом вдвоем Sunny boy.

И эта американская мелодия перенесла нас в то время, когда запретным было многое, чего

Друзья о Гердте

хотелось. В то время, когда все еще было впереди. Эта мелодия, как любимый с детства аромат дома, вдруг возобладала с такой силой, так воскресила то наше «музыкальное» знакомство, что все настоящее, все, что было вокруг, в этот миг исчезло совершенно. «Европейская». В окне зал филармонии. Марк Бернес. И чувственный баритон Зямы. Ах, Sunny boy, ах, «солнечный мальчиқ».

А когда все отпели и отговорили, Зиновий Гердт прочитал стихи. А зал встал и аплодировал. И аплодировал. И аплодировал. И не хотелось расходиться. И не хотелось, чтобы наступал рассвет. А хотелось слушать и слушать. Слушать и слушать.

Давид Самойлов,
ПОЭТ

З. Г.

Повтори, воссоздай, возверни
Жизнь мою, но острее и короче.
Слей в единую ночь мои ночи
И в единственный день мои дни.

День единственный, долгий, единый,
Ночь одна, что прожить мне дано.
А под утро отлет лебединый —
Крик один и прощанье одно.

1979

* * *

Дорогой Зяма!

Давно уже лежит передо мной ваша японская открытка, вызывая жгучую зависть. Я ждал, пока утихнет это подлое чувство, прежде чем тебе от-

Друзья о Гердте

ветить. Жаль, что мы не совпали в Москве. У меня к тебе возникла тяга. Вечер мой без тебя многое потерял. Видел тебя в «Троих в одной лодке». Ты лучше всех троих, их собаки, сценария и, может быть, музыки. Ты — тип, но это (как говорил Тувим) не ругательство, а диагноз. В Москве буду осенью.

Обнимаю тебя и, если можно, Таню. От Гали вам привет.

Любящий вас Дезик. 08.07.79.

Пярун Эст. ССР, Третий дом от угла. Д. Самойлов.

* * *

Из города Пернова Зиновию Гердту

Что ж ты, Зяма, мимо ехав,
Не послал мне даже эхов?
Ты, проехав близ Пернова,
Поступил со мной хреново.

Надо, Зяма, ездить прямо,
Как нас всех учила мама,
Ты же, Зяма, ехал криво
Мимо нашего залива.

Ждал, что вскорости узрею,
Зяма, твой зубной протезик,
Что с улыбкою твоею
Он мне скажет: Здравствуй, Дезик.

Давид Самойлов, поэт

Посидели б мы не пьяно,
Просто так, не без приятства.
Подала бы Галиванна
Нам с тобой вино и яства.

Мы с тобой поговорили
О поэзии и прочем,
Помолчали, покурили,
Подремали, между прочим.

Но не вышло так, однако,
Ты проехал, Зяма, криво.
«Быть (читай у Пастернака)
Знаменитым некрасиво».

И теперь я жду свиданья,
Как стареющая дама.
В общем, Зяма, до свиданья,
До свиданья, в общем, Зяма.

12.09.81

* * *

Дорогой Зяма! К старости, что ли, становишься сентиментален. Твое письмо выжало из моих железных глаз слезу. И ты знаешь — надо отдаваться этому чувству. Это чувство живое, вовсе не остаточное. Самое удивительное, что это способны испытывать только мы. Нам кажется, что чувство дружбы, и поколения, и родства, и доброжелатель-

ства, и взаимной гордости — это так естественно. Но ведь последующие этого не испытывают. У них другие чувства, может быть сильные и важные, но другие! А это НАШИ чувства.

Люблю тебя и всегда горжусь тобой. У нас с тобой судьба похожая: мы росли постепенно.

Книжку предыдущую пришлю из Москвы, когда там буду. Позвоню тебе, надо бы увидеться. У меня 24 декабря в ЦДЛ вечер. Приходи.

Живу я примерно в таком пейзаже.

Твой Дезик. XII.79.

* * *

Дорогой Зяма!

Вчера получил истинную радость от твоего Понса. Приходится признать, что ты не ковбой и не герой-разведчик. Но ты дорос до своей фактуры. И вместе с ней твой артистизм, тонкость, ум — всё это вместе «производит глубокое». К этому всегда примешивается удовольствие сказать кому-то, а если нет кого-то, то самому себе: «Но это же Зяма!»

И Зяма, и не Зяма. «Зяма» — это форма причастности каждого друг к другу.

Поздравляю тебя с замечательной ролью. Ею ты, правда, слегка подкосил своего же Паниковского. Но искусство требует известной жестокости.

Еще раз спасибо тебе и за участие в моем вечере, все в один голос говорят, что ты был номер первый. Я готов стусеваться.

«Надо бы повидаться», — как сказал джентльмен, проваливаясь в пропасть.

Будь здоров. Привет твоим.
Любящий тебя Дезик. I.80.

* * *

(...) Прости, если я пишу банальности, но, кажется, есть два типа актеров. Одни перевоплощаются в «другого», вторые остаются самими собой. Не знаю, в чем здесь суть, но для себя ясно различаю два эти типа. Когда первые слишком на себя похожи — это плохо. А когда вторые не похожи на себя — это тоже плохо. Ты — мне кажется — относишься к превосходному образцу второго типа актеров. И потому так долго «дорастал» до своей фактуры.

Ты прав, что наше лирическое начало где-то плавает в нашем поколении. Человеку нужна какая-то общность. А у нас лучшей общности не оказалось, потому что те, кто пришли после нас, если не хуже нас, то во многом чужды. Хотя бы в том, что им общность, кажется, не нужна. Впрочем, я не люблю качать права по этому поводу. Молодые (я вижу в основном молодых поэтов) мне во многом нравятся.

Дорогой Зяма! Я вижу, что есть у нас множество тем для разговоров и есть взаимная тяга к этому. Надо преодолеть застарелую привычку не встречаться.

Друзья о Гердте

Ты — я вижу — легко и много передвигаешься по разным местам. Я же засиделся у себя в Пярну. Давно никуда не езжу. Отчасти из-за малолетних детей, отчасти по лени, отчасти в отсутствие большой потребности. Тяжел я стал. Но зато трудолюбив, чего раньше в себе не замечал.

Погода у нас прескверная. Изредка, как всегда, пишу стихи. А в ожидании вдохновения сочиняю всякую всячину во всех возможных жанрах, кроме романа-эпопеи.

Мише Львовскому — привет. Только человек железного здоровья может так долго болеть. Я Мишу люблю и ценю, но он словно меня побаивается. Не то чтобы меня, но характера, способа веселиться, моего шума, который дурно действует на нервы в его больничной тишине. Кроме того, знает, что я никогда не относился всерьез к его вслушиванию в собственный кишечник.

Но это уже болтовня.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фильмография

- 1958 г. Человек с планеты Земля
- 1961 г. Божественная комедия (телеспектакль) — Адам Юрка — бесштанная команда (короткометражный)
- 1962 г. Семь няnek — *Шамский*
- 1963 г. Улица Ньютона, дом 1 — *сосед с флюсом*
- 1964 г. Зеленый огонек
- 1965 г. Год как жизнь — *Борнштедт*
- 1965 г. Город мастеров — *художник + тексты песен*
- 1966 г. Июльский дождь
Злостный разбиватель яиц
Авдотья Павловна — *Горбис*

Приложение

- 1967 г. Фокусник — *фокусник Виктор Михайлович Кукушкин*
- 1968 г. Золотой теленок — *Михаил Самуэлевич Паниковский*
- 1969 г. В тринадцатом часу ночи — *Баба Яга*
- 1970 г. Вас вызывает Таймыр — *человек в клетчатом пальто*
Городской романс — *старый и больной экономист*
Карнавал — *председатель жюри*
Спорт, спорт, спорт
Шаг с крыши — *Синяя Ворона*
- 1971 г. Ехали в трамвае Ильф и Петров — *капитан Мазуччио — дрессировщик*
Даурия — *генерал-майор казачьих войск Семенов*
Живая вода
Тень — *министр финансов*
Жизнь и смерть дворянина Чертопханова — *Мошель Лейба*
- 1972 г. Необыкновенный концерт — *конференсье Апломбов*
Печки-лавочки — *друг профессора Степанова*
Продавец птиц
Масштабные ребята (телеспектакль)
Укрощение огня — *лектор Карташов Артур Матвеевич*
- 1973 г. Райские яблочки

Фильмография

- 1974 г. Автомобиль, скрипка и собака Клякса — *музыкант/дедушка Давида*
Соломенная шляпка — *Месье Тардиво*
Странные взрослые — *Олег Оскарович Кукс*
- 1975 г. Бегство мистера Мак-Кинли — *Эйнштейн*
- 1976 г. Ключ без права передачи — *Олег Григорьевич*
- 1976 г. Розыгрыш — *учитель химии Карл Сигизмундович*
- 1977 г. Хождение по мукам — *анархист Леон Чёрный*
Орех Кракатук — *мастер-часовщик*
- 1978 г. Жизнь Бетховена — *Николаус Цмескаль*
Кузен Понс (телеспектакль) — *кузен Понс*
- 1979 г. Жена ушла — *сосед*
Место встречи изменить нельзя — *Михаил Михайлович Бомзе*
Особо опасные — *Шварц*
Соловей — *советник Бомс*
Трое в лодке, не считая собаки — *кладбищенский сторож*
- 1980 г. Адам женится на Еве — *судья*
Копилка — *рассказчик*
О бедном гусаре замолвите слово — *Перцовский, продавец потугаев*
- 1981 г. Будь здоров, дорогой!
- 1982 г. Ослиная шкура — *поэт Оревуар*
Я вас дождусь — *Долманский*

Приложение

Сказки... сказки... сказки старого Арбата — *Христофор Блохин*

- 1983 г. Военно-полевой роман — *администратор кинотеатра*
Мэри Поппинс, до свидания! — *адмирал Бум*
Пацаны — *судья*
Я возвращаю ваш портрет (документальный)
- 1984 г. Без семьи — *Эспиносс, музыкант-парикмахер*
Герой ее романа — *Прудянский*
И вот пришел Бумбо...
Полоса препятствий — *Михаил Сергеевич, реставратор*
Одесские рассказы Исаака Бабеля (телеспектакль)
Orshabati — *chveulebrivi dge — директор цирка*
1986 — Гёте. Сцены из трагедии «Фауст» (телеспектакль) — *Мефистофель*
- 1985 г. Белая роза бессмертия
Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита — *Автор*
Спасибо, доктор!
- 1986 г. Мой нежно любимый детектив — *член клуба холостяков*
На золотом крыльце сидели — *Водяной Царь*
- 1987 г. Кувырок через голову — *хозяин крысы*
- 1988 г. Воры в законе — *адвокат*
История одной бильярдной команды

Фильмография

- 1989 г. Биндюжник и король — *Арье-Лейб*
Интердевочка — *Борис Семеныч, главврач*
Искусство жить в Одессе — *Арье-Лейб*
Поездка в Висбаден — *Панталоне*
Мир вам, Шалом!
- 1990 г. Детство Тёмы — *Абрумка*
- 1991 г. Затерянный в Сибири — *бухаринец*
Рукопись
- 1993 г. Я — Иван, ты — Абрам
Я, Фейербах
- 1994 г. Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах — *Агасфер*
Простодушный — *старый заключенный*
Солдат Иван Чонкин — *Моисей Сталин*
Увертюра (короткометражный)
- 1995 г. *Zadoc et le bonheur*
- 1996 г. Ревизор (сериал) — *Лука Лукич Хлопов*
Ветер над городом
- 1997 г. Война окончена. Забудьте...

Озвучание

1952 г. Фанфан-Тюльпан

1956 г. Серый разбойник

1960 г. Леон Гаррос ищет друга — *текст за кадром*
Совершенно серьезно (киноальманах) — *текст за кадром*

1961 г. История одного преступления — *текст за кадром*
Девять дней одного года — *текст за кадром*
Карьера Димы Горина — *текст за кадром*
Как веревочка ни вьется (короткометражный) — *текст от автора*
Девять дней одного города — *текст за кадром*

1963 г. Внимание! В городе волшебник — *текст за кадром*

Озвучание

- 1964 г. Хотите — верьте, хотите — нет — *текст за кадром*
Зеленый огонек — «*Москвич*» 40-13
Возвращенная музыка — *текст за кадром*
- 1965 г. Воздушные приключения
- 1966 г. Как украсть миллион — *Шарль Боннэ*
Баллада о чердачнике (короткометражный) —
текст за кадром
- 1967 г. Крепкий орешек — *закадровый перевод немецкого*
офицера
- 1968 г. Зигзаг удачи — *текст за кадром*
- 1970 г. Шаг с крыши — *голос Синей Вороны*
Спорт, спорт, спорт — *текст за кадром*
Городской романс — *текст за кадром*
Украли зебру — *текст за кадром*
- 1971 г. Король Лир — *король Лир, роль Юри Ярвета*
- 1972 г. Необыкновенный концерт — *конферансье*
Мужчины — *текст за кадром*
- 1973 г. Цыплят по осени считают — *текст за кадром*
Соленый пес — *текст за кадром*
- 1974 г. Волшебник Изумрудного города — *Гудвин*
- 1975 г. Место под солнцем — *текст за кадром*
Бегство мистера Мак-Кинли — *Мак-Кинли, роль*
Донатаса Баниониса

Приложение

- 1976 г. Моя жена — бабушка — *текст за кадром*
- 1977 г. Двенадцать стульев — *текст от автора*
- 1977–1978 г. Любовь с первого взгляда — *текст за кадром*
- 1978 г. Муми-тролль и другие / Муми-тролль и комета / Путь домой — *Муми-папа, муми-тролль, домовой, Морра, Хемуль, текст от автора*
- 1979 г. Приключения капитана Врунгеля — *капитан Врунгель*
Трубка мира — *текст от автора*
- 1980 г. Рафферти — *Морт Кауфман, адвокат Рафферти, роль Алексея Рессера*
Каникулы Кроша — *текст про фигурки нэцке*
История одного подзатыльника (короткометражный) — *текст за кадром*
- 1981 г. Мама для мамонтенка — *Морж*
Будь здоров, дорогой! — *текст за кадром*
- 1982 г. Продавец птиц (телеспектакль) — *комментирует оперетту*
- 1983 г. Кометаза пса Тузика
- 1984 г. Блондинка за углом — *Гаврила Максимович, роль Марка Прудкина*

Озвучание

1985 г. Брэк — *черный тренер*
Доктор Айболит — *Айболит*
Белая роза бессмертия — *текст за кадром*

1992 г. Рукопись — *текст за кадром*

СЦЕНАРИИ

1975 г. Я больше не буду

Роли
в Центральном театре кукол
им. С.В. Образцова
(1945–1982)

- «Маугли» Киплинга — *Чтец*
«Необыкновенный концерт» — *Поэт, Певец-баритон, Конферансье Апломбов*
«По щучьему велению» — *Глашатай, Воевода, Медведь*
«Ночь перед Рождеством» — *Старый черт, Чуб, Остап, князь Потемкин*
«Чертова мельница» — *Люциус, черт первого ряда*
«Волшебная лампа Аладдина» — *Визирь, Аладдин*
«Мой, только мой» — *Архивариус*
«Божественная комедия» — *Адам*

Звания и награды

Заслуженный артист РСФСР (1959)

Народный артист СССР (1990)

Премия «Кинотавр» в номинации «Премия президентского совета за творческую карьеру» (1996)

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1996)

Список литературы

Газеты

1. Литературная газета № 52 – 27 декабря 1967, М. – «От кукол – к фокусам»
2. Московский комсомолец № 27 – 20 ноября 1968, М. – «Старик и лирик»
3. Театральная Москва № 25 – 18 июня 1970, М. – «Зиновий Гердт»
4. Вечерний Новосибирск – 15 августа, 1970, Новосибирск – «Знакомый голос...»
5. Труд – 25 марта 1973, М. – «Кукольник»
6. Вечерняя Москва № 65, 1975 – «Необыкновенный концерт»: С. Образцов – З. Гердт
7. Тюменская правда – 5 июля 1979, Тюмень – «Волшебник из театра кукол»
8. Московский комсомолец № 20 – 24 января 1980 – «Осенний марафон»
9. Советская Молдавия – 25 мая 1982 – «Встречи с актером»

Список литературы

10. Вечерний Тбилиси – 28 декабря 1983, Тбилиси – «Эти промчавшиеся два часа...»
11. Советская Эстония – 18 декабря 1984 – «Гердт З.: рад был новой встрече»
12. Комсомольская правда – 23 марта 1985, М. – «Актер на диете»
13. Театральная жизнь № 9 – май, 1985, М. – «Об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах»
14. Советская культура – 3 июля, 1985 – «Человек из города на заре»
15. Советская Россия – 21 сентября 1985 – «Свободное время – 7 дней недели»
16. Московский комсомолец № 149 – 29 июня 1986, М. – «Метаморфозы»
17. Советская культура – 20 сентября 1986, М. – «Семьдесят? Не может быть!»
18. Советская Россия – 21 сентября, 1986 – «Жизнь без антрактов»
19. Ленинское знамя – 21 сентября 1986 – «Он любит трудиться»
20. Вечерняя Москва – 22 сентября 1986, М. – «Обаяние ума»
21. Учительская газета – 7 марта 1987, М. – Зиновий Гердт
22. Советская культура № 113 – 19 сентября 1987 – «По мнению старожил»
23. Советская культура № 1 – 1 января 1988, М. – «Дракон есть дракон»
24. Московский комсомолец – 29 июня 1988, М. – «Метаморфозы»
25. Индустриальное Запорожье – 16 июля 1988 – «А главное – поэзия...»

Приложение

26. Труд № 1 – 1 января 1989, М. – «Возвращение в будущее»
27. Лесная промышленность – 21 февраля 1989 – «Все открывать заново», З. Гердт
28. Вечерний Таллин – 26 декабря 1989, Таллин – «К отметке, называемой «искусство»
29. Советская культура – 23 февраля 1991, М. – «Хочу досмотреть эту драму»
30. Голос № 37 – 1991, М. – «Не играйте дурной вкус!»
31. Независимая газета, 2 июня 1991, М. – «И жалко всех и вся...»
32. Московские новости № 40, 6 октября, 1991, М. – «Нам повезло: мы жили в заповеднике»
33. Новая газета – 21 марта 1992, М. – «Зиновий Гердт: «Приятно делать добро!»
34. Культура № 25 – 31 октября 1992, М. – «Отец Сергей во мне не ночевал...»
35. Неделя № 9 – март 1993 – «Интеллигенция не умеет сбиваться в стаи»
36. Вечерняя Москва № 135 – 1993, М. – «А девушки меня любят»
37. Известия – 15 июля 1993, М. – «Гердт. Шутя и серьезно»
38. Экран и сцена № 39/40 – 7 октября 1993, М. – «Достоинство культуры – это достоинство человека»
39. Московский комсомолец – 28 февраля 1994, М. – «Провал в вашей артистической карьере»
40. Московский комсомолец – 10 марта, 1994, М. – «Айсберг, классноживущий»
41. Культура № 27 – 16 июля 1994 – «Прошлое не возвращается»
42. Аргументы и факты № 27, 1994 – «Тусовщик Гердт»

Список литературы

43. Российская газета — 25 апреля 1995, М. — «Я востребован — значит счастлив»
44. Московская правда — 27 апреля 1995, М. — «Розыгрыш не должен разрушать»
45. Известия — 19 мая 1995, М. — «Хитрый Гердт стремится к простоте»
46. Комсомольская правда — 31 августа, 1995, М. — «О, Гердт необыкновенный! Колено — он — непреклонный»
47. Вечерняя Москва — 12 сентября 1995, М. — «И смешно, и серьезно»
48. Куранты — 22 декабря, 1995 — «Выбор сделан. Что дальше?»
49. Аргументы и факты № 49 — 1996, М. — «Стыдно жаловаться!»
50. Российская газета — 16 апреля 1996, М. — «Необыкновенный юбилей «Необыкновенного концерта»
51. Московская правда — 18 сентября 1996, М. — «Вернисаж на фоне праздника»
52. Экран и сцена — 19 сентября, 1996, М. — «Здравствуй, Зяма, и спасибо тебе!»
53. Труд — 20 сентября 1996, М. — «Хранитель мудрости»
54. Комсомольская правда № 242 — 28 декабря 1996, М. — «Я не могу жить даже без нашей материны»
55. Новая газета — 28 сентября 1997, М. — «В стихах мы ценим лишь рекламную паузу»
56. Экран и сцена № 46 — 13 ноября, 1997, М. — «Мгновение, повремени»
57. Общая газета — 20 сентября 1998 — «Супермен. Зиновию Гердту — восемьдесят лет»
58. Культура — 21 сентября 1998, М. — «Человек на своем месте»

Приложение

59. Экран и сцена № 42 — декабрь 1998, М. — «Снега былых»
60. Общая газета — 4 мая 2000 — «Любить, жить, ждать...» (фронтовые письма жене)
61. Век № 37 — 2001, М. — «Необыкновенный Зяма. Зло боится смеха»
62. Новая газета № 22 (665) — 29 марта 2001, М. — «Пол-Парижа за удачное словцо?»
63. Вечерняя Москва — 20 сентября 2001, М. — «Не оброните меня!»
64. Комсомольская правда, 21 сентября 2001, М. — «Инвалидность не уродство, а особенность человека»
65. Телегазета № 45 (179) — 14 декабря 2002, М. — «Актер с душой сказочника»
66. Новая газета — 3 февраля 2003, М. — «Вообще-то я не очень актер и не комик»

Журналы

1. Театр № 2, 1956 — «Не попробовать ли?», Зиновий Гердт
2. Театр № 9, 1978 — «Город на заре», Зиновий Гердт
3. Театр № 5, 1984 — «Гердт Зиновий», Петр Тодоровский
4. Советский журнал № 8 — апрель 1987 — «З. Гердт: «Почему я стал реже сниматься?»
5. Телерадиоэфир № 9 — сентябрь 1991, М. — «Люблю любимых и не люблю нелюбимых»
6. Мир искусства — 21 сентября 1991 — «Все это было бы смешно...»
7. Экран № 1, 1992 — «Эта дружба меня возвышала» (З.Е. Гердт о Рине Зеленой)

Список литературы

8. Искусство кино № 8, 1993, М. — «Мастера: З.Е. Гердт», Люция Охрименко
9. Огонек № 39, 23 сентября 1996, М. — «Сергей Юрский: «Голос Гердта был камертоном», Игорь Семицветов
10. Собеседник № 37, 1999 — «В десятку»

Книги

1. «Зиновий Гердт» М. Львовский — Москва, ВСПКИ, 1982
2. «Неизвестный З. Е. Гердт» В. Скворцов — Казань, «Новое знание», 2005
3. «Зяма — это же Гердт!» сост. Я. Гройсман, Т. Правдина — Москва, Издательство Деком, 2009

Интернет

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%82,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
2. <http://ruskino.ru/art/forum/661>
3. <http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/968/works>
4. <http://russart.com/actor-biography-357-Zinovy-Gerdt>

Содержание

Часть 1 ГЕРДТ О СЕБЕ

Рыцарь совести	7
Детство. Себеж	20
Война	27
Театр. Начало	42
Актерство	57
Кино	68
Телевидение	80
Друзья	86
О Евгении Сперанском	87
О Михаиле Козакове	88
Об Александре Кочеткове	90
О Валентине Гафте	92
О Ролане Быкове	92
О Юрии Ледине	93
О Рине Зеленой	94
О Булате Окуджаве	97
Об Александре Твардовском	98
О Шарле Азнавуре	101

Содержание

Женщины	102
Первая жена	104
Вторая жена – окончательная	118
Образ жизни	120
Россия	133
Семья	139
Москва	144
Политика	146
Прощание	160

Часть 2

ДРУЗЬЯ О ГЕРДТЕ

Петр Тодоровский	163
Эльдар Рязанов	173
Сергей Юрский	182
Виктор Шендерович	185
Булат Окуджава	195
Исай Кузнецов	197
Михаил Львовский	219
Лидия Либединская	231
Роберт Ляпидевский	236
Сергей Герасимов	244
Татьяна Правдина	246
Катя Гердт	251
Эдуард Скворцов	253
Валентин Плучек	267
Елена Махалах-Львовская	269
Эдуард Успенский	274
Александр Ширвиндт,	282

Приложение

Галина Шергова	296
Юлий Ким	304
Олег Табаков	308
Константин Райкин	310
Владимир Конкин	315
Елена Коренева	317
Николай Бурляев	318
Лидия Федосеева-Шукшина	319
Аркадий Арканов	320
Инна Чурикова	329
Михаил Козаков	330
Алексей Веселовский	333
Сара Погреб	335
Валерий Фокин	338
Александр Володин	349
Михаил Швейцер	352
Софья Милькина	360
Валентин Гафт	363
Матвей Гейзер	370
Геннадий Трунов	374
Григорий Горин	380
Татьяна Никитина	386
Михаил Ульянов	397
Евгений Миронов	402
Людмила Гурченко	406
Давид Самойлов	417

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фильмография	425
Озвучание	430

Содержание

Роли в Центральном театре кукол им. С.В. Образцова (1945–1982)	434
Звания и награды	435
Список литературы	436
Газеты	436
Журналы	440
Книги	441
Интернет	441

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЗЕБРА Е» ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

СЕРИЯ «АКТЕРСКАЯ КНИГА»

**В серии представлены книги
выдающихся отечественных и зарубежных актеров,
режиссеров, драматургов,
деятели культуры**

В серии «Актерская книга» вышли книги:

Александр Абдулов. Хочу остаться легендой

Алексей Арбузов. Жестокие игры

Ольга Аросева. Без грима на бис

Жан-Поль Бельмондо. Профессионал

Олег Борисов. Отзвучья земного

Роже Вадим. В постели со звездами

Евгений Весник. Записки артиста

Виталий Вульф. Ангелина Степанова

Валентин Гафт. Красные фонари

Алексей Герман-мл. Garpastum

Станислав Говорухин. Повести. Рассказы

Тонино Гуэрра. Семь тетрадей жизни

Георгий Данелия. Не горюй!

Ален Делон. Без маски

Алла Демидова. Заполняя паузу

Катрин Денев. Красавица навсегда

Жерар Депардьё. Чрезмерный человек

Марлен Дитрих. Мысли и чувства

Лев Дуров. Байки на бис

Наталья Дурова. Гармония доброты

Владимир Епископосян. Новеллы главного
бандита

Марк Захаров. Театр без вранья

Валерий Золотухин. Дребезги

Игорь Ильинский. Сам о себе

Николай Караченцов. Корабль плывет

Михаил Козаков. Рисунки на песке. Т. 1

Михаил Козаков. Третий звонок. Т. 2

Савелий Крамаров. Сын врага народа

Василий Лановой. Летят за днями дни

Михаил Левитин. Школа клоунов

Андрей Максимов. Другой полет

Андрей Мягков. Сивый мерин

Владимир Немирович-Данченко. Рождение театра

Юрий Никулин. Почти серьезно

Сергей Образцов. Моя профессия

Клавдия Пугачева. Прекрасные черты

Эльдар Рязанов. Служебный роман

Сергей Соловьев. 2-INFERNO-2. Александр Баширов,
Татьяна Друбич

Константин Станиславский. Моя жизнь в искусстве

Рогволд Суховерко. Зигзаги

Олег Табаков. Прикосновение к чуду

Андрей Тарковский. Ностальгия

Михаил Ульянов. Работаю актером

Леонид Утесов. С песней по жизни

Леонид Филатов. Прямая речь

Чарли Чаплин. Как заставить людей смеяться

Василий Шукшин. Калина красная

Василий Шукшин. Тесно жить

Сергей Юрский. Четвертое измерение

Литературно-художественное издание

Гердт Зиновий Ефимович

РЬЦАРЬ СОВЕСТИ

Руководитель проекта *Юрий Крылов*
Заведующая редакцией *Татьяна Чурсина*
Составитель *Маша Гаврилова*
Компьютерная верстка: *Виктория Челябинова*
Корректор *Наталья Семенова*

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

ООО «Издательство АСТ»

141100, Россия, Московская область, г. Шелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

ООО «Издательство «Зебра Е»

121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5,
тел.: (495) 690-19-65, 690-19-55
E-mail: zebrae@ Rambler.ru, WWW.zebrae.ru

По вопросам приобретения книг обращаться в Издательскую группу АСТ:
129085, Москва, Звездный бульвар, д. 21, 7 этаж
Тел.: (495) 615-01-01, факс: 615-51-10
E-mail: astpub@aha.ru, <http://www.ast.ru>

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.
Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru

BROOKLYN PUBLIC LIBRARY



3 4444 85194 2359

АКТЕРСКАЯ КНИГА
ЗВЕЗДЫ РУССКОГО КИНО

АСТ | ZEBRA

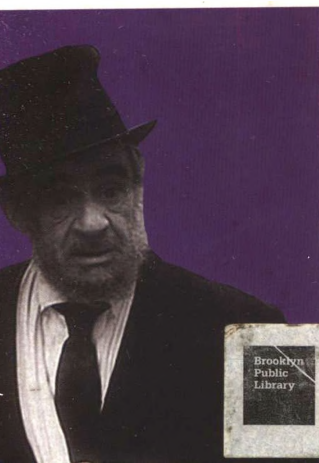
ЗИНОВИЙ ГЕРДТ
РЫЦАРЬ СОВЕСТИ

ISBN 978-5-17-067858-7



9 785170 678587

Если человек родился, нужно хотя бы прожить жизнь так, чтобы поменьше было совестно. О том, чтобы вовсе не было стыдно, не может быть и речи. Обязательно есть, за что стыдиться: потакал страстям... Ну нет в тебе Отца Сергия – не ночевал он никаким образом – палец же себе не отсечешь за то, что возжелал. Потом начинаешь мучиться: зачем мне это было нужно? У Канта есть дивная запись: мочеиспускание – единственное наслаждение, не оставляющее укоров совести. Все остальные... Нажрался. Зачем? Напился. Зачем? Любовные связи? Зачем мне это было нужно? Муки совести не будут давать мне покоя до конца дней, как и понимание своего несовершенства, хотя,

Brooklyn
Public
Library

Please return to Brooklyn Public Library

To find your nearest library, visit
www.brooklynpubliclibrary.org
or call 718.230.2100.

ЭТОМ

041.18.008.24 (M)